Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ,
И. Ю. НИКОЛАЕВА,
Г. К. ГУЛЬБИН

АМЕРИКАНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ «ПСИХОИСТОРИЯ»

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ, И. Ю. НИКОЛАЕВА,
Г. К. ГУЛЬБИН

АМЕРИКАНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ «ПСИХОИСТОРИЯ»

критический очерк

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Томск — 1985

Могильницкий Б. Г., Николаева И. Ю., Гульбин Г. К. *Американская буржуазная «психоистория»:* (Критический очерк).— Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. — 2 р. 20 к. 5100 экз. 0503000000.

В монографии рассматривается эволюция в США новой дисциплины, базирующейся на применении к изучению истории методов классического психоанализа и его современных модификаций. В книге исследуется природа «психоистории», раскрывается ее социально-идейная направленность. С этой целью авторы, не ограничиваясь критическим анализом идейно-теоретических принципов «психоистории», показывают их воплощение в исследовательской практике ее приверженцев, главным образом на материале «психоисторического» изучения революционных и контрреволюционных движений.

Для историков и философов, а также студентов старших курсов и аспирантов исторических факультетов, интересующихся теоретическими проблемами исторической науки.

Рецензент — д-р филос. наук Э. А. Баграмов
Редактор — канд. ист. наук Н. С. Черкасов

М $\frac{0503000000}{177(012)-85}$ 20—84

© Издательство Томского университета, 1985

ВВЕДЕНИЕ

Решение задачи повышения эффективности наступательной критики буржуазной историографии требует от советских ученых пристального внимания к новейшим тенденциям ее развития. Выявление и марксистская оценка этих тенденций приобретают существенное значение для осмысления широкого круга вопросов, связанных со современным развитием буржуазной исторической мысли, в частности изучения особенностей и путей проявления ее кризиса.

В настоящее время отчетливое ощущение кризиса стало характерной чертой буржуазного исторического самосознания, так или иначе проявляющейся в многочисленных суждениях о современном состоянии западной историографии. «В 1981 г. изучение истории переживает кризис,— формулирует широко распространенное на Западе мнение влиятельный английский журнал в своей передовой статье.— Ставится под вопрос роль истории как серьезной дисциплины в технологическом обществе во время экономических трудностей»[1].

Однако простой констатацией этого неоспоримого факта дело отнюдь не ограничивается. Все настойчивее предпринимаются попытки найти выход из кризиса и в конечном итоге поднять социальную значимость буржуазной историографии, укрепить ее место в духовной жизни западного общества. Одно из важных направлений этих усилий лежит в расширении проблематики исторических исследований и обогащении их методологического инструментария. Так, многие буржуазные историки пытаются увеличить научный потенциал своей дисциплины

[1] The State of History Today. 75 Years of the Historical Association.—History Today, 1981, vol. 31, p. 5.

и повысить ее социальную активность. Определить степень результативности таких попыток — значит во многом найти ответ на вопрос, как и в какой мере современная буржуазная историография способна преодолеть кризис своих теоретико-методологических основ.

К числу национальных буржуазных историографий, характеризующихся интенсивными поисками выхода из кризиса, принадлежит американская историография. В ее рамках в последнее время были сформулированы развернутые положения о кризисе исторической науки в связи с некоторыми общими закономерностями и тенденциями развития самого буржуазного общества. Сошлемся в качестве показательного примера на книгу одного из крупнейших современных американских ученых Оскара Хэндлина «Истина в истории». Это объемистое произведение, претендующее на изложение фундаментальных основ исторической науки, пронизано нескрываемой тревогой автора за ее настоящее и будущее «в обществе, которое все измеряет мерой простого стандарта», где «мерилом ценности является полезность». Хэндлин подчеркивает «падение престижа и авторитета изучения прошлого», еще более усугубляющееся экономическими трудностями 70-х гг. и вынуждающее историков, «связанных с продуктом, который нелегко продать», бросаться «в схватку за покупателей» в борьбе за место под академическим солнцем, предъявляя дополнительные доказательства полезности своего предмета и расширяя поле своей деятельности [2].

«Дисциплина в кризисе» — так озаглавливает Хэндлин очерк, открывающий книгу, в котором говорится о неудовлетворительном состоянии американской историографии, находящейся в «замешательстве», причем подчеркивается, что в последние годы положение еще более ухудшилось [3]. Отмечая, что в 70-е гг. давление в сторону фальсификации стало более непреодолимым, чем когда-либо раньше, он уныло признает, что «наше время враждебно поискам истины» [4].

Признание кризиса в той или иной степени присутст-

---

[2] Handlin O. Truth in History. Cambridge; Massachusetts; London, 1979, p. VII—IX.

[3] Ibid., p. 8—24.

[4] Ibid., p. 409, 414.

вует даже на страницах полуофициального издания, подготовленного Американской исторической ассоциацией к XV Международному конгрессу исторических наук, сборника «Прошлое перед нами». Правда, в большой вводной статье, открывающей это издание, ее автор, являющийся редактором сборника, М. Кеммен, отмечая, что история, как профессиональная дисциплина, развивается ритмическими циклами, и признавая, что сейчас она «встречается с тяжелым вызовом», все же утверждает, что «здоровье Клио в настоящее время является крепким»[5]. Однако этот официальный оптимизм плохо согласуется с целым рядом материалов, опубликованных в том же самом сборнике, например со статьей профессора Колумбийского университета Х. Харцберг, проникнутой убеждением о глубоком кризисе, в котором находится изучение и преподавание истории в американской высшей школе и который имеет многообразные проявления, вплоть до резкого падения числа студентов-историков и распространения мнения о бесполезности истории[6].

За всем этим стоит падение социального статуса буржуазной историографии, оказывающейся неспособной с помощью традиционных средств дать ответ на вопросы, выдвигающиеся быстро меняющейся социальной действительностью. Отсюда стремление к своеобразной модернизации исторической науки, направленной на приспособление ее к реалиям сегодняшнего дня. Одним из самых ярких выражений такого стремления является развитие в последние десятилетия историко-социальных исследований, максимально приближенных к идеологическому обслуживанию буржуазного общества. Не случайно уже упоминавшаяся Харцберг характеризует эти исследования как «ответ на беспорядки в школе и обществе»[7]. Показательно и то, что в условиях падения интереса к истории в целом продолжаются рост и дифференциация историко-социальных исследований, увеличе-

[5] Kammen M. The Historian's Vocation the State of the Discipline in the United States.—In: The Past Before Us. Contemporary Historical Writing in the United States/Ed. for the American Historical Association by M. Kammen. Itaca; London, 1980 p. 43—45.

[6] См.: Hertzberg H. W. The Teaching of History. — In: The Past Before Us, p. 474—504.

[7] Ibid., p. 483.

ние числа курсов по социальной истории в американских университетах, ибо, подчеркивает П. Стирнс, «сила социальной истории — в ее исследовательской практике, углубляющей понимание жизненных проблем современности» [8].

В свете возрастающего интереса американских историков к социальным исследованиям следует рассматривать и развитие «психоистории», представляющей собою систематическое приложение психоанализа к изучению истории. Мы имеем здесь дело с несомненно новым явлением, нетрадиционность которого подчеркивается сохраняющимся в самой американской «психоистории» разномыслием относительно ее научного статуса. В проходившей в середине 70-х гг. дискуссии по этому вопросу высказывалось мнение, что «психоистория» не является самостоятельной научной дисциплиной, а, во всяком случае в настоящее время, представляет собою «современный подход в изучении истории как истории» [9]. Даже в обобщающем очерке, характеризующем современное состояние американской «психоистории», этот термин употребляется в двояком значении. Автор очерка, крупнейший американский «психоисторик» П. Левенберг, определяет «психоисторию» как «один из новейших методов исторического исследования, комбинирующий исторический анализ с моделями социальной науки, гуманитарной чувствительности, психодинамической теорией и клиническими методами с целью выработки более полного и всестороннего взгляда на прошлое». В то же время «психоистория» для него — «новая историческая субдисциплина, представители которой являются не психоаналитиками, занимающимися историей, или историками использующими психоанализ, а психоисториками» [10].

На наш взгляд, ближе к истине последнее определение, так как «психоистория», несомненно, имеет собственный предмет исследования, отличный от предмет всех других гуманитарных дисциплин и заключающийся в изучении влияния сферы бессознательного (ли

---

[8] *Stearns P. N.* Toward a Wider Vision: Trends in Soci History.— In: The Past Before Us, p. 207.

[9] *Monaco P.* Psychohistory: Independence or Integration.—T Journal of Psychohistory, 1975, vol. 3, № 1, p. 130.

[10] *Loewenberg P.* Psychohistory.— In: The Past Before U p. 408, 413.

ного и коллективного) на историческую действительность, проявляющегося в поведении исторических личностей и социальных групп. При этом главным способом такого изучения выступает психоанализ, дополняющийся в разной мере собственно историческими методами. Впрочем, в известных случаях представляется уместным говорить о «психоистории» как методе социального познания — когда ее данные применяют в своей исследовательской практике ученые, не являющиеся профессиональными «психоисториками».

Это, однако, ничего не меняет. Мы имеем дело с быстро развивающейся дисциплиной, оказывающей все более заметное влияние на изучение истории в современной американской буржуазной науке[11]. В таком смысле понятие «психоистория» и употребляется в настоящей работе.

Сами «психоисторики» рассматривают свою дисциплину как особую ветвь социально-исторических исследований, развивающуюся в русле их общего подъема. Влиятельный представитель этой дисциплины Б. Мэзлиш полагает даже, что лучшим названием для нее было бы «психосоциальная история», и характеризует ее как часть социальной истории[12]. В другой своей работе он называет «психоисторию» социальной наукой, наиболее смело и многообещающе вторгающейся в сферу человеческого духа[13]. Видные «психоисторики» упоминаются в числе ученых, активно формирующих современный облик социальной истории[14].

Важно подчеркнуть, что новейшие тенденции в развитии социальной истории в США прямо предполагают широкое обращение к «психоисторическим» сюжетам. Как утверждает Стирнс, «поворот внимания к истории

---

[11] Хотя, как показал Х. Лаутон, обстоятельно изучивший взгляды американских «психоисториков», в их среде продолжает сохраняться разномыслие в понимании природы и функций своей дисциплины (см.: Lawton H. W. Psychohistory Today and Tomorrow.—The Journal of Psychohistory, 1978, vol. 5, № 3, p. 325—356.

[12] См.: Mazlish B. What is Psycho-History?—In: Transactions of the Royal Historical Society. Fifth series. L., 1971, vol. 21, p. 9, 86.

[13] Mazlish B. Reflections of the State of Psychohistory. — Psychohistory Review, 1977, vol. 5, № 4, p. 11.

[14] См., напр.: Henretta J. A. Social as Lived and Written. — The American Historical Review, 1979, vol. 84, № 5, p. 1316—1317.

аффективных отношений в терминах полов и поколений, как и семьи», есть, «может быть, самая новая общая тенденция в американской социальной истории», сопрягающаяся с необходимостью изучения пружин социального поведения [15]. Другими словами, в качестве особенно актуальных называются как раз те проблемы, которые являются предметом специального научного интереса «психоисториков», изучающих их с помощью психоанализа.

Обращение к психоанализу, как и к количественным методам, в социальных исследованиях демонстрирует характерные для современного буржуазного обществознания интеграционистские тенденции, в полной мере обнаруживающиеся и в исторической науке. Именно в сфере историко-социальных исследований междисциплинарные связи проявляются особенно интенсивно, выражаясь в привлечении широкого спектра методов, выработанных в других науках [16]. Продуктом развития таких связей и стала «психоистория», приобретающая все более заметное положение во всей системе буржуазного обществоведения.

Не случайно видный английский исследователь Дж. Барраклоу, рассматривая главные тенденции развития современной буржуазной исторической мысли, указывает на недавнее возникновение «психоистории» как на один из самых примечательных фактов, характеризующих ее нынешнее состояние. Признавая скептическое отношение к ней многих историков, он тем не менее подчеркивает необходимость обращения к психоанализу для изучения иррациональных, подсознательных сил, влияющих на исторические события и особенно ярко проявляющих себя в период социальных волнений и стресса [17].

Нужно признать, что «психоистория» хорошо вписывается в духовную атмосферу общества, где «одной из самых привлекательных тенденций в современной исто-

---

[15] Stearns P. N. Op. cit., p. 230.

[16] См.: Гаджиев К. С., Сивачев Н. В. Проблемы междисциплинарного подхода к «новой научной» истории в современной американской буржуазной историографии.— Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1978, вып. 2, с. 112—113, 140.

[17] Barraclough J. Main Trends in History. N. Y.; L., 1978 p. 65—68

рической мысли» провозглашается «растущее понимание значения нерациональных элементов в истории и поведении человека» [18]. Обратившись к изучению влияния этих элементов на исторический процесс, она тем самым приобретает очевидную актуальность, порождающую далеко идущие претензии ее ведущих представителей. В дальнейшей экспансии исторического психоанализа усматривается генеральный путь создания социальной науки будущего, которая, по убеждению директора Института психоистории в Нью-Йорке и основателя специализированного журнала «Джорнел оф психохистори» Ллойда де Мозе, так и будет именоваться «психоисторией» [19].

Средствами своей дисциплины наиболее ревностные приверженцы «психоистории» пытаются обосновать некую альтернативу материалистическому пониманию истории. Так, де Мозе предлагает последовательно биопсихологическое истолкование исторического процесса, в основу которого полагается эволюция взаимоотношений между родителями, прежде всего матерью, и детьми. Выделяя несколько типов таких взаимоотношений, он усматривает в их последовательной смене решающий источник глобальных исторических изменений. Постулируемая де Мозе «психогенетическая теория истории» в прямой полемике с историческим материализмом «устанавливает, что центральной силой изменений в истории является не технология, не экономика, а психогенетическое изменение в личности, происходящее в результате интенсивного взаимодействия поколений родителей и детей» [20].

Обращает на себя внимание решительность, с которой де Мозе противопоставляет свою теорию исторических изменений марксизму уже в исходных посылках. С редкой настойчивостью он прокламирует антимарксистскую направленность фундаментальных положений, на которых базируется его «психогенетическая теория». В их числе отметим утверждение, что «эволюция отно-

[18] Kammen M. Op. cit., p. 39.

[19] Mause L. de. Psychohistory and Psychotherapy. — History of Childhood Quarterly, 1975, vol. 2, № 3, p. 411.

[20] Mause L. de. The Evolution of Childhood. — In: Varieties of Psychohistory/Ed. by G. M. Kren, L. H. Rappoport. N. Y., 1976, p. 125.

шений между родителями и детьми создает независимый источник исторических изменений», причины же такой эволюции носят спонтанный характер и являются «независимыми от социальных и технологических изменений» [21].

Де Мозе настойчиво проводит мысль, что характер психогенетического взаимодействия между матерью и ребенком является первопричиной важнейших исторических событий, составляющих эпоху в жизни общества, и тут же демонстрирует практическое приложение своей теории. Обращаясь к ранней истории США, он с ее помощью пытается объяснить мнимую исключительность этой истории. Дело, оказывается, в том, что в североамериканских колониях Англии сложился новый, более мягкий тип отношений между родителями и детьми, обусловивший появление раньше, чем где бы то ни было, нового психовида и обеспечивший таким образом исторический прогресс «первой современной демократии в мире» [22].

Так обнажается подлинный идейный смысл «психоисторического» теоретизирования. Объявляя без излишней скромности «психогенетическую теорию» «новой парадигмой для изучения истории» [23], де Мозе по существу указывает на то место, какое «психоисторики» претендуют занять в современной борьбе идей. Причем дело не ограничивается изучением социальной действительности. «Психоистория» рекламируется как дисциплина, способная не только познавать мир, но и изменять его.

Сошлемся на рассуждения видных представителей этой дисциплины, редакторов претендующего на программный характер сборника «Виды психоистории» Дж. Крена и Л. Раппопорта. Провозглашая во введении к сборнику полезность «единственной абсолютной ценностью современной науки» и определяя «наш век как век терапии», эти авторы выдвигают свою дисциплину на роль врачевательницы буржуазного общества, в чем и усматривается ее социальная значимость. Подчерки-

---

[21] Ibidem.

[22] Mayse L. de. The Formation of the American Personality Through Psychospeciation. — The Journal of Psychohistory, 1976, vol. 4, № 1, p. 1—15.

[23] Mause L. de. The Evolution of Childhood, p. 161.

вая, что «действительная наука доминирует в современном мире в силу ее способности изменять его», они настаивают, что «психоистория» как раз и является такой наукой, эффективно влияющей на происходящие в обществе перемены и доказывающей таким образом свою полезность[24].

Эти честолюбивые претензии отнюдь не остаются в сфере спекулятивных рассуждений, о чем свидетельствует выходящий в США поток «психоисторической» литературы. Переходя в исследовательскую практику, они в значительной степени формируют ее общий теоретический уровень и идейную направленность. Отсюда вытекает значение разностороннего критического анализа «психоисторических» исследований, тем более что без их учета сегодня уже нельзя до конца понять ни современного состояния американской буржуазной историографии, в которой все более заметное место занимают «психоисторические» построения, ни общих тенденций развития американской социальной мысли.

Сформулированные в партийных документах задачи идеологической борьбы властно диктуют необходимость всестороннего критического исследования буржуазного обществоведения, предполагающего в первую очередь разоблачение всевозможных апологетических концепций капитализма, их антикоммунистической направленности. Поскольку эти концепции в США все чаще получают психоаналитическое обоснование или во всяком случае психоаналитическую окраску, возникает настоятельная потребность в критическом рассмотрении самого этого метода применительно к изучению явлений общественной жизни. В связи с широковещательными претензиями адептов психоанализа на строгую научность своего метода и его большие познавательные потенции такое рассмотрение должно включать в себя выяснение его действительных возможностей и их пределов в социальном познании.

Наконец, нельзя упускать из виду практически-пропагандистское использование результатов психоанализа в современной идеологической борьбе. Как подчеркивалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, одно из главных средств в достижении своих глобаль-

[24] Varieties of Psychohistory, p. 3—5.

ных целей империализм видит в «психологической войне», ведущейся на самой высокой антисоветской, антикоммунистической ноте. Существенный вклад в эту «войну» вносят психоаналитические изыскания в различных сферах гуманитарного знания, в том числе истории. Сформулированное на Пленуме требование широкого развертывания наступательной контрпропагандистской работы предполагает поэтому необходимость научной критики психоаналитических концепций исторического процесса, выявления их подлинной идейной направленности.

Представляется, что удобным объектом для решения указанных задач может служить выходящая ныне в США обильная «психоисторическая» литература. В настоящее время «психоистория» является достаточно разработанной областью систематического приложения психоанализа к изучению социальной действительности. В ее рамках американская буржуазная наука выдвигает сегодня развернутые концепции движущих сил исторического процесса и его важнейших вех, основанные на применении психоанализа и имеющие, как правило, выраженный антимарксистский характер. К тому же это в большинстве случаев концепции, обладающие повышенной актуальностью, находящиеся на самом острие современной идеологической борьбы.

Отсюда вытекает правомерность обращения советских исследователей к критическому рассмотрению «психоисторических» концепций. Его начало было положено В. И. Саловым, опубликовавшим еще в 1972 г. статью «Вторжение психоанализа в буржуазную историографию», позднее вошедшую в качестве отдельной главы в его известную монографию, посвященную критике современной буржуазной исторической науки[25]. Впервые в советской литературе В. И. Салов дал общий очерк распространения психоанализа в буржуазной историографии, раскрыв классовый смысл и идейную направленность этого явления. Тем самым была указана одна из самых существенных тенденций развития современной буржуазной исторической мысли и

[25] См.: Салов В. И. Вторжение психоанализа в буржуазную историографию.— Новая и новейшая история, 1972, № 4, с. 89—105; Он же. Историзм и современная буржуазная историография. М., 1977, гл. 3.

обращено внимание советской научной общественности на настоятельную необходимость глубокой и эффективной критики психоаналитических интерпретаций истории. Что касается самого В. И. Салова, то его оценка исторического психоанализа как выражения своеобразной патологии буржуазной науки являлась однозначно-негативной. Отмечая влияние психоанализа в наши дни на многие сферы духовной жизни буржуазного общества, в том числе и на историю, автор подчеркивал, что «особенно глубоко психоаналитическая болезнь поразила историческое мышление в США»[26].

Более дифференцированный подход к историческому психоанализу содержится в статье К. С. Гаджиева и Н. В. Сивачева, значение которой для нас увеличивается еще и потому, что она непосредственно посвящена интеграционистским тенденциям в современной американской историографии. Здесь рассматривается зарождение и бурное развитие «психоистории», которая, по мнению авторов, является сегодня «одним из важнейших направлений междисциплинарного подхода в исторической науке США»[27]. Раскрывая несостоятельность теоретических принципов, на которых покоится американская «психоистория», авторы вместе с тем полагают неоправданным вообще отвергать всякое научное значение использования психоанализа в историческом исследовании. «Однако это не значит, — подчеркивают они, подводя итоги своего критического рассмотрения современного состояния американской «психоистории»,— что психоанализу не место в инструментарии историка. Наоборот, изучение массовой психологии и психологических особенностей профессионально-группового и индивидуального характера, при научном понимании этих категорий, расширит возможность исследователя»[28].

В актив советской историографии интересующей нас проблемы следует также занести ряд статей, в которых критически освещаются отдельные «психоисторические» концепции, главным образом психоаналитические трактовки фашизма. Особенно следует отметить содержа-

[26] Салов В. И. Историзм и современная буржуазная историография, с. 110.
[27] Гаджиев К. С., Сивачев Н. В. Указ соч., с. 146.
[28] Там же, с. 155.

тельные исследования П. Ю. Рахшмира, указавшего на глубокие и прочные корни психоаналитических концепций в буржуазной историографии фашизма. Методологически важной представляется его постановка вопроса об усилении в настоящее время влияния «психоисторических» интерпретаций фашизма как следствия общего кризиса буржуазной исторической науки[29]. Назовем также статью А. С. Бланка и Р. Г. Кашина, непосредственно посвященную американской историографии немецкого фашизма, где подчеркивается, что в 60—70-е гг. «психоистория» фашизма (по терминологии авторов, «психолого-историческое направление») стала основным направлением в буржуазной историографии вопроса[30]. Не продолжая характеристику немногочисленных работ советских авторов по данной проблеме[31], подчеркнем лишь, что в своей совокупности они образуют необходимый исходный пункт для ее всестороннего марксистского изучения.

Нельзя, однако, не видеть, что проделанная советскими учеными работа при всей ее бесспорной важности не только не исчерпывает рассматриваемую проблему, но по существу составляет лишь начальный этап ее разработки. До настоящего времени в советской историографии отсутствует сколько-нибудь систематическое критическое исследование «психоистории» как особой дисциплины в рамках буржуазной историографии. За

---

[29] См.: Рахшмир П. Ю. Историография западноевропейского фашизма.— В кн.: История фашизма в Западной Европе. М., 1978, с. 599; Он же. Классовая борьба на первом этапе общего кризиса капитализма и формирование буржуазной историографии фашизма.— Учен. зап. /Перм. ун-т, 1975, № 344, с. 3—86; Он же. Социологические и психологические интерпретации фашизма.— В кн.: Методологические и историографические вопросы исторической науки (в дальнейшем — МИВИН). Томск, 1976, вып. 2, с. 16—29.

[30] См.: Бланк А. С., Кашин Р. Г. Германский фашизм в оценке современной буржуазной политологии США.— США: Экономика, политика, идеология, 1980, № 5, с. 122.

[31] См. также: Кашин Р. Г. Неофрейдистские интерпретации истории германского фашизма в современной буржуазной историографии США.— В кн.: Германское рабочее и демократическое движение в новейшее время. Вологда, 1977, вып. 5, с. 182—187; Бланк А. С. О психологическом аспекте генезиса германского фашизма: (к постановке вопроса).— Там же, 1978, вып. 6, с. 90—101; Федотов А. В., Филатов М. Н. Критика современных буржуазных интерпретаций фашизма.— Вопросы философии, 1978, № 10, с. 106—117.

исключением критики психоаналитических концепций фашизма дело фактически ограничивается более или менее развернутыми оценками идейно-теоретических принципов, на которых основывается «психоистория», да общими суждениями о возможностях психоанализа в истории, к тому же, как мы могли убедиться, далеко не совпадающими у разных авторов.

Существуют разногласия в определении самой дисциплинарной принадлежности «психоистории». И. Г. Белявский и В. А. Шкуратов рассматривают ее как особую ветвь исторической психологии, предметом которой, по их определению, является «реконструкция с максимально возможной полнотой человеческого облика прошлого»[32]. Характеризуя американскую «психоисторию» как «самое молодое, потенциально очень мощное направление психолого-исторических исследований на Западе», они практически сводят ее содержание к изучению психологии личности в различные исторические эпохи и оценивают под этим углом зрения достигнутые ею результаты[33]. Такое изучение действительно составляет один из аспектов «психоисторических» исследований, но далеко не исчерпывает их содержание. Теоретические суждения «психоисториков» и особенно их исследовательская практика свидетельствуют об усилиях, направленных прежде всего на объяснение исторической действительности, прошлой и настоящей. Сама личность интересует «психоисторика» именно потому, что является фактором исторического действия. Другими словами, мы имеем дело с выраженной исторической (а не психологической) дисциплиной, претендующей на решение своими специфическими средствами тех же задач, какие решают исторические науки, воссоздающие общую картину исторического развития человечества. Иной вопрос, насколько это решение является действительно научным.

В заключение нашего краткого историографического очерка следует признать, что месту, занимаемому «психоисторией» в современной буржуазной исторической науке, явно не соответствует степень интереса к ней советских историков. Своеобразным показателем

[32] Белявский И. Г., Шкуратов В. А. Проблемы исторической психологии. Ростов-на-Дону, 1982, с. 220.
[33] Там же, с. 127—140.

этого является почти полное отсутствие всякого упоминания о «психоистории» на страницах новейших обобщающих исследований, в которых рассматривается современное состояние буржуазной исторической мысли. Цитировавшаяся книга В. И. Салова составляет исключение, только подчеркивающее, что назрела потребность в систематическом марксистском изучении одной из ведущих тенденций в развитии современной буржуазной историографии, воплощающейся в психоаналитических толкованиях исторического процесса.

Приступая к такому изучению, исследователь может опираться не только на труды своих непосредственных предшественников, первыми обратившихся к марксистской критике «психоистории», но и на более общую традицию отношения к психоанализу как методу научного познания, сложившуюся в советской науке. Это отношение не было однозначным на разных этапах ее развития, а прошло сложный путь от острых дебатов в 20-е гг., когда высказывались диаметрально противоположные взгляды на фрейдизм, включая некритическое восприятие некоторых его положений и их неправомерное сближение с марксизмом, через огульное отрицание всякого научного значения учения Фрейда в последующие десятилетия, к взвешенной оценке научных возможностей психоанализа, как и вообще всей проблематики бессознательного, характерной для современного состояния марксистского изучения этих вопросов. Подвергая убедительной критике теоретические основы психоанализа, развенчивая его притязания на роль общенаучного метода и даже мировоззренческой доктрины, показывая нарастающий кризис психоаналитического движения в современной буржуазной мысли, советские философы и психологи в то же время раскрывают значение самой проблематики бессознательного, определяя его действительное место в психике человека и указывая на возможности, которые представляет психоанализ при условии критического подхода к его исходным установкам, для обогащения нашего понимания мотивов человеческой деятельности. Их труды дают в своей совокупности всестороннюю оценку действительного научного значения фрейдизма и его современных разновидностей, позволяют ориентироваться в сложном переплетении различных течений психо-

анализа, их взаимоотношениях с буржуазной философской и социально-политической мыслью XX в., равно как и в специальных вопросах изучения бессознательного и осмысления с материалистических позиций его подлинного значения во всей структуре мотивации поведения личности [34].

Большое методологическое значение имеет зарубежная марксистская критика фрейдизма и его различных модификаций. Особенно ценными для нас явились исследования видных французских философов-марксистов, объединенные в сборнике «Марксистская критика психоанализа» [35]. Авторы сборника, признавая несомненные достижения, которыми Фрейд и его последователи обогатили наши знания о человеке, сделав бессознательное предметом научного исследования, вместе с тем решительно подчеркивают несостоятельность претензий психоанализа на роль едва ли ни главного метода исторического познания прежде всего в силу его антиисторичности. Органически присущая фрейдизму биологизация человеческого поведения неизбежно предполагает отрицание его принципиально исторического характера, а следовательно, и неспособность понять человека в истории, а тем более историю сквозь призму мотивации человеческой деятельности. «Сколь бы велика ни была ценность психоанализа внутри его собственных границ,— подчеркивает известный французский философ-марксист Л. Сэв,— отныне уже можно считать бесспорным одно: эти границы расположены целиком вне сферы истории и относящихся к ней соци-

---

[34] См.: Черкасов С. М. Истинная сущность неофрейдизма. Л., 1966, 40 с.; Соболь К. И. Философские принципы психоаналитической теории З. Фрейда. Горький, 1969, 83 с.; Шерозия А. Е. К проблеме сознания и бессознательного психического. Тбилиси, 1969, т. 1, 382 с.; Добреньков В. И. Неофрейдизм в поисках «истины»: (иллюзии и заблуждения Эриха Фромма). М., 1972. 48 с.; Ярошевский М. Г., Анцыферова Л. И. Развитие и современное состояние зарубежной психологии. М., 1974. 303 с.; Лейбин В. М. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1977, 246 с.; Бессознательное: природа, функции, методы исследования/ Под ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. Тбилиси, 1978, т. 1. 786 с.: Рощин С. К. Западная психология как инструмент идеологии и политики. М., 1980. 304 с. и др.

[35] Клеман К. Б., Брюно П., Сэв Л. Марксистская критика психоанализа. М., 1976. 282 с.

альных явлений»[36]. Это, конечно, не означает отрицания всякого значения психоаналитического подхода в изучении истории, но должно предостеречь против преувеличения его места в познавательном арсенале историка.

Проделанная марксистскими учеными работа избавляет нас от необходимости самостоятельно исследовать философско-теоретические основы исторического психоанализа, позволяя сосредоточиться непосредственно на критическом освещении «психоистории» как специальной области приложения психоанализа к изучению социальной действительности. Эта задача решается на материале «психоисторических» исследований в США, ибо здесь они, как уже отмечалось, достигли в настоящее время особенно большого размаха, что позволяет рассматривать их в качестве своеобразной модели, дающей возможность адекватно судить о природе, идейной направленности и научном потенциале «психоистории» вообще.

Авторы предлагаемой вниманию читателей книги рассматривают ее как опыт систематического исследования природы американской «психоистории» и основных тенденций ее развития, осуществляемого в единстве анализа идейно-теоретических принципов «психоистории» с освещением их воплощения в изучении отдельных исторических проблем. Из большого числа этих последних авторы избрали психоаналитический анализ революционных и контрреволюционных (германский фашизм) движений, полагая, что он является достаточно показательным для суждений как об общей идейно-социальной направленности «психоисторических» исследований, так и об их научной результативности. В соответствии с утвердившейся в марксистской критике психоанализа традицией мы рассматриваем наряду с классическим фрейдизмом его современные модификации, характеризуя их применительно к «психоистории» как интеграционистское течение, сочетающее психоанализ с социально-историческими методами исследования.

«Психоистория» трактуется в книге как неотъемле-

[36] Сэв Л. Психоанализ и исторический материализм.— В кн.: Клеман К. Б., Брюно П., Сэв Л. Марксистская критика психоанализа, с. 241.

мая составная часть современной американской буржуазной историографии, с чем связана попытка, опираясь на исследования Н. Н. Болховитинова, И. П. Дементьева, В. Л. Малькова, Н. В. Сивачева, В. В. Согрина и других советских американистов, наметить общие тенденции эволюции американской исторической науки после второй мировой войны, чтобы более рельефно показать место и значение в ней этой дисциплины. Учитывая тесную связь, традиционно существующую между американской и английской буржуазной исторической мыслью и выражающуюся прежде всего в общности ее основополагающих идейно-теоретических принципов, авторы считают возможным в отдельных случаях с целью более разностороннего обоснования выдвигаемых в книге положений ссылаться на работы английских ученых, тем более что речь идет об исследованиях, хорошо известных в американской науке и так или иначе идущих в русле ее идейных исканий.

Глава I

«ПСИХОИСТОРИЯ»: ПРЕДМЕТ И МЕТОД

1. В поисках выхода из кризиса: американская историография на путях сциентизации

Широкое распространение психоаналитических концепций в американской буржуазной историографии может быть понято в свете ведущих тенденций ее развития, выразивших существенные сдвиги, происшедшие в ней, а в конечном счете и в самом буржуазном социальном мышлении на протяжении нашего столетия, в особенности его второй половины. Это были также сдвиги в соотношении различных национальных историографий в рамках буржуазного историзма, за которыми стоит целый комплекс самых разнообразных факторов — от претензий американского империализма на гегемонию в капиталистическом мире до победного шествия научно-технической революции, отразившейся на всех сферах жизни общества и самом стиле его мышления, которые в общем виде могут быть обозначены как переход ведущего положения в буржуазной исторической мысли от немецкой историографии к американской.

Является общепризнанным большое влияние немецкого идеалистического историзма на американскую буржуазную историческую мысль, достигшее своей кульминации в последние десятилетия XIX в., когда завершается процесс складывания в США профессиональной историографии. Особенно значительным было тогда влияние Л. Ранке. Известный американский историк Д. Иггерс говорит даже, что историография в США стала в 80-е тг. «академической дисциплиной на ранкеанских принципах»[1]. Не случайно этот признанный

[1] Iggers G. G. German Conception of History. Middletown, Connecticut, 1968, p. 63. Влияние немецкого идеалистического историзма на американскую историческую науку стало предметом специального монографического исследования. См.: Herbst J. The German Historical School in American Scholarship. N. Y.; Cornell, 1965. 262 S.

классик немецкого историзма был избран первым и единственным почетным членом Американской исторической ассоциации при ее основании в 1884 г.[2]

Даже утверждение в американской буржуазной историографии начала XX в. так называемого «прогрессистского», или «экономического», направления, порывавшего с ранкеанскими принципами истолкования истории[3], не означало разрыва с методологией немецкого идеалистического историзма. Изменились лишь каналы, по которым осуществлялось ее влияние. В соответствии с господствовавшими в буржуазной философско-исторической мысли конца XIX — начала XX вв. тенденциями (выдвижение на передний план гносеологической проблематики исторической науки) американская историография в первой половине XX в. переживает период стойкого влияния неоидеалистических идей, в особенности идей В. Дильтея[4], которое шло главным образом по линии утверждения субъективистских и релятивистских представлений об историческом познании. Характерно, что именно в рамках «экономического» направления, ратовавшего за создание «новой истории», поднялась волна захлестнувшего всю американскую историографию релятивизма, причем его крупнейшие представители Ч. Бирд и К. Беккер формировали свои гносеологические представления под непосредственным воздействием немецкого неоидеализма, как и идей Б. Кроче[5].

Вместе с тем даже в это время методологический базис американской буржуазной историографии отнюдь не являлся простой проекцией учений немецкого идеалистического историзма. В ней всегда сохранялись сильные позитивистские традиции. По удачному выражению Х. С. Хьюза, господствующее положение в американской историографии долгое время занимал «усе-

---

[2] См. Marwick A. The Nature of History. N. Y., 1971, p. 59.

[3] См.: Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 1977, с. 358—362.

[4] См.: Hughes H. S. The Historian and the Social Scientist.—In: Generalisations in Historical Writing/Ed. by N. Y. Riasanovsky, B. Kiznik. Philadelphia, 1963, p. 24—25.

[5] См.: Schulin E. Rückblick auf die Entwicklung der Geschichtswissenschaft.—In: Die Funktion der Geschichte in unserer Zeit. Hrsg. von E. Jäckel und E. Weymar. Stuttgart, 1975, S. 19.

ченный» (truncated) позитивизм, для которого характерны требование тщательного и досконального исследования фактов, признание категории причинности, а также отсутствие интереса к полемике по методологическим проблемам[6]. Вместе с широко распространенной в американском буржуазном обществоведении философией прагматизма он составлял специфическую теоретическую основу целого ряда направлений американской научной мысли, оказавших существенное влияние на историческую науку. В их числе отметим бихевиоризм, сыгравший особенно значительную роль в развитии современной американской буржуазной исторической мысли.

Важным следствием позитивистско-прагматической ориентации американской историографии является то обстоятельство, что она никогда полностью не порывала с представлением об истории как науке, играющей большую роль в жизни общества. При всех оговорках, подчас весьма существенных, история не отделялась непреодолимой стеной от естественных и социальных наук, что создавало возможность при определенных условиях заимствования ею их методов.

Эти условия в полной мере стали проявляться в послевоенные годы как закономерный результат происходивших в мире перемен. Именно благодаря этому происходит выход американской историографии на авансцену всей буржуазной исторической мысли. Постепенно она становится своеобразной «законодательницей мод» в буржуазной исторической науке. Не только политические идеи, отражающие гегемонистские претензии американского империализма, но и теоретические принципы и даже отдельные общенаучные оценки, выдвигающиеся в США, получают широкий резонанс в буржуазной историографии далеко за пределами этой страны.

Можно выделить две группы причин, обусловивших ведущее положение современной американской историографии в буржуазной исторической науке. Первая из них связана с общеполитическими факторами и коренится в мощи американского империализма и его глобальной стратегии. Вторая заключается во внутрен-

[6] Hughes H. S. Op. cit., p. 26.

ней логике развития самой буржуазной науки, совершающихся в ней структурных сдвигах.

В их числе отметим прежде всего утрату немецким идеалистическим историзмом его былого положения. Пережив военно-политический крах германского империализма в 1945 г. как свое собственное поражение, немецкая буржуазная историография не могла больше претендовать на ведущее положение в капиталистическом мире. При этом речь шла не только о ее политическом крахе. Одновременно это был крах ее теоретико-методологических принципов, воплощенных в учениях немецкого идеалистического историзма, многие десятилетия оказывавшего могущественное влияние на буржуазную историческую мысль[7].

Это влияние, в частности, шло по линии утверждения представления об индивидуализирующем характере исторического познания, принципиально отличающем его от познания в сфере естественных и социальных наук. В сочетании с убеждением в иррациональной природе исторического процесса и невозможности научного объяснения прошлого оно объективно вело к самоликвидации исторической науки в ее традиционном смысле[8]. Не удивительно поэтому, что кризис немецкого

[7] Послевоенные судьбы немецкого идеалистического историзма получили разностороннее освещение в марксистской литературе. См., в частности: Данилов А. И. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ.— В кн.: Средние века. М., 1959, вып. 15, с. 91—113; Он же. Проблема континуитета в историографии ФРГ.— Вопросы истории, 1981, № 3, с. 67—81; Черкасов Н. С. К оценке современного состояния западногерманской историографии.— В кн.: МИВИН. Томск, 1966, вып. 4, с. 56—95; Салов В. И. Современная западногерманская буржуазная историография. М., 1968, 382 с.; Патрушев А. И. Неолиберальная историография ФРГ: формирование, методология, концепция. М., 1981. 149 с.; Lozek G., Syrbe H. Geschichtsschreibung contra Geschichte. Berlin, 1965. 328 S.; Schleier H. Theorie der Geschichte—Theorie der Geschichtswissenschaft. Berlin, 1975. 113 S.; Unbewältigte Vergangenheit. Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung in der BRD. 3. Aufl. Berlin, 1977, 751 S.

[8] Об общих тенденциях развития буржуазной историко-теоретической мысли после второй мировой войны см.: Кон И. С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959. 403 с.: Прибаджаков Н. Клио перед судом буржуазной философии. М., 1972. 360 с.; Салов В. И. Историзм и современная буржуазная историография. М., 1977, 254 с.; Вайнштейн О. Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX веках. Л., 1979. 270 с.

идеалистического историзма, развернувшийся с особой остротой после второй мировой войны, не только резко подорвал международные позиции немецкой буржуазной историографии, но и неотвратимо должен был вести к смене лидера в буржуазной науке, естественно, никак не заинтересованной в собственной гибели.

Не задаваясь вопросом, смогла ли американская историография занять в современной буржуазной науке то место, которое некогда принадлежало немецкому историзму, подчеркнем только, что в ней в последние десятилетия происходят процессы, являющиеся в той или иной мере показательными для всей буржуазной науки, порывающей во имя собственного самосохранения с обоснованным немецким идеалистическим историзмом подходом к истории как индивидуализирующей дисциплине, не обладающей по самой своей природе подлинно научной методологией. В частности, речь идет об отчетливом стремлении большой и, по-видимому, все возрастающей части американских историков преодолеть былое отчуждение своей дисциплины от естественных и социальных наук, где они во многом выступают в роли пионеров, прокладывающих новые пути в буржуазной исторической науке.

Это стремление, питающееся давними позитивистско-прагматическими традициями, получило опору в неопозитивистской философии, основным центром которой с конца 30-х гг. становятся США. Особенно большое значение в этом плане имели усилия представителей так называемого логического позитивизма, направленные на исследование логики научного знания.

В нашей литературе вскрыты коренные методологические пороки этого направления буржуазной философской мысли, подвергнуты основательному критическому анализу развивавшиеся в его рамках воззрения на природу исторического знания, убедительно показана их общая научная несостоятельность[9].

---

[9] См.: Кон И. С. Неопозитивизм и вопросы логики исторической науки.— Вопросы истории, 1963, № 9, с. 45—65; Он же. К спорам о логике исторического объяснения: (схема Поппера-Гемпеля и ее критики).— В кн.: Философские проблемы исторической науки. М., 1969, с. 263—295; Салов В. И. Историзм и современная буржуазная историография, с. 96—102; Лооне Э. Н. Современная философия истории. Таллин, 1980, с. 40—54 и др.

Вместе с тем, на наш взгляд, эта критика не учитывает в должной мере того реального состояния буржуазной науки, на почве которого представители логического позитивизма развивали свои взгляды на природу исторического знания. В условиях почти безраздельного господства индивидуализирующей трактовки исторического познания, подчеркивающей его уникальный характер, акцент на логическом единстве всего научного знания объективно содействовал преодолению в буржуазном мышлении представления о противоположности исторического и других форм научного познания, а тем самым создавал почву для более адекватного понимания действительной природы исторической науки и ее познавательных возможностей и средств.

В этом плане принципиальное значение имела небольшая статья Карла Гемпеля о природе общих законов в истории. Отвергая неокантианское разделение наук на номотетические и идиографические, К. Гемпель настаивал в своей статье на существенном единстве логики объяснения в истории и естественных науках. Это единство он усматривал в том, что всякое объяснение покоится на общих законах, подчеркивая, что все эмпирические науки могут раскрыть свой предмет, только опираясь на общие понятия [10].

Соглашаясь с критикой неопозитивистской модели «охватывающего закона», неспособной раскрыть действительную природу законосообразности в природе и обществе, отметим, однако, что при всех своих пороках она означала определенный шаг вперед в буржуазной гносеологии, утверждая единство путей получения научного знания во всех его сферах. Применительно к истории это означало признание научного характера ее методологического инструментария и принципиальной возможности усвоения ею методов других наук, способных повысить степень точности и достоверности результатов исторических исследований.

Именно в таком русле шло влияние неопозитивизма на американскую буржуазную историографию. По меткому выражению одной исследовательницы, «первая

---

[10] Hempel C. The Function of General Laws in History.—In: Theories of History/Ed. by. P. Gardiner. N. Y., 1959, p. 344—356. Впервые эта статья была опубликована в 1942 г.

публикация Гемпелевой модели «охватывающего закона» для истории в 1942 г. стала решающим событием для всего дальнейшего развития американской теории истории»[11]. В американской (и более широко — англоязычной) литературе развертывается оживленная дискуссия вокруг этой модели, в процессе которой были подвергнуты тщательному исследованию различные аспекты исторического анализа[12]. Ее результатом явилось создание той духовной атмосферы, в которой наметилось прогрессирующее сближение истории с естественными и социальными науками.

Особенно эффективным оказалось сотрудничество между историками, с одной стороны, и философами, социологами и представителями других социальных наук — с другой. Как свидетельствует известный итальянский историк А. Момильяно, именно эта кооперация с социальными науками обусловила первенство американцев в послевоенной буржуазной историографии[13]. Она носила двусторонний характер — историки не только брали у своих коллег, но и давали им[14]. Нам важно подчеркнуть как раз факт широкого заимствования ими методов социальных наук, имевшего своим следствием значительное обогащение познавательных возможностей исторической науки. Не без основания в зарубежной литературе говорится даже об «обновлении» исторической науки, под которым подразумевается ее оснащение методами социальных наук[15].

---

[11] Nagl-Docecal H. Zum Problem der Relativismus in der neueren amerikanischen Geschichtstheorie.—In: Denken über Geschichte/Hrsg. von F. Engel-Janosi, G. Klingenstein, H. Lutz. Wien, 1974, S. 128.

[12] См.: Mandelbaum M. Historical Explanation: The Problem of „Covering Laws".—In: History and Theory, 1961, vol. 1, N 3, p. 229—230; Tholfsen T. R. Historical Thinking. An Introduction. N. 4.; Evanston and London, Марксистский анализ этой дискуссии см. в цитированных работах И. С. Кона, Э. Н. Лооне и В. И. Салова.

[13] Momigliano A. Studies in Historiography. L., 1966, p. 230.

[14] «Изучение истории в сегодняшней Америке,— утверждает американский исследователь В. Ньюджент,— основа не только для политической науки, но и для социологии, антропологии, экономики, литературоведения, географии и др.» (Nugent W. T. K. Creati e History. Philadelphia; N. Y.,1967, p. 60).

[15] См.: Marwick A. Op. cit., p.233. Характерно, что в этой «обновленной» исторической науке находит свое место и Дильтей. Ему приписывается важное место в трансформации истории в социаль-

С этим «обновлением» буржуазной историографии было тесно связано распространение в ней количественных методов исследования. Одним из первых на эту связь указал Х. С. Хьюз. Характерным образом связывая распространение в американской историографии новых представлений о значении социальных наук для изучения истории с критикой логическим позитивизмом неоидеалистической традиции исторического мышления, он подчеркивает, что именно через социальные науки историки познакомились и начали применять в своих целях математическое моделирование, а также другие методы, основанные на использовании языка математики [16].

Все это позволяет говорить о повороте послевоенной американской историографии в сторону ее сциентизации. Совершавшийся в условиях научно-технической революции и созданной ею атмосферы «культа науки», этот поворот существенно сказался на общем теоретическом уровне изучения истории в США. Речь идет не только и даже не столько об использовании в исторических исследованиях методов социальных и естественных наук. Еще важнее было то, что оно сопровождалось переосмыслением представлений о природе исторического знания и возможностях его достижения, а тем самым — и о природе самой исторической науки.

Итогом такого переосмысления является прогрессирующее падение влияния релятивистско-субъективистских теорий исторического знания. Видный исследователь истории американской исторической науки Дж. Хайем, констатируя этот факт, примечательным образом связывает его с преодолением характерного для релятивизма 30-х гг. чувства неполноценности истории как науки, былого скептицизма по отношению к ее возможностям, к которому вела релятивистская аргументация, и возрождением уверенности в историческом

ную науку как своеобразному предшественнику структурализма (см.: Bulhof I. N. Structure and Change in Wilhelm Dilthey's Philosophy of History.—In: History and Theory. 1976, vol. 15, N 1, p. 21—32) Так былой пиетет перед немецким идеалистическим историзмом оборачивается в изменившихся исторических условиях попытками модернизировать теоретико-методологические взгляды отдельных его выдающихся представителей, включить их в общее русло движения за социологизацию исторического познания.

[16] Hughes H. S. Op. cit., p. 20—21, 41—44.

знании, сочетающимся с признанием главной задачи истории давать истину о прошлом [17].

Конечно, подобные заявления отнюдь не означают, что современная американская буржуазная историография действительно покончила с релятивизмом. Спектр бытующих в ней теоретико-методологических представлений является достаточно многоцветным, включает и откровенно релятивистские взгляды на природу исторического познания. Однако будет несомненным упрощением на этом основании говорить о презентистской и релятивистской волне, как характерной особенности развития всей послевоенной американской историографии [18].

С бóльшим основанием можно говорить об эклектизме, характеризующем гносеологические представления современной американской исторической науки, включающем наряду с релятивистскими идеями и признание в той или иной форме возможности получения истинного знания в истории. Причем теоретической основой такой возможности провозглашается близость истории и других форм научного познания, что делает возможным существование объективной истории [19]. Утверждается даже, что «наиболее базисным и наиболее непоколебимым принципом исторического метода всегда должна быть позиция научной объективности в отношении исторического материала» [20].

Распространение неообъективистских тенденций в современной американской историографии, естественно, не затронуло ее коренных мировоззренческих позиций. Тем самым не могла получить научного решения и проблема объективности исторического знания [21]. Да и са-

---

[17] Higham J., Krieger L., Gilbert F. History. New Jersey, 1965, p. 132—136.

[18] См.: Мальков В. Л. К вопросу о современном состоянии американской буржуазной историографии: (Кризис методологических основ и практика конкретных исследований).— В кн.: Критика современной буржуазной и реформистской историографии. М., 1974, с. 106.

[19] См.: The Philosophy of History in our Time/Ed. by H. Meyerhoff. N. Y., 1959, p. 161.

[20] Savelle M. Is Liberalism Dead? Seattl; London, 1967, p. 181.

[21] См.: Шарифжанов И. И. Проблема объективности в современной англо-американской историографии и философии истории.— В кн.: МИВИН, Томск, 1974, вып. 9, с. 41—52.

ми неообъективисты рассматривают возможность получения объективного знания в истории скорее как недостижимый идеал, чем реальную цель исторического исследования. На пути между идеалом и его воплощением возводится такой частокол оговорок, который обесценивает принципиальное признание возможности существования объективной исторической науки.

Сошлемся на рассуждения американского философа истории А. Данто, автора известной на Западе «Аналитической философии истории». В этой книге, полемизируя с историческим релятивизмом, он убедительно показывает несостоятельность противопоставления исторического и естественнонаучного познания, подчеркивает научность истории. Все это, однако, обесценивается суждениями, фактически отвергающими возможность действительно научного познания прошлого. Здесь присутствуют и традиционные аргументы всех критиков объективной истории, усматривающих «неискоренимый фактор условности и произвола» в описании прошлого, и нечто новое, на чем автор настаивает особенно решительно, заявляя, что «наше знание прошлого существенно ограничено нашим незнанием будущего»[22]. В свете этих и подобных им утверждений теряет смысл авторское обещание доказать, что мы можем претендовать на истинное знание о своем прошлом[23]. Не продолжая далее анализ взглядов А. Данто, подчеркнем только, что мы имеем дело с крупнейшим представителем так называемой аналитической философии истории, генетически непосредственно связанной с англо-американским неопозитивизмом и всей линией сциентизации исторического познания. Тем поучительнее неудача решения в этих рамках проблемы объективности в истории.

Более того, представляется в принципе невозможным решение проблемы объективности исторического познания на тех путях теоретических исканий, которые определяют послевоенное развитие американской буржуазной исторической мысли. Речь идет о возобладании в американском буржуазном обществоведении бихевиоризма, который претендует на роль его теоретической

[22] Danto A. C. Analytische Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main, 1974, S. 34—35, 56, 315.
[23] Ibid., S. 51.

основы и вместе с тем учения, способного поддерживать в американском обществе уверенность в его настоящем и будущем. «Сегодня,— признает видный американский буржуазный историк Дж. Хекстер,— большинство людей возлагают на бихевиористические науки те надежды, которые некогда возлагали на историю»[24].

Возникший накануне первой мировой войны в американской психологии, бихевиоризм превратился в одно из наиболее влиятельных направлений современной общественной мысли в США, оказывающее стойкое влияние на самые разные ее сферы, включая историю. После второй мировой войны бихевиористические идеи настолько широко проникли в американскую историографию, что даже стали говорить об истории как о бихевиористической науке[25]. При всей полемической заостренности этого утверждения оно верно отражает существенную тенденцию послевоенного развития американской историографии, характеризующегося ее возрастающим интересом к мотивам человеческого поведения, истолковываемым в бихевиористическом духе.

Именно с бихевиоризмом связана по преимуществу сциентизация американской историографии. Наиболее рельефно эту связь выразил крупнейший представитель бихевиоризма в американской исторической науке, ратующий за ее обновление на бихевиористических принципах, Ли Бенсон[26].

Заявляя о банкротстве традиционной историографии, Л. Бенсон усматривает одну из его причин в том, что историки не создали адекватных своему предмету исследовательских методов, вследствие чего они в своих выводах и результатах зависят от всякого рода случайных моментов и в конечном счете — идеологических соображений. Другая причина, по его убеждению, состоит в игнорировании историками общих законов человеческого поведения. Между тем, уверяет поборник «научной истории», «логические принципы или законы...

---

[24] Hexter J. H. Some American Observations.— In: The New History. Trends in Historical Research and Writing Since World War II/Ed. by W. Laqueur and G. L. Mosse. N. Y., Evanston 1967, p. 10.

[25] Savelle M. Op. cit., p. 178.

[26] См.: Benson L. Toward the Scientific Study of History: Selected Essays. Philadelphia, 1972. 352 p.

управляют всяким объяснением человеческого поведения»[27]. Подлинная задача истории заключается в том, чтобы обнаружить «общие законы человеческого поведения, которые могут помочь человеческим существам идентифицировать альтернативные виды деятельности, доступные им в специфических типах ситуаций, также как делать рациональный выбор среди альтернатив, чтобы наилучшим образом достичь желаемых результатов»[28]. Но для этого, полагает Л. Бенсон, необходимо систематическое применение новейшей техники научного исследования: только используя современные математические методы, можно понять действительные законы человеческого поведения, а с ними вместе — и самое движение истории в ее важнейших проявлениях.

Эта претенциозная попытка создания «новой» исторической науки при всем своем внешнем новаторстве является реминисценцией известных позитивистских идей[29]. Да и сам Л. Бенсон не считает нужным скрывать идейный источник своих новаций. В одной из работ он апеллирует к основоположнику позитивистской историографии Г. Боклю. Выражая надежду, что «в 1984 г. значительная часть американских историков примет два базисных положения Бокля: 1) прошлое человеческое поведение может быть изучено научно; 2) главное дело историков заключается в том, чтобы участвовать в широком научном предприятии обнаружения и разработки общих законов человеческого поведения»[30], он тем самым подчеркивает прямую генетическую связь между своими взглядами на задачи исторической науки и классическим позитивизмом XIX в.

Хорошо, однако, известно, чем окончились попытки Бокля и его единомышленников создать новую историческую науку. Едва ли иной может быть и участь попыток сциентизировать на бихевиористических принципах буржуазную историографию. Является порочным

---

[27] Ibid., p. 82.

[28] Ibid., p. 198.

[29] Что не прошло незамеченным и для буржуазных критиков Бенсона. См.: Mann R. Science and Polemics; Lee Benson and History.—In: The Historian, 1972, vol. 35, N 1, p. 90.

[30] Цит. по: Bogue A. G. United States: The „New" Politica History.—In: The New History, p. 207.

уже сам основополагающий постулат исторического бихевиоризма, подменяющий изучение законов исторического развития человеческого общества выявлением абстрактных «законов человеческого поведения»[31]. Законы эти, внеклассовые и вневременные, бихевиористы пытаются приложить к анализу конкретно-исторических ситуаций, заведомо обрекая себя либо на бессодержательные сентенции по поводу тех или иных свойств абстрактной человеческой природы, либо на весьма сомнительные умозаключения относительно смысла и значения известных исторических событий[32].

Наиболее ярким выражением совершающегося на бихевиористической основе методологического перевооружения послевоенной американской историографии является бурное развитие в ее рамках целого ряда новых научных дисциплин, обязанных своему появлению экспансии в историю методов естественных и социальных наук. Такие дисциплины, как «новая экономическая история» или «клиометрия», «новая социальная история», основанные на широком применении этих

---

[31] Марксистскую критику бихевиоризма см.: Ярошевский М. Г. История психологии. М., 1966. 565 с.; Петровская Л. А. К критике бихевиористской интерпретации социального взаимодействия.— В кн.: Социологические исследования. М., 1978, № 3, с. 161—169; Friedrich W. etc. Zur Kritik des Bechäviorismus. B., 1978. 325 S.

[32] См., например, трактовку Бенсоном причин и характера гражданской войны в США, которая базируется на сконструированной автором модели сепаратистских движений, где в одном ряду с этой войной помещены движения в наши дни в Судане, Нигерии и Бангладеш (см.: L. Benson. Toward the Scientific Study of History p. 204—208). Что касается ее непосредственных причин, то они усматриваются главным образом в определенных чертах психологии рабовладельцев американского Юга, обусловивших их конфликт с северянами. Дело, оказывается, заключалось в том, что высокомерие южан было уязвлено постепенной отменой рабства в северных штатах, которая в глазах южных рабовладельцев публично бесчестила их и угрожала чести и достоинству элиты южан, идентифицировавшей себя с рабством. Эта объективная нужда в поддержании собственного достоинства в сочетании с крайне несовершенной политической системой и породила гражданскую войну в США (Ibid., p. 316—323). Эта концепция едва ли заслуживает серьезной критики. Подчеркнем только, что она ярко демонстрирует несостоятельность бихевиористских претензий на объяснение действительно сложных исторических проблем путем апелляции к «законам человеческого поведения», оборотной стороной чего является намеренное игнорирование реальных противоречий общественного развития.

методов и прежде всего математического языка, приобрели сегодня ведущее положение в исследовании социально-экономической проблематики в США. По свидетельству одного из крупнейших американских «клиометристов» Р. Фогеля, уже в первой половине 70-х гг. большинство статей, опубликованных в главных журналах по экономической истории в Соединенных Штатах, являлись полностью математическими, и «клиометристы» преобладали в руководстве Ассоциации экономической истории[33]. Быстро прогрессирует также «новая социальная история», имеющая в своем активе ряд интересных попыток использования количественных методов в исследовании различных аспектов социальных отношений[34].

Новые веяния появились и в традиционной сфере буржуазного идиографизма — политической историографии. В последние десятилетия в изучении политической истории в США сложилось влиятельное бихевиористическое направление, широко привлекающее количественные методы социальных наук к анализу политических событий и институтов. Пришествие бихевиоризма в политическую историографию трактуется в современной американской литературе как успешная революция, приведшая к возникновению «новой политической истории», концентрирующейся на социальном анализе политики[35].

Таким образом, сциентизация исторической науки действительно достигла в США значительных результатов, включая в свою орбиту все новые разделы исторического знания. «Новая научная» история в возрастающей степени определяет современное состояние американской буржуазной историографии, выражая ведущую тенденцию ее развития. Нужно, однако, присмотреться к тому, какой смысл вкладывается в это понятие американскими учеными. Разъясняя его, видный представитель «новой научной» истории Дж. М. Ка-

---

[33] См.: Vogel R. W. The Limits of Quantitative Methods in History.—In: The American Historical Review. 1975, vol. 80, № 2, p. 331.

[34] См.: The American Historical Review, 1979, v. 84, № 5, p. 1293—1333.

[35] См.: Bogue A. G. The Political History in the 1970 S.—In: The Past Before Us, p. 231—251.

уссер прямо подчеркивает, что здесь речь идет отнюдь не о познании закономерностей исторического процесса. Указывая, что из новейших достижений социальных историков вырастает возможность превращения истории, по крайней мере отчасти, в науку, он тут же делает характерную оговорку. Под «научной историей»,— пишет он,— «я понимаю не то, что историки обнаружат универсальные законы, но просто, что они установят широкое согласие по ряду важных, хотя и узких фактов (например, что рабство было в целом выгодно для рабовладельцев), что добытые ими данные будут воспроизводимыми и что возможно систематическое исследование, основывающееся на ранее прочно обоснованных результатах» [36]. Еще более определенно эту мысль подчеркивает крупнейший американский «клиометрист» Р. Фогель. Отмечая большое значение для исторического исследования количественных методов и методов социальных наук, он тем не менее утверждает, что «квантификация не трансформирует историю в науку, а просто расширяет сумму научно обоснованного знания, на которое могут опираться историки». «Я не верю,— заключает ученый,— что квантификация требует отказа от истории как от искусства» [37].

Широкое распространение в американской буржуазной историографии точных методов исследования не меняет ее природы. Принципиально отвергая исторические законы, существенно ограничивая рамки получения объективного знания о прошлом, буржуазные историки в значительной степени обесценивают действительно большие возможности, которые открывает перед историей усвоение этих методов. Но тем самым обесцениваются познавательные возможности и самой «новой научной» истории [38]. В числе дисциплин, охватываемых понятием «новая научная» история, свое место занимает и «психоистория», претендующая посредством применения психоанализа повысить научный уровень изучения истории. В этом смысле нет принципиального различия между «психоисториками» и, например, «клио-

[36] Kousser J. M. Quantitative Social-Scientific History. — In: The Past Before Us, p. 446, fn. 30.

[37] Fogel R. W. Op. cit., p. 341—350.

[38] Марксистскую критику «новой научной» истории в США см.: Гаджиев К. С., Сивачев Н. В. Указ. соч., с. 114—163.

метристами». Подобно тому, как последние основывают свои выводы на данных, полученных благодаря применению новейших математических методов, так и «психоисторики» апеллируют к достижениям современной медицины и психологии, рассчитывая с их помощью преодолеть субъективизм в оценке исторических деятелей.

Показательно, что во многих оценках современного состояния американской исторической науки «психоистория» и «клиометрия» рассматриваются в одном ряду — как наиболее яркое выражение новейших тенденций ее развития. Именно в этих дисциплинах как их приверженцы, так и противники, кстати сказать, достаточно многочисленные, видят «докторов», пытающихся излечить больную буржуазную историографию, помочь ей преодолеть глубокий кризис, в котором она находится[39]. Именно они рассматриваются как дисциплины, доминирующие в современной американской историографии, определяющие во многом ее облик[40].

Таким образом, психоаналитические интерпретации истории впадают в общее русло усилий, предпринимающихся в современной американской историографии с целью повышения ее научного уровня путем усвоения методов более развитых наук. Другими словами, они являются органической частью попыток преодоления кризиса теоретико-методологических основ буржуазной исторической науки за счет их частичной модернизации.

В этих попытках отразилось стремление буржуазной исторической мысли приспособиться к определенным реалиям послевоенного мира. Как и всюду на Западе, в США получил распространение взгляд, что мир с начала нашего столетия изменился так быстро и так сильно, что для историков становится совершенно невозможно понять прошлое путем воображения и сочувствия[41]. Но в то время как, например, в ФРГ, где учение о понимании занимало традиционно ведущее

---

[39] См.: Barzun J. Clio and the Doctors: Psycho-History, Quanto-History, and History. Chicago London, 1974. 173 p.

[40] Loesdau A. Zur Krise der bürgerlichen Historiographie in den USA.— Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1976, № 6, S. 638—640.

[41] См.: Wilson R. J. United States: the Reassessment of Liberalism.— In: The New History, p. 91.

положение в осмыслении исторического прошлого, признание невозможности адекватного понимания прошлого логически вело к отрицанию познавательных способностей истории, а в своем крайнем варианте — и к отрицанию самой исторической науки в ее традиционной форме[42], буржуазная историческая мысль в Соединенных Штатах пошла по иному пути. Признав несостоятельность старых методов исторического познания, переставших соответствовать кардинально изменившимся условиям послевоенного мира, она обратилась к поиску новых.

Наряду с количественными методами психоанализ создавал некоторую альтернативу «историческому пониманию», представлявшую попытку научного объяснения прошлого, предлагая таким образом буржуазной историографии путь выхода из кризиса. Характерно, что именно так расценивает его возможности один из ведущих представителей социально-структурного течения в западногерманской буржуазной историографии, выступающий, хотя и со значительными оговорками, за сциентизацию исторического знания, в том числе и путем обращения к психоанализу, Г.-У. Велер. Осмысливая опыт психоаналитического истолкования истории, прежде всего в США, он усматривает значение психоанализа и социальной психологии в том, что они дополняют учение о «понимании», представляя в распоряжение историка надежные теории и исследовательскую технику и тем самым обеспечивая расширение горизонта его индивидуального опыта[43].

Было бы неверным отрицать всякое позитивное значение предпринимаемых буржуазными учеными попыток модернизации своей науки. С ними связано расширение самого предмета истории. Они сделали возможным получение в историческом исследовании более точных и надежных результатов, а тем самым привели к известному расширению познавательных возможностей исторической науки в целом. Другое дело, что вследствие порочности коренных методологических принципов

---

[42] См., например: Lauer H. E. Die Forderungen des 20. Jahrhunderts an die Geschichtsforschung. Freiburg, 1966. 96 S.

[43] Wehler H.-U. Zum Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse.—In: Geschichte und Psychoanalyse. Köln, 1971, S. 16

буржуазной науки эти возможности далеко не всегда и не в полной мере могут быть реализованы [44].

Более того, являются очевидными и явно негативные моменты, связанные со сциентизацией буржуазной историографии. В общем итоге их можно свести к усилению в ней тенденций антиисторизма. Заимствованные из естественных наук методы нередко приобретают самодовлеющее значение, полученные с их помощью результаты образуют построения, которые разрывают единую ткань исторического процесса, на место истории как «науки о людях во времени» [45] приходят дисциплины, занимающиеся в разных формах «измерениями» прошлого и его различных структур, но теряющие при этом нечто более важное — понятие самой истории. При всем значении отдельных результатов, полученных этими дисциплинами, они, естественно, не могут заменить историю в собственном смысле слова. Претензии же «клиометрии», «психоистории» и им подобных дисциплин занять ее место объективно приводят к отказу от последовательно исторического рассмотрения прошлого человеческого общества. Таким образом, попытки преодоления кризиса буржуазной историографии на путях обновления ее методологического инструментария ставят в конечном счете под вопрос самое существование исторической науки в общепринятом смысле, а с нею вместе — и возможность научного осмысления исторического процесса развития человечества в его существенных чертах и закономерностях.

Методологические искания в современной буржуазной науке не должны рассматриваться изолированно от идейных позиций, с которых они ведутся, и политической значимости и направленности результатов, получаемых с помощью использования новых методов. Идеологический и политический характер истории обуслов-

---

[44] Как сильные стороны американской «клиометрии», так и коренные пороки ее методологии получили широкое освещение в советской литературе. См.: Ковальченко И. Д., Сивачев Н. В. Структурализм и структурно-количественные методы в современной исторической науке.— История СССР, 1976, № 5, с. 60—92; Болховитинов Н. Н. США: Проблемы истории и современная историография. М., 1980. 405 с.; Буржуазный историзм в зарубежной историографии. Казань, 1981. 183 с.

[45] Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973, с. 29.

ливает необходимость при оценке всяких сколько-нибудь серьезных методологических новаций принимать во внимание их объективный идейно-политический смысл, обнаруживающийся при применении к исследовательской практике.

Характер этой последней, однако, предостерегает против упрощенно-одноцветной трактовки такого смысла. Напротив, обращает на себя внимание широкий спектр оттенков политических убеждений сторонников использования новых методов в историческом познании, равно как и идейной направленности их трудов. При этом можно, по-видимому, говорить о различных тенденциях в этом отношении, обнаруживающихся в развитии рассматриваемых дисциплин в разных западных странах в зависимости от конкретных условий, образующих в своей совокупности специфику той или иной национальной историографии. Если, например, во Франции широкое распространение количественных методов в исторических исследованиях оказалось связанным с резким политическим поправением школы «Анналов», в рамках которой оно преимущественно развивается[46], то в ФРГ тенденция к модификации методологического аппарата исторической науки привела к возникновению так называемого социально-структурного течения, которое, особенно в лице своих леворадикальных представителей, оставаясь в главном на позициях буржуазного мировоззрения, выступило с критикой наиболее реакционных концепций истории Германии и находится на левом фланге современной западногерманской буржуазной исторической науки[47].

Что же касается американской буржуазной историографии, то здесь, очевидно, ведущей в интересующем нас отношении является консервативная тенденция. Как убедительно показал в своем содержательном анализе развития послевоенной исторической науки в США Н. Н. Болховитинов, широкое обращение американских историков к методам естественных и социальных наук

[46] См.: Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики. М., 1980. 277 с.; Он же. Эволюция теоретических основ школы «Анналов».— Вопросы истории, 1981, № 9, с. 77—92; Он же. Вчера и сегодня французской «Новой исторической науки».— Вопросы истории, 1984, № 8, с. 32—50.

[47] См.: Данилов А. И. Проблема континуитета в историографии ФРГ.— Вопросы истории, 1981, № 3, с. 72—73, 81.

не только совпало во времени с переходом ведущего положения в американской историографии к представителям так называемого «консервативно-консенсусного» течения, но и предоставило в лице этих методов одно из главных средств пересмотра с реакционных позиций ключевых проблем истории Соединенных Штатов. Это положение в книге иллюстрируется на примере ряда известных произведений крупнейших американских «клиометристов», причем работа Л. Бенсона «Концепция джексоновской демократии» характеризуется как своеобразная кульминация «консенсусной» теории в историографии вопроса, основанной на широком применении количественных методов[48]. Ниже мы попытаемся показать, что указанная тенденция в полной мере проявилась и в психоаналитических интерпретациях истории.

При этом важно подчеркнуть, что политическая тенденциозность неизбежно оборачивается научной несостоятельностью новых методов в историческом познании, будь это утверждение об эффективности плантационного рабства на американском Юге в середине XIX в., отмена которого якобы затормозила индустриальное развитие страны, или теория патогенного характера всякого революционного движения.

Налицо, таким образом, противоречие между несомненным обогащением методологического инструментария буржуазной науки и реальными результатами применения новых методов в историографической практике. Оно, конечно, не может быть объяснено недостатком профессионального мастерства буржуазных ученых, их неумением пользоваться новыми методами и вообще теми или иными субъективными причинами. Истоки его лежат несравненно глубже: в конечном итоге его следует искать в исторической реакционности того общественного класса, коренные интересы которого эти ученые защищают.

Именно здесь скрываются причины того на первый взгляд парадоксального факта, что оснащение исторической науки методами, действительно способными обогатить историческое познание, сделать его более точным и достоверным и в ряде случаев приводящими к су-

[48] Болховитинов Н. Н. Указ. соч., с. 266—268.

щественным результатам в трактовке тех или иных конкретно-исторических проблем, не только не имело своим следствием сколько-нибудь заметного повышения общетеоретического уровня буржуазной исторической науки, но и способствовало его дальнейшему понижению, ибо новейшие достижения в сфере исследовательской техники еще разительнее подчеркивают общую идейно-теоретическую несостоятельность современной буржуазной мысли, неспособной дать адекватное объяснение как исторического процесса в целом, так и его важнейших компонентов. Используемые в реакционных общенаучных и идейно-политических целях, они, как правило, только усугубляют коренные пороки, присущие историко-теоретической мысли общества, переживающего глубокий духовный упадок. Но тем самым приходится признать конечную несостоятельность претензий поборников сциентизации буржуазной историографии на создание подлинно научной истории.

2. Фрейдизм и история

В свете рассмотренных тенденций послевоенного развития американской исторической мысли обратимся к более систематическому анализу «психоистории», ее теоретических принципов и идейно-политической направленности.

Как уже отмечалось, психоаналитические интерпретации истории восходят к фрейдизму и являются составным компонентом общих усилий поднять научный уровень буржуазной историографии. В этой связи будет уместным заметить, что имя родоначальника психоанализа окружено пиететом в американской литературе. Даже далекие от «психоистории» авторы помещают Фрейда в число мыслителей, оказавших наиболее серьезное влияние на современную американскую историографию, как и всю общественную мысль. Его наряду с М. Вебером, Б. Кроче, Э. Дюркгеймом, К. Юнгом (причем он в этом ряду стоит первым) относят к «поколению 90-х годов», открывшему новые и «более глубокие» перспективы в изучении общества, результатом чего было огромное повышение интеллектуального

самосознания[49]. Психоанализ Фрейда рассматривается как один из источников модной «философии человеческого поведения»[50]. Отношение к нему выступает в качестве критерия оценки тех или иных мыслителей[51]. Его идеи широко используются в трактовке специальных проблем обществоведения, например философии ценностей[52].

Особенно значительным признается влияние Фрейда на историческую науку в последние десятилетия. Подчеркивается, что его работы, наряду с работами М. Вебера, Э. Дюркгейма, Д. Кейнса и некоторых других классиков буржуазного обществоведения, все шире входят в круг основной литературы историков[53]. При этом, естественно, влияние фрейдизма наиболее широко захватило жанр исторической биографии. Как отмечает А. Марвик, «сегодня ни один историк не мог бы написать биографическое исследование без влияния фрейдистской или постфрейдистской психологии»[54].

Этому влиянию в буржуазной литературе дается однозначно высокая позитивная оценка. В нем усматривается один из важнейших факторов сциентизации буржуазной историографии, повышения ее теоретического уровня. А. Марвик даже пишет о «фрейдистской революции, которая сделала так много для разрушения старой напыщенной мотивации человеческой деятельности»[55].

Является показательной тенденция защиты учения Фрейда от обвинений в культе иррационального. Э. Карр прямо заявляет о ложности таких обвинений, ибо они основываются на смешении признания необходимости изучения иррационального элемента в поведении человека и культа иррационального. По убеждению англий-

---

[49] Hughes H. S. Consciousness and Society. Reorientation of European Social Thought 1980—1930. Bungay; Soffolk, 1959, p. 15—17.

[50] Ideas in History/Ed. by R. Herr, H. T. Parker. Durham, 1965, p. 372.

[51] См., напр.: Hughes H. S. The Historian and the Social Scientist, p. 50.

[52] Stern A. Philosophy of History and the Problem of Values. Mouton, 1962, p. 102.

[53] Hexter J. H. Op. cit., p. 13.

[54] Marwick A. Op. cit., p. 141. Ср.: p. 269—270.

[55] Ibid., p. 117.

ского историка, Фрейд стремился расширить границы нашего знания путем раскрытия и рационального исследования бессознательных истоков поведения человека. «Это было,— продолжает он,— расширение царства разума, увеличение возможностей человека в понимании и контроле самого себя». Э. Карр отнюдь не выступает в своих рассуждениях как апологет учения Фрейда. Он отмечает некоторые его слабые стороны, выражая, в частности, сомнение относительно претензий объяснения методом психоанализа поведения исторических личностей. Это, однако, не мешает ему утверждать, что Фрейд принадлежит современному миру в том смысле, что он создал инструменты для более глубокого понимания корней поведения человека. Э. Карр усматривает особое значение Фрейда для историка в том, что он окончательно развеял иллюзии, будто мотивы действий, на которые люди ссылаются, адекватны их объяснению этих действий, и стимулировал его исследовать самого себя и свою позицию в науке, выясняя мотивы, формирующие его концепцию прошлого [56].

Аналогичный ход мыслей принадлежит маститому американскому философу М. Когену. Заявляя, что «модный психоанализ и различные психиатрические теории служат, чтобы напомнить нам, как много корней иррационализма и даже психоза находится в обыкновенном нормальном человеческом существе», он вместе с тем считает нужным «предостеречь против поспешных заключений» на этот счет. С его точки зрения, «Фрейд полагал, что бессознательное в нас всегда действует в неэмоциональной и рациональной манере»: оно всегда знает, чего хочет, и если не достигает цели, то только вследствие вмешательства сознательного эго, находящегося под владычеством социальных норм [57].

Конечно, далеко не со всем в этих высказываниях вследствие их односторонности можно согласиться. В них присутствует несомненная идеализация фрейдизма, гипертрофирующая его возможности в научном познании. Тем более является несостоятельной любая

---

[56] Carr E. H. What is History? Cambridge, 1962, p. 133—134

[57] Cohen M. R. The Meaning of Human History. Chicago, 1961, p. 130—131.

попытка неоправданного сближения фрейдизма с марксизмом. Когда тот же Э. Карр утверждает, что З. Фрейд «дополнял» и «подкреплял» дело К. Маркса, стимулируя познание историком самого себя[58], он игнорирует принципиальное различие между марксизмом и фрейдизмом в самом подходе к социальному познанию. Психоанализ в своей претензии на роль основополагающего метода в познании человека не только не «дополнял» марксизм, но и по существу отвергал его, подменяя классовый анализ поведения человека в обществе биологическим[59].

Заранее оговоримся — марксистская критика фрейдизма отнюдь не означает вообще отрицания биологического начала в человеке и необходимости его учета как в общенаучных построениях, так и в исследовательской практике. Вопрос заключается в определении действительного места этого начала в деятельности человека и, следовательно, характера его изучения науками, которые с разных сторон ее исследуют.

Живя в обществе, человек является существом социальным, и как раз в этом своем качестве, определяющем его положение среди других живых существ, составляет предмет разностороннего исследования общественных и гуманитарных наук. Подмена социального анализа деятельности человека биологическим неприемлема для марксистов именно потому, что она извращает действительную природу человека и его деятельности, а тем самым и действительное содержание исторического процесса, являющегося совокупным продуктом этой деятельности. Поэтому марксисты отвергают все попытки неофрейдистов спасти основное ядро своего учения путем дополнения метода психоанализа изучением социальных отношений, в которых проходит деятельность человека, ибо такое дополнение не затрагивает центрального догмата фрейдизма о приоритете биологического над социальным.

Наконец, марксистская оценка фрейдизма не может пройти мимо классовой природы и социальной направленности этого учения. Несмотря на, казалось бы, его

---

[58] Carr E. H. Op. cit., p. 134—135.

[59] См.: Браун К.-Х. Критика фрейдо-марксизма: К вопросу о марксистском снятии психоанализа. М., 1982. 270 с.

сугубо специальный характер, далекий от социальных бурь современности, учение Фрейда имело совершенно определенный идейный смысл. Присущий ему культ индивидуализма не только обнажал ту социальную почву, на которой оно возникло, но и указывал на его объективное место в идеологической борьбе своего времени. Языком психоанализа оно защищало ценности буржуазного общества, служило их наукообразному обоснованию.

Показательны суждения новейших американских последователей Фрейда, отчетливо осознающих генетическую связь его учения с идеалами буржуазной цивилизации. Известное фрейдистское положение о достижении индивидуумом зрелости как его освобождении от пут родительской власти американские авторы непосредственно соотносят с господствующими представлениями буржуазного (западного, по их терминологии) общества о своем происхождении. Обосновывая тесную связь фрейдистской парадигмы индивидуального онтогенеза со взглядами «западного человека» на его филогенез, они подчеркивают, что эдипова борьба является личным и семейным выражением гораздо более широкой борьбы против всех форм связанности, присущих феодальному строю («старому порядку»). Но дело, конечно, не в феодализме. В трактовке американских авторов фрейдизм выступает как идеологическое оправдание «индивидуалистического либерализма», обосновывающее превосходство западной цивилизации над другими, «обреченными быть филогенетическими банкротами, если они не смогут навести надлежащий порядок в своих психологических онтогенезах». Более того, на примере книги французского фрейдиста О. Маннони «Проспер и Калибан» они показывают использование фрейдизма в откровенно колониалистских и расистских целях[60].

Принципиальная критика фрейдизма не исключает, однако, признания в этом учении известного позитивного момента, заключающегося в самом факте обращения внимания на иррациональные мотивы в поведении человека и стремлении дать им рациональное

[60] Rudolf S. H., Rudolf L. I. Rajput Adulthood: Reflections on the Amer Singh Diary.—In: Adulthood/Ed. by E. H. Erikson. N. Y., 1978, p. 153—154.

объяснение. Трудно что-либо возразить М. Когену, который утверждает: «Мы не должны ни преувеличивать значение иррациональных и даже нерациональных элементов в человеческой природе, ни преуменьшать их в стремлении понять массовые явления, которые составляют историю»[61]. Все дело заключается в том, чтобы определить действительное место этих элементов в историческом процессе и способы их научного познания. И хотя фрейдизм не сумел сделать ни того, ни другого, за ним остается заслуга постановки самого вопроса. Нам предстоит рассмотреть трансформацию этого вопроса в сфере исторического познания.

Именно в этой сфере констатируется зарубежными наблюдателями «победный марш фрейдизма в США»[62]. Между тем трудно представить себе другую отрасль гуманитарного знания, более чуждую основоположнику психоанализа, чем история. Нельзя не согласиться с французским философом-марксистом К. Б. Клеманом, когда он пишет о поразительном неприятии Фрейдом истории[63], пронизывающем все его учение. В самом деле, он с редким постоянством подчеркивал вневременный характер своих главных постулатов. Независимость от исторического времени, от конкретных социальных условий, в которых осуществляется деятельность людей в истории, составляет основополагающую черту постулировавшихся австрийским ученым законов, определяющих поведение человека. Он прямо утверждал, что «процессы системы Бессознательного протекают вне времени, т. е. они не упорядочены во времени, не меняются с течением времени и вообще совершенно не связаны со временем»[64].

Такая установка определяла и цели психоанализа. Первой его задачей сам Фрейд считал «открытие тех влечений (Triebregungen), которые являются общими для всех живущих сегодня людей, даже объединяют

---

[61] Cohen M. R. Op. cit., p. 131.

[62] Schulze H. Die Biographie in der „Krise der Geschichtswissenschaft".—In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 1978, H. 8, S. 512.

[63] Клеман К. Б. Истоки фрейдизма и эволюция психоанализа.— В кн.: Клеман К. Б., Брюно П., Сэв Л. Марксистская критика психоанализа, с. 101.

[64] Цит. по: Клеман К. Б. Истоки фрейдизма.., с. 91.

сегодня живущих с людьми доисторической и первобытной эпох»[65]. Естественно, что реализация этой задачи предполагала подчеркнуто антиисторический подход адептов психоанализа к исследованию психики человека. Главным объектом исследования провозглашались психические неврозы, порожденные конфликтом бессознательного и сознательного, носящим изначальный и вечный характер. Реальная историческая действительность в лучшем случае рассматривалась в качестве фона, на котором развертывается этот конфликт и который оказывает на него то или иное воздействие. Но оно отнюдь не считалось определяющим. Напротив, сама историческая действительность объяснялась с позиций изначально присущих человеку «комплексов», обусловливающих не только его поведение в тех или иных конкретных ситуациях, но и в последнем счете сами эти ситуации. Сказанное, разумеется, относится и к исторической личности.

Тем не менее основоположнику психоанализа не было чуждо, особенно в последние годы жизни, стремление дать определенное историческое обоснование своему методу, равно как и применить его к истории. Ему принадлежит одна из ранних попыток (предпринятая совместно с У. Буллитом) использовать этот метод для анализа жизни и деятельности исторической личности — американского президента В. Вильсона[66]. Еще более существенное значение имеет стремление Фрейда исторически мотивировать возникновение целого ряда неврозов, оказавших огромное влияние на развитие человеческого общества. Он рисует яркую, хотя и фантастическую картину восстания в первобытной орде обуреваемых «эдиповым комплексом» сыновей против своего отца, положившего начало религии и всечеловеческому угрызению совести как основе, на которой покоится вся современная культура[67].

---

[65] Цит. по: Engel-Janosi F. Von Anfang der Geschichte.— In: Denken über Geschichte, S. 13.

[66] Freud S., Bullitt W. Thomas Woodrow Wilson. Twenty-eight President of the United States. A Psychological Study. Boston, 1967. Книга написана в 30-е гг.

[67] См.: Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. М., 1923. 73 с.; Freud S. Moses and Monotheism. L., 1939. 223 p.

Таким образом, уже на заре психоанализа отношение этого учения к истории являлось, выражаясь его собственным языком, достаточно амбивалентным. Присущий ему антиисторизм причудливым образом сочетался с таким же несомненным стремлением к распространению сферы своего приложения на историю. Конечно, это стремление не означало, что фрейдизм претендовал на самостоятельное осмысление исторического процесса в реальной ткани истории народов, составляющих человечество. Еще меньше можно говорить, как это делает В. М. Лейбин, о его философии истории[68] хотя бы уже потому, что Фрейд подчеркнуто настаивал на вневременном, внеисторическом характере основных категорий своего учения. Его никогда не интересовал вопрос о направленности и смысле исторического процесса[69], без постановки которого немыслима никакая философия истории. Фрейд и его последователи претендовали не столько на создание всеобъемлющей теории социального развития, сколько на разработку универсального метода познания явлений общественной жизни. Именно в этом своем качестве психоанализ пытается стать главной альтернативой марксизму как методу социального познания[70], что делает особенно актуальным его критическое изучение.

3. Становление «психоистории» как самостоятельной дисциплины

По линии метода и шло главным образом влияние фрейдизма на буржуазную историографию, нашедшее особенно яркое выражение в складывании «психоистории» как самостоятельной научной дисциплины. Исходным пунктом ее формирования следует, по-видимому, считать приложение психоаналитических методов к трактовке исторических личностей, чем, как известно, занимался уже сам Фрейд. Уже в первой трети нашего столетия появились, главным образом в Австрии и Гер-

[68] Лейбин В. М. Указ. соч., с. 61.

[69] См.: Лейбин В. М. Указ. соч., с. 68—75.

[70] См.: Сэв Л. Психоанализ и исторический материализм.— В кн.: Клеман К. Б., Брюно П., Сэв Л. Марксистская критика психоанализа, с. 218—220.

мании, многочисленные биографии политических деятелей, ученых и деятелей искусства, в которых с большим или меньшим успехом применялся психоанализ[71]. Наряду с этим предпринимаются первые попытки использования психоанализа для характеристики различных сторон и явлений общественной жизни[72].

Важным этапом в становлении «психоистории» явилось психоаналитическое изучение немецкого фашизма и его главарей, интенсивно развернувшееся в 40-е гг. в США[73]. Именно на этом сюжете отрабатывались приемы психоаналитического исследования исторической личности и характера ее взаимоотношений с массами, которые вошли затем в методологический инструментарий новой дисциплины.

В ее окончательном формировании в США заметным рубежом стала вторая половина 50-х гг. В 1958 г. была опубликована книга признанного авторитета американской «психоистории» Эрика Эриксона[74] «Молодой Лютер», «установившая, по словам одного из видных представителей этой дисциплины Б. Мэзлиша, сферу

---

[71] См.: Begler E. Die Biographik macht der Psychoanalyse Konzessionen.—In: Die psychoanalytische Bewegung, 1933, Bd. 5, S. 501. Еще полвека назад Беглер утверждал, что «без применения результатов психоанализа нет психологической биографии» (Ibidem, S. 11).

[72] См. напр.: Laswell H. Psychopathology and Politics. Chicago, 1930. 492 p.; Feller F. M. Antisemitismus: Versuch einer psychoanalytischen Lösung des Problems. Berlin, 1931, 90 S.; Fenichel O. Psychoanalyse der Politik.—In: Die psychoanalytische Bewegung, 1932, Bd. 4, S. 4—21; Reich W. Was ist Klassenbewusstsein? Kopenhagen, 1934. 91 S.

[73] Подробнее об этом см.: Гульбин Г. К. Об эволюции идейно-теоретических основ американской «психоистории» фашизма.—В кн.: МИВИН. Томск, 1983, вып. 17, с. 53—74.

[74] Об Эриксоне и его месте в развитии американской «психоистории» см.: Горнев Г. П. Критика философско-методологических основ неопсихоаналитической концепции Э. Эриксона. Автореф. дис. ... канд. философ. наук. М., 1978. 24 с.; Якимова Е. В. Критика неофрейдистской концепции человека Э. Г. Эриксона.— Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия, 1980, № 5, с. 67—76; Николаева И. Ю. Э. Эриксон — пионер «психоистории».—В кн.: МИВИН. Томск, 1982, вып. 15, с. 21—37; Coles R. Erik H. Erikson: The Growth of his Work. Boston; Toronto, 1970. 440 p.; Roazen P. E. H. Erikson: The Power and Limits of Vision. N. Y., 1976. 280 p.; Strozier Ch. Disciplined Subjectivity and the Psychohistorian: A Critical Look at the Work of Erik H. Erikson.—In: The Psychohistory Review, 1976, vol. 5, № 3, p. 28—31.

психоистории в ее современной форме»[75]. В этой получившей широкую известность в буржуазной историографии книге были сформулированы и обоснованы на конкретном материале психоаналитического изучения исторической личности принципы, оказавшие серьезное влияние на все дальнейшее развитие «психоисторических» исследований на Западе. В частности, здесь впервые на материале жизни Лютера было раскрыто одно из центральных положений современной «психоистории» — понятие «кризиса идентичности» исторической личности как узлового момента в ее самоопределении, оказывающем решающее влияние на развитие всего общества[76].

Почти одновременно с этой книгой появилась статья тогдашнего президента Американской исторической ассоциации У. Лэнгера под характерным названием «Ближайшая задача», знаменовавшая начало поворота американской историографии к психоанализу. Представлявшая собою президентское послание, прочитанное в ассоциации в 1957 г., она декларировала в качестве настоятельной непосредственной задачи, стоящей перед историками, необходимость овладения ими методами психоаналитической интерпретации истории[77].

Со второй половины 60-х гг. начинается настоящий бум «психоисторических» исследований в США, когда, по словам Б. Мэзлиша, стали произрастать семена, посеянные Лэнгером и Эриксоном. С этого времени не иссякает поток литературы, в которой психоаналитические методы применяются к изучению различных проблем истории, непрестанно расширяется фронт такого изучения, ведутся шумные дискуссии о месте и значении «психоистории», свидетельствующие о возрастающем интересе к ней американских историков. Наряду с тем, что проблемы этой дисциплины рассматриваются на страницах ведущих американских исторических журналов, с 70-х гг. стали выходить специальные пе-

---

[75] Mazlish B. Reflections of the State of Psychohistory.— Psychohistory Review, 1977, vol. 5, № 4, p. 3.

[76] Подробнее о «кризисе идентичности» («кризисе в процессе самоопределения») см.: Гаджиев К. С., Сивачев Н. В. Указ. соч., с. 151.

[77] Langer W. The Next Assignment.—The American Historical Review. 1958, vol. 63, № 2, p. 283—304.

риодические издания «Джорнэл оф психохистори» и «Психохистори ревю». Ярким выражением этого бума является быстрое проникновение «психоистории» в американскую высшую школу. Примерно в 30 крупных колледжах и университетах читаются «психоисторические» курсы (по некоторым данным, в каталогах американских колледжей и университетов зафиксировано свыше 200 курсов по «психоистории»), многие из которых читаются историками, получившими предварительную подготовку в специальных психоаналитических институтах. В ряде университетов, в том числе таких известных, как Принстонский и Бостонский, осуществляется подготовка докторских диссертаций по истории по «психоисторической» проблематике. По всей стране работают «группы прикладного психоанализа», в которых заметная роль принадлежит историкам [78].

Таким образом, «психоистория» в США превращается в университетскую дисциплину, завоевавшую достаточно прочное положение в современной буржуазной историографии. Об этом свидетельствует ее уверенный выход на страницы общих историографических исследований, рассматривающих современное состояние американской исторической мысли. Если, например, еще в 1967 г. в изданной в Соединенных Штатах книге «Новая история», рассматривавшей новейшие тенденции в послевоенной буржуазной историографии, «психоистория» даже не упоминается, то в вышедшем спустя 12 лет исследовании, посвященном практически той же проблематике, психоаналитические интерпретации истории занимают одно из центральных мест. Рассматривая «современные подходы к ремеслу историка», автор выделяет большой раздел «Психосоциологическая история», который открывается главой «Фрейдистская трактовка личности» и помещается впереди раздела «Квантитативная история» [79].

[78] Mazlish B. Reflections on the State of Psychohistory, p. 3; Loewenberg P. Op. cit., p. 413—414.

[79] Beringer R. E. Historical Analysis: Contemporary Approaches to Clio's Craft. N. Y., 1979. 317 p. Характеристику современного состояния «психоисторических» исследований в США см.: Lawton H. W. Psychohistory Today and Tomorrow.—The Journal of Psychohistory, 1978, 5, N 3, p. 325—356; Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval, and Modern Chicago, London, 1983, p. 337—347.

Что же такое «психоистория» в ее современном обличье? Как «работают» в реальной историографической практике психоаналитические методы, насколько органично они сочетаются с традиционными методами исторического исследования? И, наконец, решающий вопрос — «влечет ли автоматически эта экспансия психоистории, говоря словами Б. Мэзлиша, вклад в экспансию собственно истории или она имеет тенденцию низвести историю в прокрустово ложе, наполненное дурными фантазиями?» [80].

Сами «психоисторики» возводят родословную своей дисциплины к Фрейду. Их работы изобилуют цитатами из трудов основоположника психоанализа, содержат его терминологию. Тот же Б. Мэзлиш даже утверждает, что «психоистория является осуществлением мечты Фрейда» [81].

Тем не менее было бы неоправданным упрощением рассматривать современную «психоисторию» как простое приложение разработанных Фрейдом принципов психоаналитического изучения личности к истории. Строго говоря, методологической основой «психоистории» является не фрейдизм в его классическом виде с особым упором на подавленные сексуальные влечения, детерминирующие поведение человека, а различные течения неофрейдизма, пытающиеся в той или иной форме сочетать основные постулаты классического психоанализа с учетом социальных факторов исторического развития.

В. М. Лейбин определяет современный неофрейдизм как направление, сосредоточившее «внимание на социальных и культурных процессах, обусловливающих мотивационное поведение личности, жизнедеятельность человека, внутриличностные конфликты индивида» [82]. В то же время ученый предостерегает против абсолютизации его отличия от классического фрейдизма. Как справедливо подчеркивает он, неофрейдисты отвергают главным образом лишь частные моменты учения Фрейда, оставляя в неприкосновенности основополагающие принципы, концептуальные схемы и теоретические постулаты классического психоанализа,

[80] Mazlish B. Reflections on the State of Psychohistory, p. 3.
[81] Ibid., p. 11.
[82] Лейбин В. М. Указ. соч., с. 182—183.

включая «психологию бессознательного» и сам психоаналитический метод исследования индивидуально-личностных и общественных структур [83].

Применительно к «психоистории» неофрейдистские установки предусматривают как изучение исторической личности в более или менее широком социальном контексте, так и обращение к психоаналитическому исследованию различных социальных общностей, что необходимо влечет за собою отказ от односторонне фрейдистского подхода к истории и использование наряду с психоанализом собственно исторического метода.

Эти установки находят свое отражение в самих определениях «психоистории», даваемых ее крупнейшими представителями. Так, Э. Эриксон определяет «психоисторию» как «изучение индивидуальной жизни комбинированными методами психоанализа и истории» [84]. Более того, сам психоаналитический метод получает в неофрейдистской «психоистории» определенное историческое истолкование. Э. Эриксон даже заявляет, что «психоаналитический метод является существенно историческим методом. Даже если он сфокусирован на медицинских данных, он интерпретирует их в свете прошлого опыта» [85]. В иной форме ту же мысль о «психоистории» как своеобразном синтезе или сплаве психоаналитического и исторического методов выражает другой крупный американский «психоисторик» Р. Бинион. «Осмысление истории через мотивы, а мотивов через историю — вот что такое «психоистория»,— с афористической четкостью заявляет он [86].

Эти формулировки указывают на доминирующее положение в современной американской «психоистории» взглядов, утверждающих необходимость тесного сочетания в исследовательской практике психоаналитического и исторического подходов и тем самым прокламирующих некий симбиоз истории и психиатрии, в котором последней, вернее ее методам, отводится роль

---

[83] Там же, с. 8.

[84] Erikson E. H. Dimensions of a New Identity. N. Y., 1974, p. 13.

[85] Erikson E. H. Childhood and Society. N. Y., 1963, p. 16.

[86] Binion R. Doing Psychohistory.—The Journal of Psychohistory, 1978, vol. 5, N 3, p. 314.

своеобразного допинга, стимулирующего сциентизацию исторической науки.

Еще в начале 30-х гг. один из крупнейших тогда мастеров психоаналитической биографии Эдуард Хичман сравнивал работу в этом жанре с деятельностью естествоиспытателя, который «из нескольких разрозненных костей может представить доисторическую птицу, рыбу или млекопитающее»[87]. Эти претензии на естественнонаучную точность психоаналитического исследования особенно возросли в настоящее время. Наряду с количественными методами и социологической теорией психоанализ рассматривается как эффективное средство повышения научного уровня исторических исследований.

Сошлемся в качестве примера на ход мыслей Р. Берингера. Отмечая, что стремление к точности и тщательности не составляет исключительно домен квантитативной истории, Р. Берингер подчеркивает, что оно является не менее характерным и для психоисториков. Он видит значение психоаналитической теории в достижении надежной, непротиворечивой и точной интерпретации событий, которые формируют личность. Наконец, в числе самых значительных вкладов психосоциальных интерпретаций, в частности психоанализа, указывается на стремление преодолеть путем обращения к подсознательным эмоциям, детерминирующим поведение человека, «один из величайших недостатков истории» — ее неспособность объяснять иррациональное. Тем самым, полагает Берингер, приводя соответствующие примеры, «психоисторики» могут претендовать на то, что едва ли может быть целью в других исторических дисциплинах — на предсказание[88].

В приведенном ходе рассуждений особый интерес представляет этот последний вывод. В обстановке, когда современные буржуазные ученые либо в своем подавляющем большинстве вообще категорически отвергают саму возможность научного предвидения в области истории, либо в лучшем случае резко ее сужают[89],

---

[87] Hitschmann E. Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Biographik.—Die psychoanalytische Bewegung. 1930, Bd. 11, S. 313.

[88] Beringer R. E. Op. sit., p. 80—81.

[89] См.: Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания. Томск, 1978, с. 200—203.

принципиальное признание такой возможности и тем более перевод ее в практическую исследовательскую плоскость особенно рельефно подчеркивают претензии психоанализа на научность своего метода и делают его притягательным для многих историков, стремящихся к повышению научного статуса своей дисциплины.

Характерная для всей американской историографии прагматически-презентистская ориентация получила свое выражение в широком распространении практики психоаналитического исследования здравствующих исторических личностей с попытками прогнозирования их будущих действий. Отсюда прикладной характер, который все более приобретает «психоистория» в США. Ее возможности охотно используются различными правительственными учреждениями, в том числе ЦРУ[90].

Вместе с тем распространение психоаналитических методов в изучении истории в послевоенных США — сложный и противоречивый процесс, включающий в себя не только бурный рост «психоисторических» исследований, но и сомнения значительной части профессиональных историков в эффективности использования психоаналитических методов в исторической науке, и прямую их критику, и даже решительное отрицание. Достаточно вспомнить уже упоминавшуюся книгу Ж. Барзуна с ее категорическим неприятием «психоистории» как мнимой исцелительницы буржуазной Клио[91].

Впрочем, даже буржуазные историки, ратующие за широкое использование исторической наукой принципов

---

[90] Lawton H. W. Op. cit., p. 339.

[91] Обращает на себя внимание настороженно-скептическое отношение к использованию психоанализа в истории, господствующее в современной западногерманской историографии и базирующееся в большой мере на критическом осмыслении «психоисторической» практики в США. Обосновывая такое отношение, В.-Р. Гартман справедливо указывает на научную несостоятельность психоаналитического подхода к исторической личности, который абстрагируется от социальных взаимосвязей и надиндивидуальных мотивов в ее деятельности и представляет в значительной степени иррациональную объяснительную модель (Hartman W.-R. Adolf Hitler. Möglichkeiten seiner Deutung.—Archiv für Sozialgeschichte, 1976, Bd. 15, S. 528—529). Подробнее об отношении к психоанализу в историографии ФРГ см.: Ким С. Г. Обсуждение в западногерманской историографии 70-х гг. проблемы историко-биографического жанра.— В кн.: Вопросы всеобщей истории и историографии. Томск, 1984, с. 146—162.

психоанализа, выступают, говоря словами американского исследователя общественной мысли Ф. Е. Мэнюела, против гипертрофированного увлечения им[92]. Многочисленные сомнения в отношении «психоистории» высказывают и другие авторы, в целом относящиеся к ней сочувственно. А признанные авторитеты в области применения психоанализа к исследованию социальной жизни Ф. Вейнстейн и Дж. М. Плэтт вынуждены даже говорить об «идущем кризисе в психоистории», усматривая один из его главных симптомов в том, что «историки... остаются скептически настроенными в отношении психоисторического предприятия»[93].

Несомненно, оснований для такого скепсиса имеется более чем достаточно. Но чтобы до конца это понять, необходимо в самых общих чертах рассмотреть теоретические принципы, на которых покоится современная «психоистория». Такое рассмотрение представляется уместным предварить одним замечанием. Дело в том, что при всей своей новизне «психоистория» продолжает давнюю и прочную традицию буржуазного историописания, заключающуюся в его психологизации. При всех разногласиях по широкому кругу теоретико-методологических проблем своей науки буржуазные историки достигли высокой степени единства именно по вопросу о соотношении истории и психологии. Еще в конце прошлого столетия К. Лампрехт, отмечая борьбу различных направлений в буржуазной историографии, вместе с тем констатировал их единство в признании того решающего, по его словам, факта, что психология является основой всей исторической науки[94]. «Современная историческая наука,— писал он в другой работе,— есть в первую очередь социально-психологическая наука»[95].

Эта психологизация имела естественное основание

---

[92] Мэнюел Ф. Е. О пользе и вреде психологии для истории.— В кн.: Философия и методология истории. М., 1977, с. 262.

[93] Weinstein F., Platt G. M. The Coming Crisis in Psychohistory.—The Journal of Modern History, 1975, vol. 47, N 2, p. 203. Более того, отмечается прямая враждебность историков, как, впрочем, и психологов, к «психоистории» (см.: Lawton H. W. Op. cit., p. 338).

[94] Lamprecht K. Was ist Kulturgeschichte?—Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1896, Vierteljah mresheft 2, S. 77.

[95] Lamprecht K. Moderne Geschichtswissenschaft. Berlin, 1909, S. 1.

в идеалистическом понимании истории и в особенности подкреплялась доминирующим представлением о том, что предметом истории «в точном и последнем смысле» является, по словам М. Блока, «сознание людей»[96]. Отсюда делался закономерный вывод, что исторические факты являются по преимуществу фактами психологическими. Такой взгляд на историю неизбежно акцентировал внимание исследователей на субъективной мотивации общественного процесса, нередко вырождаясь в мелочное копание вокруг мотивов действий тех или иных исторических личностей.

Еще Гегель высмеивал подобный подход, характеризуя его как «так называемое психологическое рассмотрение, которое всего лучше служа зависти, старается выяснять внутренние мотивы всех поступков и придать им субъективный характер, так что выходит, как будто лица, совершавшие их, делали все под влиянием мелкой или сильной страсти, под влиянием какого-нибудь сильного желания и что, будучи подвержены этим страстям и желаниям, они не были моральными людьми»[97].

Едва ли будет большой натяжкой распространить эту саркастическую оценку психологического подхода и на психоаналитические интерпретации истории, во всяком случае, на те из них, которые ориентированы на трактовку исторических личностей, ибо «психоистория» является законной продолжательницей традиций буржуазного психологизма. Что же касается того нового, что принесла с собою эта дисциплина в историческое познание, то ее претензии проникнуть в сферу бессознательного и в теоретическом плане, и особенно в исследовательской практике ставят перед историками новые вопросы, на которые она далеко не всегда может дать удовлетворительные ответы.

Речь, конечно, идет не о самом факте обращения к иррациональному в поведении человека, а о процедуре его научного изучения. Обращение к сфере бессознательного в истории явилось закономерным результатом как развития науки, так и процессов, протекавших в самом буржуазном обществе и характеризовавшихся

---

[96] Блок М. Указ. соч., с. 83.

[97] Гегель. Соч. М.; Л., 1935, т. 8, с. 30—31.

необычным всплеском иррационального. Не случайно первым по времени объектом систематического приложения методов психоанализа к изучению социальных явлений стала история фашизма, где этот иррациональный момент выступил особенно явственно.

Сама по себе попытка рационализировать иррациональное, найти в сфере бессознательного объяснение мотивов тех или иных поступков, раскрыть сам механизм трансформации побуждений бессознательного в действие исторических личностей и масс, безусловно, имеет право на существование. В случае удачи она способна расширить наши представления о реальном движении истории, сделать более адекватным знание о субъективной стороне исторического процесса. Вопрос заключается в другом — насколько такая попытка является эффективной в том конкретном облике, какой она приобрела в буржуазной, в частности американской, «психоистории».

Здесь как раз и возникают серьезные сомнения в ее эффективности, относящиеся прежде всего к теоретическому обоснованию психоаналитического истолкования истории. Начнем с центрального постулата «психоистории», на котором базируется это истолкование. В соответствии с фрейдистскими канонами ключ к объяснению поведения исторической личности разыскивается в ее раннем детстве, в полученных в этом возрасте разного рода психических травмах. Однако, как правило, достоверные источники, пригодные для мотивированной психоаналитической трактовки этого периода жизни исторической личности, являются крайне скудными или отсутствуют вовсе.

Отсюда место подлинно научного анализа занимают всевозможные спекуляции, основывающиеся не столько на реальных событиях детства исторической личности, сколько на зачастую вкривь и вкось толкуемом ее поведении в зрелые годы. Так возникает порочный круг. Гипотеза о раннем детстве исторической личности, претендующая на то, чтобы пролить свет на ее деятельность в зрелые годы, фактически выводится из этой деятельности, а затем обращается для ее же объяснения. Но это означает несостоятельность претензий «психоисториков» обосновать научный метод изучения исторических личностей и тем более связанных с их деятельностью

массовых движений. Напротив, как будет показано в следующих главах, основывающиеся на психоанализе псевдонаучные спекуляции открывают простор субъективистскому произволу в интерпретации не только отдельных личностей, но и крупнейших исторических событий и процессов, к тому же интерпретации, зачастую имеющей откровенно реакционную идейно-политическую направленность.

Характерно, что даже автор, сочувственно относящийся к «психоистории» и бесспорно признающий ее право на существование, Г. Изенберг вынужден в то же время отметить правомерность серьезных возражений историков против широкого использования психоаналитических методов в историческом исследовании, начиная их перечень с указания на научную несостоятельность только что рассмотренного центрального постулата психоанализа[98]. Этот кардинальный недостаток «психоистории» отмечает и Р. Берингер. Полагая, что «исторические личности и события редко оставляют достаточно свидетельств, удобных для психосоциального исследования», вследствие чего применение психоаналитического метода делается «затруднительным», Берингер из всех многочисленных попыток приложения психоанализа к истории признает удачными только две работы Эриксона «Истина Ганди» и «Молодой Лютер». Все другие примеры он считает сомнительными и даже психоаналитически неграмотными[99].

Впрочем, Берингер в своей критике работы «психоисториков» с источниками идет еще дальше. Он замечает, что «психоистория» вообще открыта для нападок за использование своих данных. Американский ученый справедливо указывает, что в процессе «психоисторического» исследования имеет место своеобразная подмена понятий, когда сначала делается предположение, как должен был поступать тот или иной исторический деятель, а затем это предположение выдается за нечто очевидное, не нуждающееся в доказательствах[100].

Чтобы покончить с этим вопросом, отметим также, что не может не вызывать оправданного сомнения сама

---

[98] Izenberg G. Psychohistory and Intellectual History.—History and Theory, 1975, vol. 14, № 2, p. 139—140.

[99] Beringer R. E. Op. cit., p. 72—73.

[100] Ibid., p. 76.

ориентированность на выявление психических травм у исторической личности как первоосновы «психоисторического» исследования, не говоря уже о его источниковой базе. Как справедливо подчеркивает Г. Изенберг, «выведение исторических событий из универсального индивидуального ядра семейных событий делает невозможным учитывать исторические изменения и развитие, как и коллективные феномены»[101]. Возникает непримиримое противоречие между изначально присущими данной личности «комплексами», оказывающими доминирующее влияние на всю ее деятельность, и конкретными историческими обстоятельствами, в которых эта деятельность осуществляется. Переливающаяся многообразием красок, вечно изменчивая конкретная историческая действительность оказывается жестко детерминированной неизменными «комплексами», восходящими к раннему детству исторической личности.

Очевидно, что такой антиисторический подход не только не несет с собою ничего действительно нового в осмыслении истории, но и является шагом назад по сравнению с уровнем, достигнутым в буржуазной науке. Не удивительно поэтому, что сами «психоисторики» вынуждены отходить от фрейдистских канонов, пытаясь, как уже было отмечено, дополнять психоаналитический инструментарий «психоисторического» исследования собственно историческим. Но такое дополнение не ведет к созданию подлинно научной теории исторического психоанализа, вследствие чего проблема соотношения неизменных психических доминант и меняющейся исторической действительности не получает на теоретическом уровне удовлетворительного решения.

Это относится даже к теории жизненного цикла, предполагающей неоднократные кризисные состояния личности («кризис идентичности») на всем протяжении ее жизни, автор которой Э. Эриксон дальше многих других «психоисториков» продвинулся по пути признания социальной детерминации поведения индивидуума. Выделяя восемь стадий, которые проходит в своей жизни человек, и отмечая его тесное взаимодействие с социальной средой, американский «психоисторик» вместе с тем не отказывается и от классических постулатов фрейдизма, в том числе и об определяющем

[101] Izenberg G. Op. cit., p. 139.

значении в поведении личности ее детского опыта.

Показательными в этом отношении являются его «Размышления о жизненном цикле доктора Борга» — героя известного фильма И. Бергмана «Земляничная поляна». Расценивая сценарий Бергмана как «превосходное разъяснение» теории жизненного цикла, Эриксон посвящает его подробному рассмотрению специальную статью, носящую программный характер. В статье, как и в сценарии, центральное место занимает психоаналитическая трактовка старости как особой фазы жизненного цикла, характеризуемой так называемым «старческим кризисом». Этот последний рассматривается в достаточно широком социальном контексте. Эриксон даже видит «заслугу «Земляничной поляны», как всякой другой великой драмы, в том, что она включает в себя также социальную критику». И все же он остается верен исходным посылкам фрейдизма. Это выражается и в его прямой ссылке на положение Фрейда о том, что конфликты в сфере бессознательного являются центральными в развитии человека, особенно в убеждении, что доминанты, определяющие старость, как и другие фазы жизненного цикла человека, следует искать в его детстве. Именно так в статье истолковывается символическое паломничество старого шведского доктора в его детство и погружение в его неизвестное Я [102].

Развивая эти мысли Эриксона, один из интепретаторов его теории жизненного цикла подчеркивает: «Таким образом, детство не заканчивается, а зрелость не начинается с юности. Скорее зрелость антиципируется в ребенке, а ребенок продолжает существовать в зрелом человеке. Это — нить, которая придает непрерывность эриксоновской эволюционной схеме» [103]. Но это означает, что теория жизненного цикла не стала теорией социального развития, а следовательно, и не смогла устранить изначальный порок психоаналитического подхода к истории.

С другой стороны, происходит расширение сферы

---

[102] Erikson E. H. Reflections on Dr. Borg's Life Cycle.—In: Adulthood, p. 1—29.

[103] Katchadourian H. A. Medical Perspectives on Adulthood.—Ibid., p. 51.

«психоисторического» исследования. Наряду с классическим жанром «психоистории» — исторической биографией («история жизни») все более широкое распространение получают исследования различных социальных подразделений («история семьи» и «история групп») [104]. Тем самым до известной степени преодолевается один из наиболее крупных недостатков «психоистории», фактически подменяющей изучение истории изучением биографий исторических личностей. При таком подходе исторический процесс растворяется в сумме жизнеописаний, отнюдь не дающих систематического представления об истории, которая к тому же трактуется в сугубо субъективно-идеалистическом духе — как продукт творческой деятельности исторических личностей.

Психоаналитические исследования социальных групп несут с собою более широкое понимание предмета «психоистории», освобождая ее от наиболее одиозных представлений классического фрейдизма. Их несомненный шаг вперед заключается в обращении к социальной действительности как фактору, опосредующему индивидуальные и групповые психические травмы, а в ряде случаев и являющемуся источником этих последних.

Такой подход, в частности, в настоящее время возобладал в психоаналитиической трактовке немецкого фашизма. Оставляя ее детальный анализ до специальной главы, отметим сейчас только, что она в определенной мере выводит «психоисторическое» решение вопроса за пределы изучения «комплексов» фашистских главарей. Акцентируя внимание на немецкой действительности 20-х гг., рассматриваемый подход даже в рамках «психоисторического» исследования поднимает существенные проблемы социальной истории Германии, важные для понимания как генезиса национал-социализма, так и отдельных черт его идеологии и практики.

Сошлемся в качестве примера на исследование профессором Калифорнийского университета П. Левенбергом нацистского молодежного движения. Психоаналитическое по своим исходным посылкам, оно вместе с тем имеет очевидный социально-исторический аспект,

[104] Mazlish B. Reflections on the State of Psychohistory, p. 4—10.

вследствие чего автору удалось поставить действительно важные вопросы, проясняющие некоторые факторы, облегчившие победу фашизма в Германии (экономические лишения 20-х гг., обострявшие агрессивные чувства немецкой молодежи, ее воспитание в человеконенавистническом духе и т. п.) [105].

«Психоисторические» исследования подобного рода, конечно, не ограничиваются историей фашизма. О их широком распространении в современной американской историографии свидетельствует тот факт, что Р. Берингер, характеризуя «психоисторию», пишет о «психосоциологической истории» [106]. Уже сама терминология говорит о том, что психосоциальные исследования в настоящее время во многом определяют облик американской «психоистории», указывают на определенные тенденции ее развития.

Эта своеобразная социологизация «психоистории» является еще одним показателем несостоятельности претензий ортодоксального фрейдизма на «чистое» психоаналитическое объяснение истории. И в теоретических установках американских «психоисториков», и в их исследовательской практике все явственнее выступает признание необходимости учета социального опыта исторической личности, способного в той или иной мере корректировать ее индивидуальный и семейный психический опыт, а также обращения к изучению социальных феноменов. Без учета «социологической» тенденции в развитии современной американской «психоистории» будет трудно понять присущее значительной ее части стремление к сближению с социальными науками, равно как и ее ориентацию на изучение социального контекста индивидуальных и групповых психических переживаний.

В то же время не следует и переоценивать эту тенденцию. Означая скорее модернизацию основополагающих принципов психоанализа, чем разрыв с ними, она фактически направлена на подновление методологического базиса «психоистории» с целью приспособления его к реальностям современного историографического опыта. Поэтому социологизация «психоистории» не ве-

[105] Loewenberg P. The Psychohistorical Origins of the Nazi Youth Cohort.—The American Historical Review, 1971, vol. 6, p. 1457—1502.
[106] Beringer R. E. Op. cit., p. 69.

дет к радикальному переосмыслению ни ее предмета, ни исходных посылок его изучения.

Отмеченная тенденция получила свое наиболее полное выражение в трудах Ф. Вейнстейна и Дж. М. Плэтта — авторов, особенно последовательно и настойчиво выступающих за соединение психоаналитических и социологических методов исследования. В атмосфере охватившего значительную часть американской историографии «психоисторического» бума они едва ли не первыми в стане сторонников новой дисциплины проницательно заговорили о ее кризисе. Усматривая его причину в односторонней ориентированности «психоистории» на психоаналитические методы, американские авторы ищут выход в расширении ее предмета и методологического инструментария. Наряду с психическим бессознательным объектом «психоисторического» исследования провозглашается сама историческая действительность. Соответственно этому Вейнстейн и Плэтт ратуют за широкое использование «психоисториками» методов социальных наук. В итоге должно возникнуть новое, социологическое направление в «психоистории», способное, по их убеждению, преодолеть кризис этой дисциплины [107].

Эта мысль получила систематическое обоснование в вышедшей двумя годами раньше книге этих же авторов «Психоаналитическая социология», ставшей своеобразным манифестом психосоциологического направления в американской «психоистории». В книге решительно отвергается односторонняя психоаналитическая интерпретация социальных явлений и институтов. В полемике с ортодоксальным фрейдизмом утверждается, что не семья с ее психическими комплексами является ключом к пониманию социальных институтов, а, напротив, социальные силы производят психические изменения в индивидуумах и социальных группах на любой стадии жизненного цикла. Тем самым провозглашается не только законность, но и прямая необходимость социологического анализа в «психоисторическом» исследовании и, что не менее важно, включения в такое исследование исторического измерения [108].

[107] Weinstein F., Platt G. M. Op. cit., p. 228.

[108] Weinstein F., Platt G. M. Psychoanalitic Sociology. An Essay on the Interpretation of Historical Data and the Phenomenon of Collective Behavior. Baltimore, 1973, p. 14, 32, 48.

Было бы, однако, явно преждевременно полагать, будто социологическое направление действительно способно кардинально преобразовать теоретико-методологический базис «психоистории». Даже Вейнстейн и Плэтт, дальше других зашедшие в своей критике классического психоанализа, отнюдь не порывают с ним. Все их усилия направлены не столько на преодоление категориального аппарата фрейдизма, сколько на его своеобразную «социологизацию». В этом смысле показательно, что они широко пользуются фрейдистской терминологией, объясняя с ее помощью сам характер взаимоотношения индивидуума и общества [109].

Но дело не только в этом. Как бы Вейнстейн и Плэтт ни выдвигали значение социальных факторов в «психоисторическом» исследовании, груз фрейдистских канонов продолжает довлеть над ними. По существу, именно эти каноны предопределяют подход американских авторов к предмету «психоистории», а вместе с этим и их претензии на научность развиваемой ими психосоциологической теории общества. Но о каком научном подходе к изучению социальных явлений может идти речь, если постулируется вневременной, внеисторический конфликт между личностью и обществом как продукт всеподавляющих требований внесоциальных инстинктивных импульсов и утверждается, что этот фрейдистский принцип представляет собою «эмпирически здоровый психологический базис для объяснения поведения масс, который всегда отсутствует у социологических ориентаций, основывающихся на интересе, рациональности и сознании» [110]?

Однако даже такая робкая и половинчатая попытка социологизации «психоистории» вызывает отпор в «психоисторической» литературе. Такой авторитет в этом жанре, как Б. Мэзлиш, полагает, что «психоаналитическая социология» игнорирует решающую роль в общественном процессе исторической личности, лидера, по его терминологии. Это положение иллюстрируется на примере истории Германии 30-х гг. нашего столетия. Из хода рассуждений Мэзлиша следует, что победа

---

[109] Ibid., p. 92.

[110] Weinstein F., Platt G. M. The Coming Crisis in Psychohistory, p. 228.

фашизма в этой стране не была социально детерминирована. Все дело оказывается в «случайном» появлении Гитлера, ибо «случайно», по убеждению американского «психоисторика», мог появиться и равноценный ему лидер иной политической ориентации. «Но раз лидер, в этом случае экстраординарный истерик, появляется, он концентрирует вокруг себя потерпевшие крушение идентификации, утраты целей множеством людей и представляет им новую идеологию и новую идентичность». Соответственно этому Мэзлиш, полемизируя с Вейнстейном и Плэттом, настаивает на необходимости первоочередного психоаналитического изучения истории жизни «лидера», так как оно позволяет понять «влечения и нужды, ценности и идеалы Эго», которые лидер «внушает тем, чьи прежние надежды и идентификации разбились почти травматическими социально-структурными переменами» [111].

Современные модификации «психоистории» оставляют в неприкосновенности фундаментальное положение фрейдизма о бессознательном как важнейшей сфере научного изучения. Применительно к истории обращение к бессознательному отдельных личностей, социальных групп и масс продолжает оставаться необходимым условием ее понимания, поскольку, по словам П. Левенберга, во всех человеческих мыслях и действиях есть неосознанный императив. Выражаясь в «силах страсти и иррациональности вокруг нас и в нас», он выступает одним из важнейших факторов исторического развития. В свете этого Левенберг определяет предмет исторической науки, который практически совпадает с предметом психоанализа. Подчеркивая, что «психоанализ есть ветвь психологии, наиболее близкая историкам», он утверждает, что обе дисциплины имеют дело с одним и тем же: историки изучают прошлые человеческие действия, мысли и мотивы; это то, что психоаналитики изучают у своих пациентов. Единство предмета обусловливает и единство метода. «Эпистемологическая проблема,— продолжает Левенберг,— идентична для историка и психоаналитика. Оба они должны реконструировать или воссоздать в своем уме жизнь своих субъектов. Это означает, что оба они

[111] Mazlish B. Reflections on the State of Psychohistory, p. 9.

зависят от того, что историк Дильтей определял как метод вчувствования для понимания и что психоанализ называет идентификацией... Этот взгляд признает, что интуитивная идентификация мыслей и чувств другого человеческого существа есть творческий акт, имеющий познавательную ценность» [112].

Напомним, что Левенберг является одним из ведущих представителей неофрейдистского течения в современной американской «психоистории», признающего влияние социальных факторов на индивидуума. Он автор широкоизвестных на Западе работ по истории немецкого фашизма, в которых уделяется внимание социальной природе фашизма, в особенности социальным предпосылкам его победы в 30-е гг. [113]. Тем поучительнее, что это обращение к социально-исторической действительности оказывается не более чем поверхностным налетом на канве традиционных психоаналитических рассуждений.

Включение в «психоисторическое» исследование социального фактора само по себе отнюдь не означает его радикальной модернизации. Напротив, при сохранении основополагающих принципов психоанализа оно может привести к еще более одиозным результатам. Использование психоаналитической методики, разработанной применительно к психической жизни индивидуума, для характеристики тех или иных социальных общностей, способно лишь извратить понимание этих последних уже хотя бы потому, что они развиваются по иным законам, чем индивидуумы.

Что получается, когда психоаналитические категории некритически применяются к социальному анализу, показывают рассуждения того же Левенберга, обвиняющего в психическом расстройстве целую нацию. По его словам, германская культура институализировала параноидные позиции и их удовлетворение, что обеспечило ведущее положение параноидного типа в нации совершенно независимо от социальных классов, из которых она состояла, и исторических эпох [114]. Оче-

---

[112] Loewenberg P. Psychohistorical Perspectives on Modern German History.—The Journal of Modern History 1975, vol. 47, № 1, p. 229–232.

[113] Анализ этих работ см. в III главе нашей книги.

[114] Loewenberg P. Psychohistorical Perspectives..., p. 258–260

видно, что такая постановка вопроса не только затушевывает классовую природу фашизма, но и переводит сам вопрос в иную плоскость, имеющую мало общего с действительной историей.

Впрочем, в рассуждениях Левенберга имеется своя логика. Применение клинических терминов к объяснению истории является закономерным следствием исходных методологических посылок «психоистории», подчеркнуто сближающих предмет изучения истории и психоанализа. Выше уже приводилось мнение на этот счет Левенберга, которое можно считать показательным для всей американской «психоистории». При всех разногласиях, разделяющих современных «психоисториков», такое сближение остается одним из краеугольных камней этой дисциплины и фактически находится вне критики. Эриксон даже констатирует близость историка и клинициста, подчеркивая их активные усилия найти общую почву, которая и определяется ученым как психоисторический подход [115].

Сближение истории и психоанализа составляет исходный пункт так называемой «парадигмы психоистории», сформулированной в модной графической манере Л. де Мозе. У основания этой парадигмы располагается характерное для психоанализа выяснение взаимоотношений между ребенком и взрослым, чему соответствуют такие жанры, как «история детства» и «психобиография», составляющие вместе с «психоисторией группы» основной уровень, на котором работают «психоисторики». В парадигму включена и так называемая «физическая реальность». Однако де Мозе в связи с этим специально предупреждает, что «психоисторики, сосредоточивая внимание на психической действительности, должны в большей мере оставить детерминацию физической реальности традиционным историкам», так как все уровни «психоистории» совершенно обособлены от собственно истории [116].

Дальнейшее развитие тенденция перенесения категорий психоанализа на изучение общества нашла в появ-

---

[115] Erikson E. H. On the Nature of „Psycho-Historical" Evidence.—In: Life History and the Historical Moment /Ed. by W. W. Norton and Company. N. Y., 1975, p. 113—114.

[116] Mause L. de. Psychohistory: The New Science.—The Journal of Psychohistory, 1975, vol. 3, № 1, p. 125.

лении в новейшем американском научном лексиконе термина «психополитика». Обосновывая его право на существование, сотрудник Американского института психоанализа Т. Рубин подчеркивает, что сама политика кажется психобольной, ибо, несмотря на анализ и предсказания экономистов, политиков и социологов, остается в сущности хаотичной, непредсказуемой, алогичной и запутанной. С другой стороны, утверждает он, хотя политические формы развиваются под влиянием социальных и экономических факторов, свои первичные стимулы они получают «из интра- и интерпсихических детерминант»[117].

Признаем, что у американского автора имелись известные основания для такого понимания политики. Действительно, буржуазная политика в тех же США несет на себе печать алогизма, иррациональности, непредсказуемости, даже психопатологии. Но не менее очевидно также, что причины этого следует искать не в «психических детерминантах», а в обстоятельствах иного рода, коренящихся в социально-экономической действительности и обусловливающих не только ту или иную расстановку социальных сил на политической арене, но и характер и направленность совершаемых ими политических акций. Намеренный акцент на психопатологии способен, конечно, прояснить определенные внешние черты в деятельности реакционных политических сил, но он не только не может раскрыть действительную природу этой деятельности, но и затемняет ее, подменяя социальное психическим.

Такой подмены не могут избежать и те из «психоисториков», кто дальше других своих коллег продвинулся по пути сближения психоанализа с социально-историческими методами исследования. Даже немало сделавший для освобождения «психоистории» от жесткой детерминированности фрейдистскими канонами Э. Эриксон не сомневается в клинической природе «психоисторического» исследования. Эриксон настаивает на том, что историк и клиницист занимаются в сущности одним и тем же делом. Подобно клиницисту, утверждает он, историк «должен заниматься удивительным процес-

[117] Psychiatry and Politics: A Panel.—The American Journal of Psychoanalysis. 1974, vol. 34, № 4, p. 301—302.

сом, в котором избранные части прошлого накладываются на наше сознание и претендуют на продолжающуюся активность в наших современных обязательствах». Развивая эту мысль, ученый подчеркивает наметившееся в последнее время обоюдное сближение позиций историка и клинициста. С одной стороны, клиницист неумолимо вовлекается в надперсональную историю, с другой — «некоторые историки явно стали подозревать, что они являются также практикующими врачами от искусства реставрации, которое трансформирует фрагменты прошлого и характерные особенности тех, кто делает историю, в смысловую целостность, какую ищет человечество» [118].

Конечно, уподобление историка практикующему врачу не следует понимать слишком буквально. Творчество самого Эриксона свидетельствует, что он смотрит на задачи «психоистории» неизмеримо шире; предмет этой дисциплины, в его трактовке, необходимо включает в себя социально-исторический аспект. Ученый исходит из представления о взаимовлиянии личности и общества в процессе социальной эволюции. Он говорит о «метаболизме поколений», считая, что социальный процесс формирует отдельную личность и все поколение с тем, чтобы самому быть переформированным ими [119]. Причем это представление не просто декларируется американским ученым, но и более или менее последовательно проводится в его исследовательской практике. Он стремится показать социальную обусловленность деятельности Лютера или Ганди, самое развитие их личности под влиянием социальной действительности, равно как и обратное влияние — личности на окружающий ее мир.

Следует, однако, признать, что такое стремление далеко не всегда получает в произведениях Эриксона удачное воплощение. Происходит это в решающей степени вследствие ложности исходных посылок, сближающих предмет занятий историка и клинициста. И дело здесь, разумеется, не просто в терминологии, а в самой исследовательской установке. Эриксон пишет о «всепроникающих неврозах великих людей» [120]. Именно они

---

[118] Erikson E. H. On the Nature..., p. 113—114.

[119] Erikson E. H. Young Man Luther. N. Y., 1958, p. 253—254.

[120] Erikson E. H. On the Nature..., p. 123.

и становятся преимущественным предметом его изучения.

В центре внимания американского ученого взаимоотношения между внутренним миром личности и окружающей социальной действительностью. Но хотя и признается влияние последней на формирование личности (еще в своих ранних «психоисторических» работах Эриксон подчеркивал, что социальные ценности, характерные для данного общества в данную историческую эпоху, формируют важнейшие пласты Эго [121]), исходным моментом анализа все же остается личность с ее неврозами и психическими травмами. «Кризис идентичности» такой личности провозглашается важнейшим двигателем истории. В соответствии с этим все усилия ученого в его «психоисторических» исследованиях направлены на то, чтобы «установить, как великая личность в процессе поисков самой себя и формирования своего характера может создать характер целого исторического периода» [122]. В основе же «кризиса идентичности» исторической личности лежат, по убеждению Эриксона, факторы индивидуально-психического порядка, трактуемые в категориях фрейдистского психоанализа («эдипов комплекс», «перенос» и т. п.).

Таким образом, введение в «психоисторическое» исследование социально-исторического измерения, до известной степени расширяя его горизонты, не колеблет сколько-нибудь существенно фундаментальные представления фрейдизма о психических детерминантах поведения исторической личности, к тому же рассматриваемых с помощью клинических терминов.

Обратимся в этой связи к трактовке Эриксоном формирования личности молодого Лютера, в которой присутствует четко выраженный социально-исторический аспект. Авторское внимание привлекает такая важная проблема, как миграция немецкого средневекового крестьянства и ее социально-психологические последствия — поиск мигрантами новых стандартов поведения, соответствующих новой социальной среде, в которой они оказались. В этом социально-историческом контексте

---

[121] Erikson E. H. Ego Development and Historical Change.— In: Psychoanalytic Study of the Child. N. Y., 1946, vol. 2, p. 359—396; Idem. Childhood and Society. N. Y., 1950. 431 p.

[122] Гаджиев К. С., Сивачев Н. В. Указ. соч., с. 150—151.

рассматривается переезд семьи Лютера из сельской местности на рудник, превращение отца будущего реформатора из малоземельного крестьянина в рудокопа, а затем бюргера, его страх перед разорением наряду с амбициозными стремлениями. Эти наблюдения, безусловно, имеют определенную научную ценность, детализируя наше понимание как социально-психологической атмосферы в Германии накануне Реформации, так и жизненного пути ее будущего вождя.

Однако, во-первых, бросается в глаза узость того социального контекста, который присутствует в «Молодом Лютере». Он ограничен сферой социального происхождения Лютера и мало что проясняет в понимании причин такого широкого социально-религиозного движения, каким являлась Реформация. Могут, правда, возразить, что Эриксон перед собою такой задачи и не ставил, сосредоточиваясь на освещении небольшого отрезка жизненного пути будущего реформатора (1507—1512 гг.), в течение которого он пережил самый глубокий кризис в своей жизни, приведший его к протестантизму. Но дело заключается как раз в том, что идеология протестантизма отразила всю глубину и многообразие социальных противоречий в Германии начала XVI в., которые никак не могут быть сведены к личности одного человека, даже рассматриваемой в определенном социальном контексте.

С другой стороны, выступление Лютера смогло сыграть, используя известное выражение Ф. Энгельса, роль молнии, упавшей в бочку пороха [123], именно потому, что оно в своеобразной форме выразило интересы различных социальных слоев, по разным причинам недовольных папским засильем в Германии. Но это означает, что всякая научная биография Лютера должна предполагать серьезное исследование социальной структуры позднесредневековой Германии, особенно, тех опосредствующих звеньев, которые связывают с ней возникновение протестантизма.

Во-вторых, даже тот ограниченный социально-исторический аспект, в котором рассматривается биография Лютера в книге Эриксона, является не более чем фоном, предваряющим психоаналитическое исследование

[123] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.; т. 7, с. 392.

мотивов, побудивших молодого Лютера к разрыву католической ортодоксией. Прослеживая истоки «кри зиса идентичности» будущего реформатора, ученый полном соответствии с фрейдистскими канонами возво дит их к конфликту с отцом, желавшим, чтобы сы достиг того, что оказалось недоступным ему самому — стал бы профессором-юристом. Сомнения в искреннос ти и справедливости отца привели к уходу сына в мо настырь[124].

Амбивалентность чувств сына к отцу, попытки пре одолеть внутреннюю зависимость от него, одержимост вопросом, как согласовать подчинение воле земног отца и отца небесного выливаются в расширение этог кризиса вовне. Лютер провозглашает новый тип отно шений с «небесным прототипом» отца без посредниче ства церкви, через веру. Так, по мнению Эриксона, о приходит к созданию своей идеологии, ставшей идео логией целого исторического периода.

Другими словами, новомодное «психоисторическое исследование приходит практически к тому же выво ду, который уже давно прокламировался немецки идеалистическим историзмом. «Реформация, — чеканн формулирует этот вывод Г. Геймпель,— имела тольк одну причину: религиозную потребность монаха Мар тина Лютера»[125]. По существу, исследование Эриксон является психоаналитическим обоснованием этог вывода. Так на субъективно-идеалистической основ происходит своеобразная встреча вчерашнего и сегодняш него дня буржуазной науки. Два, казалось бы, проти воположных по своим теоретико-методологическим уста новкам течения буржуазной исторической мысли нео жиданно сближаются друг с другом в подходе коренному вопросу исторического познания—о предмет истории и ее движущих силах. Но неожиданность эт только кажущаяся. Исторический психоанализ со всем его модификациями лежит целиком в рамках традиц онного для буржуазной науки идеалистического пони мания истории. Как и все другие течения буржуазно исторической мысли, он исходит из признания реша щей роли в общественном процессе идеальных мотиво

[124] Erikson E. H. Young Man Luther, p. 59—94.
[125] Helmpel H. Der Mensch in seiner Gegenwart. Göttinge 1957, S. 139.

Его же «новизна» заключается лишь в том, что эти мотивы получили фрейдистское истолкование.

Здесь особенно зримо выступает творческое бесплодие интенсивных методологических исканий современной буржуазной исторической мысли. Вынужденная в поисках выхода из кризиса отказываться от наиболее одиозных представлений, господствовавших в ее прошлом (вроде «учения о понимании» и взгляда на историю как арену произвольного творчества великих людей), пытающаяся в эпоху научно-технической революции поднять статус истории как науки, обладающей объективно проверяемыми исследовательскими методами, она в конечном итоге все время возвращается на «круги своя».

Обновление методологического инструментария буржуазной историографии не затрагивает ее коренных теоретических принципов, прежде всего идеалистического понимания истории. Вследствие этого методологические находки американских историков, как, впрочем, и их зарубежных коллег, представляют собой, за редким исключением, не более чем легкую штукатурку обветшалого здания. Вот почему претензии на модернизацию буржуазной исторической науки закономерно оборачиваются возвращением к ее исходным философско-теоретическим посылкам. Только радикальное переосмысление самой природы исторического процесса и, соответственно, предмета и задач исторического исследования может вести к действительному обновлению исторической науки. Но как раз этот путь наглухо закрыт для всех новейших течений буржуазной исторической мысли, в том числе и «психоистории».

Опыт применения психоанализа к истории представляется в этом смысле особенно поучительным. Обращаясь к психоаналитическому изучению исторической личности, буржуазные исследователи лишь усугубляют коренные пороки идеалистического историзма, не сумевшего решить вопрос о механизме движения истории. Выдвигая на передний план личностно-психологические факторы, «психоисторики» не только не продвинулись в решении этой задачи, но и сделали несомненный шаг назад даже по сравнению с традиционной политической историографией. Эта последняя в своих лучших образцах по крайней мере пыталась выяснить и рациональ-

но обосновать мотивы тех или иных поступков исторической личности в связи с реальными условиями времени, раскрыть историческое значение ее деятельности.

Даже признавая правомерность (в достаточно узких границах) такого исследования, подчеркнем его порочность как главного пути изучения исторических личностей, а с ними вместе и самой истории. Направляя главные усилия на освещение этой потаенной стороны жизни исторической личности, «психоисторики» оставляют без должного внимания рационально осознаваемые мотивы ее деятельности, в особенности обусловленные влиянием на нее исторической действительности. «Психоисторики» же, обращаясь к сфере бессознательного, пытаясь обнаружить скрытые мотивы поведения исторической личности в ее проявленных влечениях и психических травмах, ведут исследование в нижнем этаже мотивационной структуры.

Сосредоточиваясь на анализе бессознательного, «психоисторики» замыкаются в узком мирке невротических явлений. Но каким бы изощренным ни являлся такой анализ, он по самой сути своей не может заменить изучение действительной истории, ибо место исторического действия занимают рассуждения о подсознательных мотивах, якобы обусловливающих поведение той или иной личности, причастной к данному действию.

Таким образом, главная линия водораздела между «психоисторией» и собственно историей лежит в понимании обеими дисциплинами предмета своего исследования. Любое историческое изображение от Геродота до наших дней имеет дело с событиями. Образующие в своей совокупности живую ткань реального исторического процесса, события вызывают первоочередной интерес историков именно потому, что в них воплощается всякое историческое действие. Конечно, историки, придерживающиеся различных идейно-теоретических взглядов, в своей исследовательской практике обращаются к разным событиям, не говоря уже о том, что одни и те же события иногда получают в их произведениях диаметрально противоположную оценку. Да и сама классификация исторических событий, их ценностная иерархия весьма различны у ученых, принадлежащих к разным направлениям исторической мысли. Но за скобками всех этих различий находится признание того

решающего факта, что историк прежде всего изучает события. Ибо, подчеркивал А. И. Данилов, «события — это человеческая деятельность во всех ее сферах, начиная с производства материальных благ и кончая наиболее абстрактными сферами интеллектуального творчества... Без движения событий нет и исторического процесса»[126].

«Психоистория» же оставляет события за рамками своего специального рассмотрения. Они составляют для нее ту «физическую реальность», изучение которой она предоставляет традиционной истории. Добавим к этому признаваемое «психоисториками» отсутствие ясно определяемой научной теории психоанализа в его применении к истории. Все это в целом не только означает значительный шаг назад в понимании предмета истории, даже по сравнению с традиционной идиографической историографией, но и вносит в это понимание такую непомерную дозу субъективизма, которая вообще способна поставить под сомнение всякую достоверность получаемых «психоисториками» результатов.

Не удивительно поэтому, что уже первые попытки применения психоанализа к изучению истории встретили настороженное отношение к себе в самой буржуазной науке. Показателен в этом отношении ход мыслей Р. Дж. Коллингвуда, обнажающий субъективизм психологического подхода к истории. Он высмеивает сведение изучения истории к поискам неврозов исторических деятелей. Ученый пишет о психическом состоянии самих историков, использующих фрейдистские методы, которые «слишком невротичны для того, чтобы уютно жить в реальном мире». Поэтому они создают воображаемый мир, который проецируют в прошлое, «так как связывают происхождение своих неврозов с прошлыми событиями собственного детства и постоянно вновь и вновь обращаются к прошлому в тщетной попытке освободиться от этих неврозов»[127].

При этом Коллингвуд формулирует положение о принципиальном различии между психологическим («психоисторическим») и историческим подходом к про-

---

[126] Данилов А. И. Историческое событие и историческая наука.— В кн.: Средние века. М., 1980, вып. 43, с. 17.

[127] Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980, с. 6.

шлому. В первом случае, подчеркивает он, «внимание концентрируется исключительно на субъективной стороне исходного субъектно-объектного отношения. Психологический подход направлен на мысль историка, а не на ее объект — прошлое»[128]. Но это означает принципиальный отказ от рассмотрения реального исторического процесса в многообразии составляющих его событий, т. е. как раз от того, чем всегда занимались историки.

4. Между психоанализом и историей: претензии и реальность

Последующая практика «психоисторических» исследований отнюдь не рассеяла сомнений профессиональных историков относительно возможностей «психоистории», да и самого ее научного статуса. Вынужденное признание этого стало сегодня общим местом в размышлениях самих «психоисториков» о судьбах своей дисциплины и ее месте в системе гуманитарных наук. Впрочем, как уже отмечалось, многие из них, так называемые интеграционисты, не ограничиваются простой констатацией этих сомнений, а, признавая их справедливость, делают определенный шаг в направлении «историзации» и метода, и самого предмета своих исследований. Это заставляет нас обратиться к систематическому рассмотрению интеграционистского течения в американской «психоистории», главным образом в плане оценки действительных результатов прокламируемого его представителями сочетания в исследовательской практике психоанализа и собственно исторических методов.

В основе этого течения лежит более или менее эклектическое сочетание психоаналитического и социально-исторического инструментария научного исследования. Такое сочетание осуществляется под флагом сближения истории и психологии как генерального пути развития «психоистории», ибо, подчеркивают видные представители этого течения Д. М. Крен и Л. Раппопорт, «главной целью обеих дисциплин является понимание человеческого поведения»[129]. Ратуя за преодоление бы-

[128] Там же.

[129] Kren G. M., Rappoport L. H. Clio and Psyche.—In: Varieties of Psychohistory, p. 63.

лой отчужденности истории от психологии, другой американский автор указывает, что общий интерес этих наук к вопросу мотивации человеческого поведения делает обоюдные заимствования естественными и неизбежными [130].

В настоящее время едва ли можно сомневаться в значительном прогрессе на путях сближения истории и психологии в рамках американской «психоистории», следствием чего стало утверждение интеграционистского течения в качестве доминирующего в этой дисциплине, во многом определяющего ее современный облик [131]. Даже ученые, придерживающиеся ортодоксально фрейдистских взглядов, в той или иной степени вынуждены модернизировать их, отходя от подчеркнутого антиисторизма основателя психоанализа. Показательно в этом отношении признание крупнейшего представителя фрейдистского течения в американской «психоистории» де Мозе, который в процессе изучения результатов полувекового приложения психоанализа к истории пришел к выводу, что он не стал наукой главным образом потому, что не сделался эволюционным [132]. «Психоисторическая теория» де Мозе и призвана, по его убеждению, исправить этот недостаток.

Бесспорно, включение исторического измерения в психоаналитическую интерпретацию увеличивает ее возможности в осмыслении социальной действительности. Трудно также что-либо возразить против самого

---

[130] Bushman R. L. On the Uses of Psychology: Conflict and Conciliation in Benjamin Franklin.—In: Varieties of Psychohistory, p. 81.

[131] Любопытно, что уже в 1970 г. в психоаналитической литературе интеграционистский подход в «психоисторическом» исследовании именовался традиционным, а ортодоксально фрейдистский — еретическим (см.: Domhoff G. W. Two Luthers: The Traditional and Heretical in Freudian Psychology.—Psychoanalytic Review, 1970, vol. 57, № 1, p. 5—16.). Не вступая в полемику с автором по существу поднятого им вопроса о том, чей подход к изображению Лютера более правомерен («традиционалиста» Эриксона или «еретика», ортодоксального фрейдиста Брауна), подчеркнем лишь, что сама терминология свидетельствует о доминирующем положении в современной «психоистории» интеграционистского течения, на фоне которого ортодоксально фрейдистская трактовка действительно выглядит «еретической».

[132] Mause L. de. The Evolution of Childhood.—In: Varieties of Psychohistory, p. 124—125.

лозунга сближения истории и психологии и их взаимообогащения. Возникает, однако, вопрос, как этот лозунг реализуется в исследовательской практике на «психоисторической» основе. Другими словами, насколько органически сочетаются в «психоисторическом» исследовании психоанализ и социально-исторические методы, в какой мере обращение к последним действительно способно решить проблемы, стоящие перед «психоисторией».

В поисках ответа на эти вопросы обратимся к исследовательской практике крупнейшего представителя интеграционистского течения в американской «психоистории» Э. Эриксона. В этом отношении, пожалуй, наибольший интерес представляет его исследование о Ганди, так как оно было дополнено специальным очерком, раскрывающим методику «психоисторического» анализа и разъясняющим на примере собственного изучения взглядов и деятельности выдающегося индийского национального лидера авторское понимание самого механизма «психоисторического» исследования [133].

В частности, в очерке содержатся любопытные признания о мотивах, побудивших автора обратиться к изучению личности Ганди. Мотивы эти трактуются главным образом в терминах психоанализа. Эриксон пишет о «переносе» себя на Ганди. Проводя примечательную параллель с книгой Фрейда о Вильсоне, где, по его словам, был осуществлен «перенос» автора на его «героя», обусловленный, как утверждает американский «психоисторик», ненавистью взрослого скептика к христианскому обману и, следовательно, отречением от его собственного детского очарования блестящим католическим церемониалом, он продолжает: «Мой перенос на Ганди, без сомнения, выражал юношеские поиски духовного отцовства, усиливавшегося тем фактом, что мой собственный отец, которого я никогда не видел, стал в мои ранние годы мифическим образом» [134].

Более того, Эриксон проводит далеко идущую параллель между Ганди и самим Фрейдом, подчеркивая близость их воззрений на человека и общество. Но в то же время он указывает и на свое отличие от основопо-

[133] См.: Erikson E. H. On the Nature of „Psycho-Historical" Evidence.

[134] Ibid., p. 147.

ложника психоанализа в подходе к Ганди, которое коренится в новой ситуации, сложившейся в мире к началу 60-х гг. нашего века, т. е. к тому времени, когда американский «психоисторик» заинтересовался жизнью и деятельностью индийского мыслителя. Сам он так поясняет эту ситуацию: «...Мне стало ясно, что человек как биологический вид в условиях угрозы глобального уничтожения благодаря сверхоружию не может больше культивировать иллюзии ни о своей собственной «природе», ни о природе других видов, ни о тех «псевдовидах», которых он называет своими врагами. И Ганди, мне кажется, был единственным человеком, который наглядно представлял и демонстрировал всеобщую альтернативу» [135].

Таким образом, в эриксоновской мотивации появляется новая струя, выходящая за рамки ортодоксального фрейдизма. Нам важно отметить ее как показатель осознанного стремления ведущего американского «психоисторика» расширить диапазон своей дисциплины за счет социальных доминант. Как увидим далее, это стремление найдет свое отражение и в его анализе деятельности Ганди.

Тем более показательно, что, по убеждению самого Эриксона, оно не посягает на решающее значение фрейдистской мотивации выбора ученым предмета своего исследования. Он подчеркивает, что его воспоминания о мотивах, приведших к созданию книги о Ганди, «продиктованы стремлением напомнить психоисторику, что его выбор предмета исследования часто обусловливается ранними идеалами и идентификациями... Я на самом деле верю, что каждый человек проецирует или пытается проецировать на людей время, которое он изучает, определенные изменившиеся черты и часто нереализованное Я своей собственной жизни» [136].

Такая мотивация выбора темы, естественно, обусловливает и способ ее изучения. Он носит последовательно психоаналитический характер. Обнажая исходные посылки своего метода, Эриксон формулирует задачу показать параллель между своим клиническим опытом и изучением определенного исторического события. При этом центральное положение занимает фрейдистская

[135] Ibid., p. 148.
[136] Ibidem.

категория «переноса». Отмечая, что «Фрейд рассматривал феномен переноса как движущую пружину психоанализа», Эриксон видит в нем «универсальную тенденцию», раскрывающую мотивационный механизм поведения исторической личности. Развивая это положение далее, он с характерной ссылкой на клинический опыт указывает на значение так называемого «контрпереноса» (переноса клиницистом на своих пациентов различных образов из своего детского прошлого) [137].

Соответственно этому «контрперенос» рассматривается как неотъемлемая часть «психоисторического» исследования. «Даже тот,— пишет Эриксон,— кто делает своей профессией психоанализ других, должен научиться определенной способности самоанализа, что в полной мере относится и к психоисторику». И далее он указывает на необходимость «включения интерпретатором в его собственный метод того неизбежного факта, что его интерпретация определяется модусом его собственной жизни». Применительно к предмету собственного исследования американский «психоисторик» в этой связи признает, что с юных лет восхищался Ганди как редчайшим из людей [138].

Эти признания Эриксона могут, очевидно, в известной мере способствовать пониманию его собственных мировоззренческих позиций. Но их генерализирующее значение резко снижается вследствие отсутствия объективных научных данных, подтверждающих феномен «контрпереноса» в «психоисторическом» исследовании. Читателю просто предлагается принять постулат о «контрпереносе» со ссылкой на клиническую практику. Это, однако, не избавляет его от целого ряда недоуменных вопросов. Например, как следует понимать положение о проецировании в «психоисторическом» исследовании нереализованного Я собственной жизни автора применительно к многочисленным работам, посвященным главарям немецкого фашизма? Означает ли оно, что авторы этих работ, в том числе и сам Эриксон, как известно, писавший о Гитлере еще в 40-е гг., имели в своем Я нечто, что вполне реализовалось в практике фашизма, или что это «нечто» как раз и послужило по-

[137] Ibid., p. 115—116.

[138] Ibid., p. 145.

будительным мотивом для указанных авторов обратиться к соответствующей проблематике? Можно ли полагать в свете всего сказанного выше, что нереализованное Я собственной жизни того же Эриксона обладает столь широким диапазоном взаимоисключающих качеств, что позволяет осуществить «контрперенос» на таких полярно противоположных по своему психическому складу и всему внутреннему миру деятелей, как Гитлер и Ганди?

Думается, что эти вопросы носят чисто риторический характер. Ни Эриксон, ни другие американские авторы, занимающиеся «психоисторией» фашизма, по крайней мере в своем подавляющем большинстве, при всем нашем неприятии их концепций, конечно, не являются некими «нереализовавшими себя» нацистами, пытающимися посредством «контрпереноса» понять чем-то внутренне близких им личностей. Но это означает, что категория «контрпереноса» не «работает» в исследовательской практике, да и сам Эриксон ограничивается простой декларацией ее. Даже раскрывая механизм «психоисторического» исследования на примере своего изучения жизни и деятельности Ганди, он фактически обходится без нее.

Иначе обстоит дело с категориями классического фрейдизма. Они широко используются американским «психоисториком» на всем протяжении его исследования. Здесь находят себе место и психические травмы, «которые приводят человека на особый путь величия» [139], и сексуальные мотивы, подсознательно определявшие деятельность Ганди, и психологический символизм, во многом обусловивший его поведение. Но особенно значительная роль в полном соответствии с фрейдистскими канонами отводится раннему детству индийского лидера и характеру его взаимоотношений с родителями. В работе идет речь об обстановке, обеспечивающей строгую религиозную идентичность, в которой «подобно многим великим лидерам» родился Ганди, острой амбивалентности в отношении к родителям, «эдиповом» и других «базисных комплексах», для которых, как подчеркивает ученый, только фрейдизм нашел адекватные понятия [140].

[139] Ibid., p. 128.
[140] Ibid., p. 129–135.

В эриксоновской концепции Ганди выступает харизматическим лидером, обладавшим способностью проникать в сферу бессознательного масс и благодаря этому тесно связанным со своим народом. «Истина Ганди», которую стремится постичь американский «психоисторик», по его убеждению, как раз и находится в области взаимоотношения вождя и нации. Эриксон усматривает ее в приобретении зрелым Ганди «мудрости самоотречения для себя самого и способствовании новому уровню политического и духовного сознания своей нации» [141].

Заметим, что в отношении «вождь — народ» решающая роль принадлежит вождю, его психическим «комплексам», детально прослеживаемым его «психоисторическим» биографом. Естественно, что при этом основным является психоаналитический метод, и главные усилия автора направлены на обоснование механизма его использования.

Вместе с тем сам предмет исследования необходимо предполагает выход за узкие рамки психоанализа. Эриксон сознает, что изучение становления национального лидера не может быть замкнуто на его психоанализе, какой бы изощренной эта процедура ни являлась. Сама проблема «вождь — народ» даже в том субъективно-идеалистическом толковании, какое ей дает американский «психоисторик», требует анализа социальной среды, в которой действует историческая личность, выяснения исторических условий жизни народа, рассмотрения ее эволюции. Поэтому, заявляет Эриксон, «психоисторик» не может дать истинную оценку историческому деятелю, оценку влияния его идентичности на социальную идентичность, не прибегая к помощи социального анализа [142].

О том значении, какое Эриксон придает социально-историческому анализу в «психоисторическом» исследовании, свидетельствуют его требования к источникам такого исследования. Подробно рассматривая эти последние применительно к образу Ганди, он вводит в оценке своих источников понятие «психоисторический критерий». При этом трудно не согласиться с принци-

[141] Ibid., p. 136—137.

[142] Ibid., p. 210. (Здесь цитируется первая публикация этого очерка в кн.: Psychoanalysis and History/Ed. by B. B. Wolman. Crosset and Dunlap. N. Y., 1971. 240 p.).

пиальными положениями, формулируемыми ученым относительно характера применения этого критерия. В связи с трактовкой автобиографии Ганди как «психоисторического» источника, Эриксон выдвигает два принципа оценки такого рода свидетельств. «Каждое место в автобиографии, — подчеркивает он, — следует оценивать прежде всего ввиду его значения на данной стадии жизни мемуариста и, во-вторых, его значения в ходе всей истории его жизни. А это означает, что в то же время оно должно рассматриваться в непосредственном контексте современной истории и в историческом процессе, в котором этот период является определенной стадией»[143].

Реализуя эти принципы в обстоятельном исследовании источников, Эриксон уделяет известное внимание индийской социальной действительности, благодаря чему в его рассказе о Ганди находится место и краткой социальной характеристике родины будущего вождя национально-освободительного движения — полуострова Катьявар, и указаниям, тоже достаточно лаконичным, на социальную почву этого движения, и некоторым наиболее ярким его выражениям, подобным Ахмадабадской забастовке 1918 г. или знаменитому «соляному походу» 1930 г. Таким образом, психоаналитическая биография зрелого Ганди становится в то же время в какой-то степени и рассказом о национально-освободительном движении в Индии.

Это естественный путь всякого историко-биографического исследования, претендующего на действительно научное освещение жизни исторической личности. Вне социального контекста она останется непонятной во всех своих помыслах и действиях. И то обстоятельство, что Эриксон вынужден вступить на этот путь, свидетельствует, что современная «психоистория», во всяком случае в своих лучших образцах, стремится взять на вооружение социальный анализ, существенно расширяющий ее исследовательские возможности. Сохраняя свою специфическую терминологию, «психоистория» на этом пути делает определенный шаг навстречу тради-

[143] Ibid., p. 127—128.

ционной историографии, провозглашая готовность к совместной работе с нею.

Тот же Эриксон, рассматривая взаимоотношения исторической личности и общества, формулирует ряд вопросов, на которые, по его признанию, «психоисторик» не может ответить без помощи традиционных ученых, изучающих социальные институты. Примечательным образом эти вопросы концентрируются вокруг проблемы единства нации и ее лидера. Объяснение разрыва такого единства, созданного некогда «харизматической силой», находится, по убеждению ученого, вне возможностей психоанализа, ибо, подчеркивает он, «здесь кончается история жизни и начинается история во всех ее социологических и политических детерминантах. Как лидер переживает себя и как идея переживает человека, как общество разделяет его и его идеи и как чувство широкой идентичности, созданной его присутствием, переживает границы его личности и исторического момента — это вопросы, которые психоисторик не может рассматривать без помощи традиционных ученых, изучающих институты» [144].

Это осознание необходимости расширения методологического инструментария «психоистории», ее делового сотрудничества с собственно исторической наукой получило свое терминологическое оформление. Интеграционистское течение в американской «психоистории» уже самим своим названием указывает основную направленность усилий объединившихся в его рамках исследователей.

Однако подлинная интеграция психоаналитических и социально-исторических методов в рамках «психоистории» не произошла. Свидетельство тому — рассматриваемая работа Эриксона. При всех экскурсах в сферу социальной истории в своем подходе к Ганди он выступает главным образом как психоаналитик. И дело даже не только в том, что ориентированность этого подхода на задачи психоаналитической интерпретации обусловливает недостаточное внимание к социальному анализу [145]. Главное — в лежащих в его основе принципиаль-

[144] Ibid., p. 166.

[145] Это обстоятельство не осталось незамеченным даже для дружественных критиков Эриксона из числа самих «психоисториков». См.: Weinstein F., Platt G. M. Psychoanalytic Sociology..., p. 12.

ных фрейдистских установках, которым американский «психоисторик» неизменно остается верен, несмотря на все свои оговорки о значении социально-исторического анализа.

В первую очередь это относится к основополагающему представлению о фактическом единстве предмета исследования у «психоисторика» и клинициста. На наш взгляд, именно здесь следует искать объяснение конечной несостоятельности попыток историзации и социологизации «психоистории» при сохранении ее исходных посылок. Изначальная ориентированность психоанализа на выявление бессознательнных мотивов поведения человека, замкнутых его внутренним миром, и перенесение их в сферу истории закономерно ведет к такому «психоаналитическому перекосу» в изображении исторической личности, который не может выправить никакое обращение к социально-историческому анализу. На первом плане всегда остается психически травмированная личность, неврозы которой определяют ее поведение, а вместе с ним — и все движение истории.

При этом различие между рядовым пациентом психиатрической клиники и исторической личностью усматривается главным образом в степени интенсивности обуревающих их конфликтов, порожденных, в сущности, одними и теми же психическими травмами. «Весьма вероятно,—полагает Эриксон,— что выдающиеся люди переживают сыновьи конфликты с такой неизбежной интенсивностью потому, что они чувствуют в самих себе уже в раннем детстве такого рода самобытность, которая далеко выходит за рамки простой конкуренции с личными достоинствами отца» [146]. Применяя это положение при анализе жизненного пути Ганди, Эриксон пространно живописует различные выражения «эдипова конфликта», выступающего в его концепции важнейшим фактором конституирования исторической личности вообще [147].

[146] Erikson E. H. On the Nature..., p. 164.

[147] Чтобы рельефнее почеркнуть эту идею, Эриксон вводит в свой рассказ о Ганди своеобразную вставную новеллу, посвященную «эдипову кризису» другого выдающегося деятеля освободительного движения Востока — Лу Синя, силясь доказать основополагающее значение этого кризиса во всей жизни великого китайского писателя (Ibid., p. 162—165). Напрашивающееся обобщение объективно искажает природу национально-освободительного движения.

Здесь мы встречаемся с явлением на первый взгляд парадоксальным, но тем не менее закономерным. Психоанализ, выступая главным методом «психоисторического» исследования, демонстрирует крайне низкую научную эффективность. Как правило, действительно существенные результаты, содержащиеся в таком исследовании, получаются с помощью социально-исторического анализа, хотя он занимает здесь явно подчиненное место по сравнению с психоанализом. Другими словами, эвристическая ценность «психоисторического» исследования обратно пропорциональна месту, занимаемому в его методологическом арсенале психоанализом.

Показательным примером тому служит эриксоновский анализ жизни и деятельности Ганди. Декларируя значение всевозможных неврозов в поведении исторической личности, американский ученый оказывается не в состоянии раскрыть его, особенно в плане влияния на те или иные исторические события, связанные с именем данной личности. Так обстоит дело, в частности, с его трактовкой «соляного похода» 1930 г., сыгравшего важную роль в освободительной борьбе индийского народа против британских колонизаторов. Этот поход занимает центральное место во всех рассуждениях Эриксона о природе «психоисторического» анализа. Именно на этом примере он пытается показать сам механизм выбора решения исторической личности, характер его мотивации. Тем поучительнее присмотреться к полученным автором результатам, да и к самому ходу его рассуждений.

Исследуя мотивы, побудившие Ганди принять решение о походе к Аравийскому морю за солью в знак протеста против введения английским правительством налога на соль, Эриксон в полном соответствии с фрейдистскими канонами уделяет большое внимание подсознательной мотивации, связанной прежде всего с сексуально-символическим значением соли. Но не без некоторого удивления читатель вдруг замечает, что эта мотивация, по убеждению американского «психоисторика», занимает явно подчиненное место. Он даже полемизирует с авторами, придерживающимися ортодоксально фрейдистской трактовки этого вопроса. В полемике с ними он прямо заявляет, что «богатый

символизм, раскрытый Фрейдом в изучении сексуального подавления... не должен вести к простому переносу какого-либо феномена в символическое значение»[148].

В противовес этому Эриксон подчеркивает значение конкретных социально-исторических факторов, обусловивших данное решение Ганди. Это главным образом факторы, связанные с экономическим положением индийского народа. Не отрицая символического значения соли в индийской мифологии, ученый в то же время справедливо подчеркивает, что «в непосредственном контексте хронического полуголодания, подрывавшего жизнеспособность индийских масс, и учитывая периодическую угрозу широкой смертности от голода, разумно полагать, что соль прежде всего означает соль»[149]. Другими словами, народное недовольство введением налога на соль, равно как и решение Ганди использовать это недовольство для выбора первого объекта национальной кампании гражданского неповиновения, имело свое основание в первую очередь в реальной экономической действительности Индии, в том числе и в реальном экономическом, а отнюдь не символическом значении соли.

В итоге анализа мотивации Ганди Эриксон приходит к выводу, что, «принимая решение о соляном походе, он, очевидно, руководствовался своими политическими и экономическими, так же как и психологическими соображениями»[150]. С этим выводом трудно не согласиться. Но возникает законный вопрос, при чем же здесь «психоистория» и ее особые , отличные от исторической науки методы? Складывается впечатление, что в данном случае психоанализ привлекается лишь для расцвечивания картины, которая в основных своих очертаниях создается с помощью иных средств. В самом деле, арабески относительно сексуально-символического значения соли, щедро разбрасываемые Эриксоном, может быть, и интересны сами по себе, но решительно ничего не дают не только для объяснения действительно важного события новейшей истории Индии, но и для мотивации действий самого Ганди, ибо даже из авторского изложения следует,

[148] Ibid., p. 159.

[149] Ibidem.

[150] Ibid., p. 160.

что сексуально-символические мотивы играли здесь более чем скромную роль. Ведь сам ученый решительно предостерегает против интерпретаций, которые объясняют человеческие действия исключительно сексуальным символизмом. Этим предостережением и завершается его рассмотрение «соляного похода» [151].

Но это означает и несостоятельность претензий психоанализа на роль главного метода в историческом познании. Применение этого метода к изучению явлений общественной жизни, даже таким признанным мастером, как Э. Эриксон, обнаруживает ограниченную его научную результативность, по существу, мало что дает для понимания деятельности Ганди и тем более, истории индийского национально-освободительного движения.

Этим мы вовсе не хотим отрицать вообще всякое научное значение применения психоанализа в истории. Например, в очерке о Ганди он помогает в отдельных случаях более наглядно представить облик индийского лидера, некоторые его человеческие качества, сквозь призму которых рассматривается его политический путь [152]. Все дело заключается в мере использования психоанализа в историческом исследовании. Но ее-то как раз и не соблюдают «психоисторики». Даже в тех немногочисленных случаях, когда они сами выступают против преувеличения значения подсознательных мотивов в поведении исторического деятеля в том или ином конкретном случае, они, как правило, именно на них сосредоточивают свое преимущественное внимание. Так, в частности, и поступил Эриксон, рассматривая «соляной поход» 1930 г. Отказываясь видеть в сексуально-символическом значении соли важнейшие побудительные мотивы действий Ганди, он тем не менее строит свой рассказ о причинах похода почти целиком вокруг этой

---

[151] См.: Ibid., p. 155—160.

[152] Например, приводимый в книге «Истина Ганди» эпизод, когда во время одной из своих поездок по требованию белого пассажира молодой Ганди был высажен из поезда и провел ночь под открытым небом. Отмечая присущие своему герою обостренную чувствительность и ранимость, Эриксон трактует связанные с этим эпизодом его переживания как очередной кризис идентичности, во многом побудивший будущего национального лидера бороться против несправедливости (Erikson E. H. Gandi's Truth. New York; Norton, 1969, p. 189).

символики. Происходит, таким образом, явное смещени пропорций, что объективно ведет к искажению сущест ва дела. Вместо исторического действия изучаетс мысль, связанная с этим действием, исследование реаль ной исторической проблемы подменяется анализом сфе ры бессознательного.

Наряду с попытками дополнить психоанализ соци ально-историческим подходом в американской литера туре последних лет явственно прослеживается друго путь «интеграции», заключающийся в стремлении не которых историков расширить методологический арсе нал своей науки за счет отдельных психоаналитически категорий. Такой путь представляется несколько боле перспективным, чем первый, хотя бы уже потому, чт это в основе своей путь исторического анализа соци альной действительности. Однако и в этом случае под линной интеграции психоаналитических и социальнс исторических методов не происходит.

Рассмотрим в этой связи некоторые статьи уже ци тировавшегося сборника «Зрелость», представляющие своей совокупности развернутую попытку применени психоанализа как вспомогательного метода к изучени определенных закономерностей развития общества. Н обширном материале авторы сборника, являющиеся своем большинстве историками, стремятся раскрыть сс циальное содержание той стадии развития общества отдельных его институтов, которая определяется им как «зрелость».

Не подлежит сомнению значительное влияние на и построения психоаналитических концепций и прежд всего известной теории жизненного цикла, проявляюще еся уже в самой терминологии. Недаром редакторо сборника является Э. Эриксон, открывающий его свое проблемной статьей «Размышления о жизненном цикл доктора Борга». Имя маститого «психоисторика» окр жено в книге неподдельным пиететом, а в предислови прямо подчеркивается его выдающееся значение в ра витии междисциплинарных исследований в США вос ще и в подготовке данного издания в частности [153].

Вместе с тем в этом же предисловии формулируетс целевая установка книги, которая свидетельствует, чт

[153] Adulthood, p. XI—XII.

мы здесь имеем дело преимущественно с историко-социальным исследованием, по крайней мере по своему замыслу. По утверждению автора предисловия, создатели книги были едины в стремлении «рассмотреть, как понятие зрелости изменялось во времени и как разные цивилизации и религии определяли зрелость» [154]. Реализуя эту установку, помещенные в сборнике статьи в своей совокупности воссоздают широкий спектр конкретно-исторических значений понятия «зрелость», выработанных разными религиями и народами от глубокой древности до наших дней. Не все эти статьи равноценны, но лучшие из них отмечены выраженным историческим подходом, а в ряде случаев — и заметным вниманием к социальным условиям, детерминирующим развитие того или иного феномена.

Принцип историзма пронизывает статью профессора истории Калифорнийского университета Уильяма Боусмы «Христианская зрелость». Автор формулирует как фундаментальное для христианского взгляда на человека «положение о процессе развития, в котором прошлое не исчезло бесследно, а продолжает существовать, формирует и поглощается настоящим» [155]. В свете этого положения в статье рассматривается христианский идеал зрелости, согласно которому зрелость приобретается благодаря вере. Вместе с тем Боусма акцентирует внимание на значении социального опыта в достижении христианином зрелости. В «тесной и органической общности индивида с другими» он видит существенный аспект христианской модели человеческой зрелости, которая, по его словам, находит выражение в идентичности индивида с другими людьми. «Главным опытом, благодаря которому растет христианин,— подчеркивает ученый,— является социальный опыт» [156].

Определенный интерес представляет также статья Кеннета Линна, профессора истории университета Джона Гопкинса, озаглавленная «Зрелость в американской литературе», являющаяся опытом социально-психологического и исторического обоснования некоторых черт развития американской художественной литературы

---

[154] Ibid., p. VIII.
[155] Ibid., p. 87.
[156] Ibid., p. 92.

XIX—XX вв. Ее центральную идею составляет положение о том, что американская литература достигла своей зрелости только в XX в., тогда как в прошлом столетии она была главным образом детской литературой. Не вдаваясь в анализ собственно литературоведческих аспектов этой проблемы, подчеркнем лишь, что эта идея получает в статье развернутую социально-историческую аргументацию. Развитие литературного творчества рассматривается в тесной связи с состоянием самого общества. Незрелость американской литературы XIX в. объясняется специфическими особенностями исторического пути США, ослаблявшими остроту социальных противоречий в стране. Положение меняется только на рубеже нашего столетия, когда усиление социальных противоречий в обществе обусловливает достижение американской литературой стадии полной зрелости [157].

Конечно, осуществляемый К. Линном социально-исторический анализ далеко не безупречен с точки зрения историка-марксиста. Не говоря уже о том, что из этого анализа исключается «черная Америка», он применительно к белым американцам носит абстрактный, внеклассовый характер. За исключением однажды упомянутых «белых мужчин среднего класса», в статье фигурируют американцы «вообще», как и социальные противоречия «вообще».

Но нам сейчас важно подчеркнуть направленность авторского анализа, принципиально отличающую его от анализа в «психоисторических» исследованиях. Между тем рассматриваемая статья, во всяком случае по своей форме, претендует именно на жанр «психоисторического» исследования. Она обильно оснащена «психоисторическим» антуражем, концептуально основывается на эриксоновской теории жизненного цикла, понятийный аппарат которой переносится на характеристику американской литературы, да и самого общества. Можно даже говорить об отдельных интересных наблюдениях Линна, связанных с применением им психоанализа к ис-

[157] Lynn K. S. Adulthood in American Literature.—In: Adulthood, p. 237—246.

толкованию особенностей литературного процесса [158].

Однако нельзя не видеть, что с точки зрения самого автора психоанализ занимает в системе его познавательных средств явно подчиненное место. Это ясно обнаруживается уже в исходных посылках статьи. Поднимая вопрос о причинах незрелости американской литературы XIX в., Линн в поисках ответа на него в полном соответствии с фрейдистскими канонами обращается прежде всего к обстоятельствам раннего детства будущих писателей, их сыновьим чувствам. Тот факт, что большинство перворазрядных писателей Америки XIX в. выросло в семьях, в которых отец или умер, или отсутствовал, или был инвалидом, или финансово несостоятельным, пишет он, указывает на возможность того, что страхи взросления влияли на их литературное воображение. Казалось бы, отсюда должен следовать логический вывод о том, что именно эти обстоятельства и обусловили незрелость американской литературы. Но Линн не только его не делает, но и с открытой полемичностью противопоставляет психоаналитической трактовке вопроса социально-историческую. Чувство американских писателей, что «их отцы были слабыми и как-то унизили их, не было единственным или даже главным источником незрелости их искусства»,— подчеркивает он и указывает на решающее влияние в их формировании окружающей социальной действительности («событий публичной жизни»). «Детские качества американской литературы XIX в.,— заключает Линн,— имели свое происхождение в исторических обстоятельствах, питавших детскость во всей (американской) цивилизации» [159].

Реализуя с большей или меньшей последовательностью эту установку, К. Линн на убедительных примерах показывает функциональную зависимость литературного процесса от современной ему социальной действительности. История литературы в авторской концепции выступает объективным отражением происходивших в американском обществе XIX—XX вв. социальных сдвигов. Такая направленность исследования даже при

---

[158] Таково, в частности, его объяснение того, почему авторами немногочисленных «зрелых» произведений в американской литературе XIX в. в большинстве случаев являлись женщины (см., Ibid., p. 243—244).

[159] Ibid., p. 242.

всем несовершенстве метода Линна обусловливает возможность получения отдельных научно значимых результатов [160].

Однако эти результаты достигаются не благодаря применению психоанализа, пусть даже в качестве вспомогательного метода, а вопреки ему. Используемая в статье психоаналитическая терминология не только не способствует углублению понимания общих закономерностей развития американской литературы, но и затуманивает их. Перенося на общество и на такой его продукт, как литературное творчество, категории, заимствованные из теории жизненного цикла, Линн биопсихологизирует социальный процесс. Используемые автором понятия «детство», «юность», «зрелость», будучи примененными к осмыслению истории общества, препятствуют познанию его действительных закономерностей. Когда, например, Линн говорит о «детстве» как характерной черте жизни американского общества прошлого столетия, усматривая его в «беспрецедентном простодушии» американцев, их склонности к перемене мест и т. п. [161], он оставляет в стороне действительные проблемы того времени, которые никак не могут быть сведены к биопсихологическим категориям. Прежде всего это относится к проблеме развития американского капитализма, которая фактически даже не ставится в статье.

Вследствие этого и вся проблематика статьи получает упрощенно-поверхностное решение. Отмеченные выше позитивные результаты обесцениваются стремлением автора включить их в общую схему жизненного цикла. Другими словами, социальная мотивация подменяется биопсихологической, так как обострение социальных противоречий оказывается результатом неумолимого, биологического по своей природе, движения общества от «детства к зрелости».

---

[160] См., например, характеристику известного романа Т. Драйзера «Сестра Керри» как отражения сильных разочарований в американском обществе вследствие обострения социальных противоречий, превративших его в «ловушку, из которой никто, ни мужчина, ни женщина, не мог убежать». «Через горькую историю Джона Херствуда,— заканчивает Линн,— Драйзер представил видение современной американской зрелости» (Ibid., p. 244). С аналогичных позиций оцениваются в статье другие выдающиеся произведения американской литературы XX в.

[161] Ibid., p. 242.

Таким образом, и второй путь интеграции психоаналитических и социально-исторических методов не приводит к цели. Хотя в этом случае благодаря преобладающему социально-историческому подходу получаемые результаты представляются исторически более адекватными, чем в первом, и здесь не достигается главное — органическое слияние двух различных способов познания. Психоанализ как научный метод играет здесь сугубо вспомогательную роль, существенно не влияя на конкретные результаты исследования [162], и в то же время в своих теоретических опосредованиях усугубляет общие негативные моменты, присущие современной буржуазной исторической мысли.

Итак, провозглашаемый ныне в качестве магистрального пути развития «психоистории» путь интеграции психоанализа и социально-исторических методов исследования на деле не выводит эту дисциплину на действительно новые рубежи в познании явлений социальной жизни. В реальной исследовательской практике либо социально-исторический подход дополняет психоанализ в трактовке отдельных, как правило, частных вопросов истории, либо, напротив, социально-исторический подход расцвечивается психоанализом, включается в рамки той или иной психоаналитической теории. Признавая при этом возможность известных удач, подчеркнем, однако, что ни в том, ни в другом случае не получается действительной интеграции двух столь разнородных способов познания.

Курс на «интеграцию» лишь подчеркивает неразрешимость глубоких внутренних противоречий, с которыми сталкивается «психоисторическое» исследование. Какие бы то ни было дополнения психоанализа социально-историческим подходом являются не более чем паллиативом, не затрагивающим фрейдистский методологический базис «психоистории». Всякая же серьезная попытка поставить этот базис под сомнение, заменить психоанализ историческим методом исследования ведет к ликвидации самой «психоистории» как особой дисциплины, место которой занимает собственно история, ис-

[162] Особенно показательна в этом отношении уже упоминавшаяся статья о «христианской зрелости», психоаналитическая окраска которой фактически исчерпывается использованием терминологии теории жизненного цикла.

пользующая психоанализ как сугубо подчиненный и вспомогательный метод.

5. «Психоистория» в современной идеологической борьбе

Теоретики «психоистории», размышляющие о природе своей дисциплины, как правило, предпочитают не акцентировать внимание на ее идейно-политической направленности. П. Левенберг даже утверждает, что «как исследовательская и объяснительная модель психоистория ценностно нейтральна» и может быть использована с различных политических позиций [163]. В действительности, однако, дело обстоит не так. «Психоистория», как и всякая историческая дисциплина, обладает определенной идейной направленностью. Выявить ее представляется тем более необходимым, что ввиду места, занимаемого «психоисторическими» построениями в американской буржуазной историографии, мы сумеем лучше понять некоторые тенденции ее современного развития.

Как и в других сферах буржуазного обществоведения, здесь можно встретить исследователей, придерживающихся различных убеждений — от традиционных либералов до откровенных ретроградов. Это многообразие оттенков политических взглядов отдельных «психоисториков» не может, однако, скрыть ведущую черту, определяющую идейный облик дисциплины и заключающуюся в объективной реакционной сущности психоаналитических интерпретаций истории, служащих реакционным политическим целям. В ряду появившихся в последние десятилетия в американском обществоведении новых дисциплин «психоистория» особенно выразительно демонстрирует идейно-политический смысл методологических исканий современной буржуазной мысли, их объективную направленность на укрепление идеологических основ капитализма.

Представляется поучительной определенная эволюция, которую претерпели в этом плане «психоисторические» исследования в США. Первые попытки использования психоанализа в истории в целом ряде случаев имели несомненную прогрессивную идейную направлен-

[163] Loewenberg P. Psychohistory.—In: The Past Before Us, p. 431.

ность. В особенности это относится к психоаналитическому изучению фашизма и его главарей. В условиях нависшей над миром угрозы фашистского варварства это изучение объективно вносило свой вклад в борьбу прогрессивных сил человечества против нацизма и его идеологии. И хотя критика фашизма в работах психоаналитиков начала 40-х гг. не всегда являлась последовательной и подлинно научной, важно подчеркнуть, что в отличие от последующих «психоисторических» изысканий на эту тему именно она составляла их главное содержание, придавая им выраженный антифашистский характер [164].

Разумеется, современный читатель-марксист согласится далеко не со всеми положениями, выдвигавшимися в психоаналитических концепциях немецкого фашизма начала 40-х гг. К их критическому анализу мы обратимся в одной из следующих глав. Сейчас же важно подчеркнуть сам факт присутствия в ранних «психоисторических» исследованиях прогрессивных, а в отдельных случаях даже антикапиталистических тенденций. Очевидно, он может быть поставлен в прямую связь с общим подъемом демократического движения и прогрессивных настроений в американском обществе в годы второй мировой войны, когда США сражались в рядах антигитлеровской коалиции.

После войны ведущее положение в американской буржуазной историографии заняло консервативное направление с выраженной антимарксистской и антикоммунистической направленностью. И хотя американская историография никогда не являлась идейно однородной, причем дифференциация в ее рядах особенно усилилась в 60—70-е гг., именно политический консерватизм определяет идейный облик и направленность подавляющего большинства «психоисторических» изысканий. В целом «психоистория» стоит сегодня на правом фланге американской исторической мысли, оставаясь в идейном плане связанной с пресловутой теорией «консенсуса», определяющей общий тон послевоенной американской буржуазной историографии [165].

[164] Подробнее об этом см. в III главе нашей работы.

[165] Общую характеристику идейного развития американской буржуазной историографии после второй мировой войны см.: Болховитинов Н. Н. Указ. соч., с. 9—13.

Эта теория, подчеркивавшая единство и стабильность американского общества, якобы присущее ему «согласие» всех составляющих его социальных слоев и утверждавшая на этом основании, что США никогда не знали классовой борьбы в марксистском значении этого слова, во многом предопределила сам подход «психоисториков» к осмыслению природы социальных отношений в обществе. Ее установки вполне согласовывались с центральным постулатом самой «психоистории», полагающим главную пружину исторического процесса в психике людей и уже поэтому принижающим значением социальных противоречий в жизни общества.

Это соответствие имело далеко идущие последствия, способствуя утверждению объективно консервативной и даже реакционной направленности политического звучания основных положений и выводов американской буржуазной «психоистории». Именно этим можно в значительной степени объяснить то обстоятельство, что прогрессивные тенденции, которыми была отмечена заря «психоисторических» исследований, по мере становления и развития «психоистории» как самостоятельной научной дисциплины не только не смогли укрепиться, но и становились все менее заметными.

Указанные тенденции находились в несомненном противоречии с основополагающими теоретическими посылками исторического психоанализа, подчеркивающими приоритет психического над социальным, являясь по отношению к ним чем-то внешним, связанным, как уже отмечалось, с подъемом антифашистских настроений в США в годы второй мировой войны. Уже во второй половине 40-х гг. они сменяются нарастающей антисоветской и антикоммунистической истерией, оборотной стороной которой стали проповедь американской исключительности, претензии американского империализма на идейное и политическое руководство миром. В этот духовный климат полностью вписалась «психоистория», в процессе развития которой отмеченное выше противоречие снималось по мере нарастания в ее идейном облике консервативных и откровенно реакционных тенденций, вполне гармонировавших с научно реакционным характером ее теоретических принципов.

Показательно, что эти тенденции сказались в научном творчестве даже такого либерально мыслящего «психо-

историка», каким является Э. Эриксон. Не опускаясь в своих работах до примитивного антикоммунизма, ученый вместе с тем выступает убежденным апологетом американского образа жизни. С помощью «психоисторического» инструментария он пытается обосновать мнимые преимущества американской буржуазной демократии, найти пути укрепления ее основ. Он формулирует положение о так называемой новой американской идентичности, сердцевину которой составляет «идеал всем обязанного самому себе человека» [166].

Усматривая в этой «новой идентичности» существенное содержание американского образа жизни, Эриксон особо подчеркивает ее способность к самоанализу и самоконтролю как залог успешного решения проблем сегодняшнего дня. Это положение представляется весьма важным для правильного понимания самой направленности научных интересов маститого «психоисторика» и характера их эволюции. Обращение к Лютеру и Ганди не в последнюю очередь диктовалось потребностью овладеть такой социально-этической системой, которая могла бы стать эффективным средством повышения жизнестойкости современного буржуазного общества в условиях переживаемого им кризиса.

Основываясь на коренных постулатах своей дисциплины, Эриксон ищет истоки кризисных ситуаций, как и пути их преодоления, прежде всего в психическом развитии личности, в характере ее взаимоотношений с обществом. Под этим углом зрения представляется возможным рассматривать его известную теорию жизненного цикла, призванную дать своеобразный «психоисторический» рецепт стабилизации американского буржуазного общества и вместе с тем обосновать наличие у него более или менее оптимистических перспектив.

В этой связи несомненный интерес приобретает акцент, который Эриксон делает в своих работах на заключительных стадиях жизненного цикла человека, имеющий под собою очевидную идеологическую подоплеку. Еще в 1969 г., указывая, что проблемы, волнующие стариков, являются в своей значительной части отражением в наиболее острой форме проблем, переживае-

[166] Erikson E. H. Dimensions of a New Identity. N. Y., 1973, p. 36.

мых другими возрастными группами, он видел их значение в том, что они иллюстрируют «личностный и социальный разрыв непрерывности» как главную опасность, перед которой стоит современное американское общество. Следствием этого, полагал ученый, является грозящая американской цивилизации утрата смысла жизни, особенно осознаваемая в старости [167]. Отсюда и вытекает идейно-политическая направленность «психоисторического» изучения заключительных фаз жизненного цикла. Оно призвано привлечь общественное внимание к этим фазам, а главное — способствовать снятию тех проблем, которые вырастают в смертельную угрозу для существующего порядка вещей.

В свете этого следует рассматривать и уже цитировавшийся сборник «Зрелость», имеющий своей целью не только стимулировать междисциплинарное изучение заключительных фаз жизненного цикла человека, но и наметить своеобразную программу и направленность такого изучения. Как подчеркивается в предисловии, Эриксону принадлежит сама идея этой книги, как и руководящее участие в ее воплощении: «Во встречах официальных и неофициальных, состоявшихся в разных местах в Соединенных Штатах, Эриксон не только определил фокус дискуссии, но и дал интеллектуальный стимул для многих ее самых важных черт» [168]. Обосновывая вступление американского общества, равно как и всей западной цивилизации, в «век зрелости», давая его развернутую «психоисторическую» характеристику, авторы книги на широком и разноплановом материале пытаются внести свой вклад в решение стоящих перед этим обществом проблем.

При этом, естественно, дело не обходится без антисоветской риторики, приправленной «психоисторическим» антуражем. Идейную функцию этого последнего ярко раскрывает статья профессора истории Калифорнийского университета М. Малиа, основополагающим тезисом которой является утверждение об отсутствии в русском

---

[167] Erikson E. H. Insight and Responsibility. N. Y., 1969, p. 132—133.

[168] Adulthood, p. XI.

(и советском) обществе в силу определенных национальных особенностей гражданской и социальной зрелости. Декларируя, но, разумеется, никак не доказывая качественное единство русского дореволюционного и советского общества, он делает удивительное по своей нелепости заявление: «Россия знала полные плоды гражданства, «зрелую» свободу и интеллектуальную и гражданскую жизнь только между 1905 и 1917 гг., или 12 лет ее современной истории» [169].

Народ, создавший великую культуру, поразивший мир своим непреходящим гражданским звучанием, спасший человечество от фашистского варварства, прокладывающий новые пути мировой истории и оказывающий на ее ход все возрастающее влияние, народ, гражданская зрелость которого стала могущественным фактором социального действия, едва ли нуждается в защите от нападок американского профессора. Вместе с тем ход его рассуждений представляет определенный интерес для понимания той объективной роли, какую играет «психоисторический» инструментарий в современной идеологической борьбе. Оперируя «психоисторическими» категориями, в частности понятиями эриксоновской теории жизненного цикла, автор статьи конструирует на их основе откровенно антинаучную концепцию социально-исторического развития России, имеющую в то же время очевидную идеологическую направленность.

Исходным пунктом рассуждений Малиа является прокламируемая им жесткая связь жизненного цикла того или иного народа с присущими ему национальными особенностями. «Поскольку национальность формирует все в этом мире,— философствует Малиа,— почему бы ей также не влиять на процесс и конечный результат взросления?» [170]. Применительно к России, по его уверению, это влияние было и остается негативным, поскольку оно препятствует полному взрослению народа в том смысле, какой американский автор вкладывает в это понятие.

Малиа определяет зрелость как «интеллектуальное и этическое самоопределение и в последнем счете свобо-

---

[169] Malia M. E. Adulthood Refracted: Russia and Leo Tolstoi.— In: Adulthood, p. 176.

[170] Ibid., p. 173.

ду гражданского действия»[171]. Генетически связывая такое понимание зрелости с идеями европейского Просвещения, он наполняет его чисто буржуазным содержанием, и с этих позиций, позиций формальной буржуазной демократии западного образца, взирает на Россию. Естественно, что в ее истории он не находит периода господства такой демократии (за исключением выше отмеченного двенадцатилетия, включающего в себя такие яркие проявления «гражданской зрелости» общества, как столыпинская реакция и т. п.), а следовательно, вполне логично со своей точки зрения отказывает русскому народу и в праве на гражданскую зрелость.

Гражданская незрелость русского народа, как полагает Малиа, нашла отражение в самом языке. Крестьяне, например, называли батюшкой не только отца, но и священника, барина, царя, а Россию — матушкой[172]. Впрочем, лишены были гражданской зрелости и социальные верхи, европеизированная «просвещенная» элита по терминологии автора. Однако в отличие от народных масс элита по крайней мере обладала желанием обрести гражданские права. Невозможность реализации этого желания при существовавшей структуре русского общества порождала революционное движение, начавшееся с восстания декабристов и обнаруживавшее на всех своих этапах политическую незрелость, являвшуюся совершенно точным отражением того порядка вещей, с которым оно боролось[173].

Но прежде всего, утверждает Малиа, стремление просвещенной элиты к гражданской зрелости выразилось в «преломленной форме», путем сублимации в сферу ис-

---

[171] Ibid : p. 176.

[172] Для пресловутой манеры двойного стандарта, применяемого буржуазными идеологами в оценке схожих явлений на Востоке и Западе, весьма показательно, что буквально в следующей же помещенной в сборнике статье указывается на аналогичное словоупотребление в английском языке, сохранявшееся в США вплоть до гражданской войны. Однако здесь это явление уже не служит показателем гражданской незрелости американского народа, а именуется просто «семейно-политической образностью», главная причина отказа от которой в дальнейшем усматривается опять-таки не в гражданском созревании нации, а в ее возрастающей заботе о действительных семейных отношениях (см.: Jordan W. D. Searching or Adulthood in America.—Adulthood, p. 192—193).

[173] Malia M. E. Adulthood Refracted..., p. 177.

тинной свободы в России — царство искусства и литературы. Отсюда автор выводит особое положение русской литературы в жизни общества и претензии ее крупнейших представителей на «мантию писателя-пророка с квазихаризматической национальной ролью» [174]. Полагая, что в творчестве Л. Толстого «эта особая русская традиция достигла своего зенита», Малиа подвергает его развернутой психоаналитической трактовке. В итоге он приходит к выводам, по сути развенчивающим историческое значение русской классической литературы, отказывая ей в том, что в действительности составляет одну из самых ярких ее черт, принесших ей мировое признание,— высокой гражданственности, огромной силе социального воздействия. «Русская формула писателя-пророка,— утверждает он,— представляет внутренне «незрелое» состояние, так как она претендует на то, что моральная сила искусства может адекватно заменить реальное участие в политической жизни» [175].

Так психоисторическая категория «зрелость» используется для очернения не только русской общественной жизни, но и русской литературы. Причем методологической основой такого подхода выступает антиисторическое представление о западных ценностях как эталоне в оценке любого социального явления. Всякое несоответствие этому эталону автоматически влечет за собою обвинения в отсталости, незрелости и т. п. В итоге действительно научное сравнительное изучение различных социальных форм под углом зрения конкретных исторических условий их возникновения и функционирования подменяется безапелляционным осуждением неугодных буржуазным идеологам явлений. Особенно усердно такой «метод» практикуется в буржуазной руссистике, вполне уживаясь с историческим психоанализом и еще более рельефно подчеркивая его реакционную идейную направленность.

Крайнее выражение идейно-политической тенденциозности «психоисторического» подхода демонстрирует книга американского реакционного публициста Ю. Метвина «Рост радикализма», с начала и до конца прони-

---

[174] Ibid., p. 177—179.
[175] Ibid., 186.

занная злобным антикоммунизмом [176]. Вызванная к жизни подъемом радикального движения в США 60 — начала 70-х гг. и проникнутая стремлением его дискредитировать, книга по своему жанру является злобным памфлетом, претендующим на очередное «уничтожение» всякой идеологии революционного преобразования общества и прежде всего, конечно, марксизма. Главным же орудием осуществления этой задачи избирается психоанализ.

Под пером Метвина этот метод превращается в универсальное средство, позволяющее с легкостью необыкновенной «объяснить», а точнее — очернить любое революционное движение, выводя его из личных качеств самих революционных деятелей и идеологов.

Таким средством выступает модное психоаналитическое понятие «фрустрация», означающее психологическое состояние, возникающее у человека в ситуации разочарования, неосуществления какой-либо значительной для него цели и вызывающее у него стресс [177]. Именно это стрессовое состояние, уходящее корнями в раннее детство и обусловленное конфликтом с семьей, порождает повышенную агрессивность в отношении внешнего мира и выступает у Метвина в качестве решающей причины революционного радикализма каждого деятеля, о котором идет речь в книге, а, следовательно, и самого движения, связанного с его именем.

Именно так, например, «объясняется» возникновение научного коммунизма. «Западные либералы заблуждаются,— поучает Метвин,— полагая, что коммунизм вырос из заботы о социальных условиях, в то время как в действительности он вырос из фрустрированного бессилия изолированного интеллектуального класса» [178]. Для обоснования такого утверждения он создает развернутый психоаналитический портрет молодого Маркса [179].

Едва ли есть необходимость полемизировать с американским «психоисториком» по существу его аргументации, поскольку она носит всецело спекулятивный ха-

---

[176] Metvin E. H. The Rise of Radicalism: The Social Psychology of Messianic Extremism. New Rochelle, New York, 1973. 584 p.
[177] Ibid, p. 37—39, 120.
[178] Ibid, p. 150.
[179] Ibid, p. 172—178.

рактер, не опираясь на какую-либо фактическую основу. Отметим лишь последовательность, с которой он в полном соответствии с канонами классического психоанализа (и в таком же разладе с действительностью) осуществляет психоаналитическую интерпретацию марксизма. Цель ее заключается в том, чтобы дискредитировать научное значение марксизма, представив это учение простым продуктом определенных психологических качеств его основоположника. Поэтому-то психоанализ и избирается в качестве главного метода исследования. С его помощью Метвин рассчитывает продвинуться дальше своих предшественников в «опровержении» марксизма, которых он снисходительно критикует за «относительную бесплодность» огромных усилий, затраченных ими на изучение произведений К. Маркса. С этой оценкой можно было бы согласиться, поскольку в ней объективно констатируется тщетность бесчисленных попыток «уничтожить» марксизм. Но, конечно, не это имеет в виду Метвин. Для него несостоятельность всей предшествующей буржуазной критики марксизма обусловливается ее поисками рационального смысла этого учения. С порога отвергая таковой, он постулирует чудовищное по своей нелепости утверждение, будто «вся структура Марксова мышления была в значительной степени эмоциональной реакцией и рационализацией личных страстей, а не объективным анализом европейского капиталистического общества XIX в». [180]

Разумеется, это утверждение никак не доказывается. Зато оно открывает широкий простор всевозможным спекуляциям, действительно ничего общего не имеющим с подлинной наукой. Вот здесь-то в полной мере и обнаруживается идейная функция психоанализа в реакционной буржуазной литературе. В руках Метвина он становится орудием откровенной фальсификации марксизма. Произвольно оперируя фрейдистскими терминами, американский автор рисует фантастический образ молодого Маркса, объятого ненавистью ко всему миру, составляющей якобы первооснову его учения. Причем, что является весьма показательным для всего авторского метода, эта пресловутая ненависть «доказывается»

---

[180] Ibid., p. 133.

цитатами, в которых, содержится осуждение капиталистического общества.

Особенно настойчиво Метвин тщится доказать отсутствие социально-экономической обусловленности марксизма, равно как и его классовую индифферентность. Молодой Маркс, пишет он, «развил волю к мятежу против мира... задолго до того, как он узнал или проявил самый ничтожный интерес к его экономическим или социальным особенностям» [181]. Только благодаря случайному стечению времени и обстоятельств, утверждает он в другом месте, Маркс избрал пролетариат своей главной опорой, и Ленин должен был с этим считаться [182]. Все это делается для того, чтобы убедить читателя в том, что сила и жизненность марксизма лежат не в способности научного осмысления и преобразования исторической действительности, связанной с выражением коренных интересов передового класса современности, а в обстоятельствах совершенно иного порядка. Порожденное фрустрацией, отягощенное всевозможными «комплексами» одного человека учение К. Маркса стало притягательной силой для всех испытывающих это состояние и находящихся в конфликте с несовершенным и неидеальным миром — таков нехитрый вывод, призванный, по замыслу его автора, «объяснить» и в то же время развенчать историческое значение марксизма [183].

Не продолжая далее анализ книги Метвина, отметим, что оборотной стороной дискредитации марксизма и коммунистических идеалов является апологетика буржуазного строя. Исходный пункт всех рассуждений автора составляет убеждение в «нормальности» и «законности» капиталистического общества, его соответствии нормальной природе человека и, напротив, «ненормальности» и «незаконности» борьбы против него. При этом он несколько неожиданно для «психоисторика» апеллирует даже к сфере производственных отношений. «Настоящая организация производства требует классового сотрудничества, а не классовой борьбы»,— утверждает он [184], демонстрируя классовый смысл всей развиваемой в книге концепции.

[181] Ibid., p. 140.
[182] Ibid., p. 269.
[183] См.: Ibid., p. 178—180.
[184] Ibid., p. 44.

Книга Метвина в гипертрофированном виде подчеркивает одно из наиболее характерных качеств, определяющих идейный облик современной американской «психоистории» — ее ярко выраженную охранительную функцию. Социальному психоанализу принадлежит в настоящее время заметное место в системе идеологических средств, направленных на стабилизацию буржуазного общества, укрепление его духовного потенциала. Его специфическая роль заключается в выработке своеобразной психологической защиты этого общества от грозящих ему катаклизмов. Не случайно поток «психоисторической» литературы особенно усилился с 60-х гг., когда в обстановке потрясших США бурных социальных конфликтов обнаружила свою несостоятельность теория «консенсуса». Сама жизнь показала тщетность усилий апологетов американской «исключительности» обосновать наличие для этой страны особого исторического пути, якобы не знающего острых классовых противоречий.

Это, однако, не привело к утверждению в американском буржуазном обществоведении более реалистической концепции социального развития. Напротив, очевидное несоответствие теории «консенсуса» социальной практике имело своим следствием поиски более изощренных путей защиты и апологии существующих общественных отношений. И здесь исключительная роль принадлежит «психоистории», которая не только не отрицает наличия конфликтов в обществе, но и делает их предметом своего изучения и в то же время переводит их обсуждение с социального уровня в сферу человеческой психики. Более того, как раз в этой сфере ведется поиск средств, способных оздоровить буржуазное общество, во всяком случае до некоторой степени снизить накал раздирающих его противоречий.

Крайним выражением широкого применения методов психиатрии в социально-терапевтических целях стало возникновение так называемой «психополитики». Примечательно, что это понятие появилось именно в американском буржуазном обществе с его разительными социальными контрастами, культом насилия, бешеными ритмами жизни, возрастающей социальной нестабильностью и экономическими неурядицами и вытекающими отсюда психическими стрессами. В таком обществе утверждается представление об иррациональности и анормальности

окружающего мира и всех сфер его жизнедеятельности, в том числе политики. Не случайно в опубликованных на страницах «Американ джорнел оф психоанализис» материалах дискуссии на тему «Психиатрия и политика» красной нитью проходит мысль о психопатологии современной американской политики. Ярким проявлением этой психопатологии американской политической жизни наших дней объявляется пресловутое «Уотергейтское дело», когда в уголовном преступлении оказались замешанными многие высшие должностные лица администрации США во главе с тогдашним президентом Р. Никсоном [185].

Однако простой констатацией такого положения дело отнюдь не ограничивается. Главные усилия новоявленных врачевателей буржуазного общества направляются на изыскание действенных средств укрепления его духовного потенциала. С тревогой отмечая широкое распространение среди американцев психических расстройств, они пытаются выработать систему мер в целях улучшения психического здоровья населения. Наряду с этим «психополитика» включает использование методов и средств психиатрии и психологии для контроля за поведением людей. В этом случае особенно рельефно выступает классовый смысл политизации наук о человеке в современных США. Их новейшие достижения используются в целях изощренных манипуляций над человеческой психикой. Зловещее пророчество о наступлении эры «терапевтического государства» с его утонченными методами социального контроля и принуждения становится реальным фактом повседневной американской действительности [186]. В сущности, в этой же плоскости лежат и усилия «психоистории», которая рекомендуется ее приверженцами как дисциплина, способная внушить членам этого общества чувство известной уверенности в себе, помочь им адаптироваться к быстро меняющейся социальной действительности. Под таким углом зрения рассматривает ее возможности К. Кенистон. Он рисует мрачную картину современного американского общества, характеризующегося, по его словам, возрастающей от-

[185] Psychiatry and Politics: A Panel.— The American Journal of Psychoanalysis, 1974, vol. 34, № 4. p. 291—292.

[186] См.: Рощин С. «Психополитика» и что за ней скрывается.— Коммунист, 1983, № 12, с. 102—112.

чужденностью граждан от собственного прошлого и вытекающими отсюда неспособностью найти связь с прошлым и будущим, разрывом между поколениями, бесплодными поисками постоянных и прочных ценностей. В этой угрожающей ситуации, подчеркивает Кенистон, «психоисторический» анализ приобретает очевидное значение для понимания современного общества и, главное, может помочь преодолению отчужденности молодых американцев, улучшению их приспособляемости к современному порядку вещей [187].

О том, как это делается в исследовательской практике, говорится в статье американского психиатра Л. Хотта «Индивидуальная агрессия и общество насилия» [188]. Остановимся на ее анализе, так как здесь особенно рельефно представлены надежды, которые возлагаются на оздоровление общества с помощью психоанализа и основанной на его использовании так называемой социальной психологии. Не претендуя на особую оригинальность, названная статья как раз и интересна тем, что выражает широко распространенные в США мнения на этот счет.

Статья содержит немало метких наблюдений, характеризующих современные Соединенные Штаты как общество насилия, доминирующей чертой которого является страсть к разрушению. При этом автору не чужд стремление выйти за рамки «чистого» психоанализа в сферу социальных отношений. Отметим, в частности, его глубокое убеждение в том, что взрыв насилия в современной Америке имеет определенную социальную подоплеку, коренящуюся в исторически сложившихся условиях жизни американского общества.

Уже одно это указывает на различие в идейных позициях Хотта и стоящей за ним довольно большой группы исследователей, высказывания которых обильно цитируются в его статье, с одной стороны, и крайних реакционеров типа Метвина — с другой. В отличие от этих последних, третирующих всякие радикальные движения как выступления патогенных, асоциальных по своей

---

[187] См.: Keniston K. Stranded in the Present—In: Varieties of Psychohistory, p. 251—255.

[188] Hott L. R. Individual Agression and a Violent Society.— The American Journal of Psychoanalysis, 1974, vol. 34, №4, p. 305—310.

природе сил, Хотт, как мы видим, признает социальную обусловленность обострения конфликтных ситуаций в современном американском обществе. Однако идейная направленность его рассуждений в конечном счете объективно совпадает с измышлениями Метвина. Подчеркнем прежде всего, что Хотт не только не проводит различия между радикальными движениями и индивидуальным насилием, но и прямо постулирует их принципиальную общность. Ибо, по его убеждению, и то и другое имеет общую почву, вытекая из конфликта между личностью и обществом, порождающего ее враждебное отношение к окружающему миру.

Сам конфликт трактуется в сугубо фрейдистском духе с широким использованием фрейдистской терминологии. Исходным пунктом этой трактовки является положение Фрейда о том, что причина насилия по большей части заключается в активном служении супер-эго так называемым высшим идеалам, таким как божество, революция, демократия и т. п., следствием чего являются человеческая агрессивность и стремление к разрушению. Развивая это положение, Хотт конструирует антагонистическое противоречие между личностью и обществом, ведущее к их враждебным взаимоотношениям. В полном соответствии с фрейдистскими канонами истоки этой враждебности усматриваются в переживаниях раннего детства, связанных с влиянием окружающей среды, обусловливающим развитие характера.

Качественная однородность индивидуального и группового насилия обусловливает, по мнению Хотта, возможности психоанализа как действенного средства социального врачевания. Обосновывая это мнение, он различает агрессивность рационально-конструктивную и иррационально-деструктивную. Последняя им решительно осуждается как форма индивидуальной и групповой агрессивности, проявляющаяся как в уголовных преступлениях, так и в различных типах социального протеста. «Ложнонаправленный, неконтролируемый компульсивный и иррациональный гнев,— утверждает он,— является причиной мятежей, войн, убийств и раздоров в мире» [189].

Этому деструктивному поведению Хотт с характер-

[189] Ibid., p. 309.

ной ссылкой на лечебный опыт психиатрических клиник противопоставляет рациональную и конструктивную агрессивность, направленную на здоровое самоутверждение без враждебных или деструктивных мотиваций. Как утверждает автор, такое состояние достигается у пациентов клиник в результате психотерапии. Этот опыт, полагает он, настоятельно необходимо перенести в сферу социальной терапии. «Так же, как мы работаем с нашими пациентами,— заявляет Хотт,— мы должны работать с обществом в целом, чтобы показать, что деструктивная, компульсивная агрессивность с ее враждебными мотивациями отличается от конструктивного спонтанного самоутверждения с его стремлением к самореализации. Если мы не верим, что человек по природе своей деструктивен, мы станем менее пессимистичны и сможем продолжать бороться за его улучшение» [190].

И далее на примерах крупнейших движений, потрясших Америку 60 — начала 70-х гг. (негритянского и студенческого), Хотт показывает возможности, которые будто бы открывает социальная психология для оздоровления буржуазного общества при сохранении его основополагающих институтов. При этом обращает на себя внимание несомненный оптимизм автора, его убеждение в действительной воможности эффективной социальной терапии — явление, не столь уж распространенное в современном американском буржуазном обществоведении. Он усиленно рекламирует психоанализ как действенное средство «социальной инженерии», способное неким чудодейственным образом сгладить многообразные конфликты в обществе насилия, превращая деструктивную агрессивность в созидательный фактор общественного развития.

Историку-марксисту очевидна вся утопичность этих претензий, являющихся очередной попыткой модернизировать капитализм, не затрагивая его устоев. Вместе с тем было бы ошибочным как в научном, так и в практически-политическом отношении недооценивать возможности воздействия социального психоанализа на массы. Последовавший в 70-е гг. известный спад радикального движения в США являлся во многом результатом массированного идеологического наступления господствую-

[190] Ibid., p. 307.

щего класса, в котором свою роль сыграли и средства социальной психологии. Надо отдать должное приверженцам социального психоанализа. Они смело берутся за острые проблемы современной Америки, пытаясь найти такое их решение, которое бы укрепило господствующую систему. Таков, в частности, их подход к вьетнамской авантюре американского империализма. Затрагивая самые мрачные стороны этой авантюры, они, однако, дают им такое истолкование, которое фактически реабилитирует кровавые преступления американской военщины.

Сошлемся на рассуждения Г. Ленгнера, взявшегося с помощью психоаналитических категорий объяснить эти преступления. Обращаясь к психоанализу некоего Боба, ветерана вьетнамской войны, убившего беззащитного старого крестьянина, автор на примере этого, по его словам, типичного американца пытается доказать, будто преступления, творившиеся заокеанскими агрессорами во Вьетнаме, имели не социальную, а чисто психологическую мотивацию. Все дело, оказывается, в том, что в «патологических обстоятельствах» вьетнамской войны пали многие барьеры, предотвращавшие выход наружу присущих человеку агрессивных импульсов. Сами же эти импульсы, как якобы показывает случай Боба, являлись продуктом определенным образом сложившихся семейных отношений, породивших сомнения молодого человека относительно своей мужественности и сделавших невозможной реализацию на родине собственной мужской роли. В данном случае, по утверждению автора, убийством вьетнамского крестьянина солдат отстаивал свою мужскую личность и восставал против собственного отца-фермера [191].

Идейный смысл такого «объяснения» особенно рельефно подчеркивают своеобразные практические рекомендации, содержащиеся в статье, впервые опубликованной в разгар американской агрессии во Вьетнаме. Называя убийство мирного жителя «инцидентом» и признавая массовый характер подобных «инцидентов», Ленгнер видит выход отнюдь не в прекращении агрессии, а в более тщательной подготовке к ней. Заявляя, что «инцидент

[191] См.: Langner H. The Making of a Murder.— In: Varieties of Psychohistory, p. 257—263.

должен определенно заставить нас усомниться в мудрости отправления (во Вьетнам.— *Авт.*) молодых и несозревших людей, которые продолжают нуждаться в руководстве в ситуации, когда они могут быть вовлечены в резню» [192], он фактически переносит вопрос в сферу практических выводов о том, кого надо посылать во Вьетнам с тем, чтобы избегать подобных «инцидентов» и сделать более эффективной саму агрессию. Так психоанализ обращается в средство, способное-де оказывать непосредственное влияние на политику американского империализма.

В числе психоаналитических категорий, имеющих в настоящее время наиболее выраженную идеологическую нагрузку, особое место принадлежит так называемому «эдипову комплексу». В современной трактовке он возвышается до принципа, символизирующего западное индивидуалистическое общество и утверждающего его превосходство над всеми другими социальными формами. Тем самым он играет роль важнейшей идеологической конструкции, оправдывающей, легитимирующей и утверждающей буржуазный порядок вещей [193].

Значение категории эдипова комплекса в современной идеологической борьбе обусловливается его ролью едва ли не основного теоретического противовеса марксистской категории классовой борьбы. Буржуазные идеологи, вынужденные сегодня признать неизбежность конфликтных ситуаций в американском обществе, утратившем, таким образом, свою мнимую исключительность, тем не менее пытаются извратить саму природу отношений, перманентно порождающих эти ситуации. Здесь-то и выступает на передний план эта категория в той интерпретации, какую она получила в современном буржуазном обществоведении. Пресловутый комплекс взаимоотношений отца и сына превратился в этой интерпретации в универсальное средство, удивительно легко и просто «объясняющее» любой социальный конфликт. Причем, чем более значительным является такой конфликт, тем охотнее буржуазные идеологи прибегают к его психоаналитическому истолкованию.

Не случайно широкое обращение к «эдипову комплексу» при трактовке революционных движений. Эта ка-

[192] Ibid., p. 262.
[193] См.: Rudolf S. H., Rudolf L. I. Op. cit., p. 154—156.

тегория в удручающе однообразной форме используется в «психоисторической» литературе практически всегда», когда требуется объяснить генезис революционных настроений того или иного исторического деятеля. И почти всякий раз оказывается, что амбивалентность чувств сына к родителям является одним из важнейших, если не решающим фактором, определившим в последующем его конфликт с обществом. Усиливая традиционную склонность буржуазного идеалистического мышления к гипертрофии роли личности в истории, такое «объяснение», к тому же, как правило, не подкрепляемое серьезными доказательствами, извращает действительную природу революционных потрясений. Фактически снимается проблема их объективных предпосылок, а следовательно, и их исторической закономерности. Такая постановка вопроса позволяет буржуазным идеологам совершать своеобразную подмену понятий. Место «неудобной» для них проблемы социальной обусловленности борьбы против господствующего класса занимают спекулятивные рассуждения о человеческой природе вообще, генерирующей конфликты в обществе, независимо от существующего в нем социального строя.

Категория эдипова комплекса стала своеобразным методологическим обоснованием модной теории борьбы поколений, занимающей в настоящее время видное место в идеологическом арсенале буржуазного обществоведения[194]. С позиций этого комплекса рассматривает-

[194] Марксистскую критику этой теории и ее фрейдистской основы см.: Кон И. С. Студенческие волнения и теория «конфликта поколений». — США: экономика, политика, идеология, 1971, № 3, с. 27—40; Мозговая Э. Я. Противоречивый характер преемственности поколений в капиталистическом обществе и социальная сущность теорий «конфликта поколений».— В кн.: Преемственность поколений как социологическая проблема. М., 1973, с. 76—115; Иконникова С. Н. Молодежь. Социально-психологический очерк. Л., 1974. 166 с.; Алексеенко А. П., Свидло Н. С. Современный социальный статус молодежи и буржуазная концепция «конфликта поколений».— В кн.: Критика буржуазных и ревизионистских концепций о роли молодежи в общественном развитии. М., 1974, с. 128—132; Давыдов Ю. Н. Эстетика нигилизма. М., 1975. 271 с. Он же. Социология контркультуры. М., 1980. 264 с.; Косенко Е. И. Молодежь в современном американском обществе. М., 1977. 255 с.; Решетов П. Н. «Поколенческий подход» в исследованиях молодежи в капиталистических странах.— В кн.: Актуальные вопросы историографии международного молодежного движения. М., 1977, с. 243—250 и др.

ся прежде всего молодежное движение. Психоаналитическое исследование современного молодежного движения заслуживает специального критического рассмотрения. Здесь же мы хотели бы только подчеркнуть, что оно преследует очевидную цель: подменить социальный анализ конфликтов, представляющих опасность для правящих кругов США, биологическим, извращая тем самым их действительный характер. Когда, например, заявляется, что студенческое возмущение коренится в отношении отец — сын, имея своим истоком гнев ребенка, порожденный родителями, которые расстраивают его желания и поступают с ним несправедливо, когда утверждается, что этот гнев может сохраняться всю жизнь, обращаясь в восстание против авторитета, в котором находит свое выражение ярость детей, утративших иллюзии вследствие неудач своих отцов [195], проблема протеста американской молодежи переносится в совершенно иную плоскость. Но это объективно служит реабилитации капиталистического общества, так как внушается мысль, что раздирающие его противоречия и конфликты якобы имеют не социальную, а биологическую природу. При этом настойчиво подчеркивается, что такого рода конфликты и противоречия вследствие самой природы человека присущи любому обществу на определенной стадии его развития, являясь в такой же мере принадлежностью мира капитализма, как и социализма.

В современной идеологической борьбе американская «психоистория» с помощью своих специфических средств решает двуединую задачу. С одной стороны, «психоисторики» извращают действительную природу буржуазного общества, пытаясь внушить своим читателям веру в его жизнестойкость, отсутствие органических пороков в его структуре и связанную с этим способность к дальнейшему развитию и в то же время снять с него ответственность за наиболее мрачные страницы истории нашего времени, с другой — в их работах дискредитируются противники капиталистического строя, при этом особенно негативная оценка дается революционным движениям и их вождям. Подобно лакмусовой бумаге она особенно отчетливо обнажает идейную направленность современной американской «психоистории».

[195] См.: Feuer L. S. The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movements. N. Y., 1969. 550 p.

Глава II

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ «ПСИХОИСТОРИИ»

1. Возникновение «психоисторической» революциологии

Проблема революции является одним из распространенных сюжетов в современной американской буржуазной «психоистории». Несомненно, это обусловливается влиянием, которое оказывает действительность второй половины нашего столетия на буржуазное обществоведение в целом. Сами буржуазные исследователи значение, которое приобрела эта проблема в историческом изучении, объясняют прямым влиянием революций на формирование облика современного мира [1].

Буржуазная революциология представлена широким спектром интерпретаций социальных революций [2]. Немалое место в нем занимают и попытки вывести революции из психики людей [3]. Имевшие еще в недавнем прошлом спорадический характер, эти попытки к 60—70-м гг. нашего века привели к складыванию целого течения: на Западе заговорили о «психоистории» револю-

[1] Zagorin P. Theories of Revolution in Contemporary Historiography.—Political Scince Quarterly, 1973, vol. 88, № 1, p. 24.

[2] См.: Красин Ю. А. Революцией устрашенные: Критический очерк буржуазных концепций социальной революции. М., 1975, с. 21; Он же. Революционный процесс современности. М., 1981, 270 с.

[3] Проблемы психологического подхода в изучении социальных революций буржуазными обществоведами рассматриваются в исследованиях М. В. Максимова, М. Л. Гавлина, Л. А. Казаковой, которые, однако, не касаются «психоисторической» литературы. См.: Максимов М. В. Критика некоторых современных буржуазных концепций социальной революции: Автореф. дис. ...канд. филос. наук. М., 1981. 18 с.; Гавлин М. Л., Казакова Л. А. Современные буржуазные теории социальной революции. М., 1980. 165 с.; Проблема «психоисторического» подхода к социальной революции в буржуазной историографии впервые была поставлена в работах В. И. Салова. См.: Салов В. И. Историзм и современная буржуазная историография. М., 1977, с. 253 и др.

ции [4]. Возникновение последней связано с внутренними закономерностями изучения социальной революции в буржуазной науке. Питательной почвой для оформления нового течения в буржуазной революциологии явились тенденции к рассмотрению революционного процесса как иррационального и непознаваемого [5]. Имманентно присущие как историографии прошлого, так и исследованиям современных буржуазных авторов, эти тенденции свидетельствуют о принципиально неизменном социально-функциональном назначении буржуазной революциологии.

Однако ссылками на наличие указанных тенденций в буржуазной историографии не исчерпывается ответ на вопрос о причинах сегодняшнего бурного развития «психоисторической» революциологии. Чтобы он был более полным, необходимо выяснить конкретные предпосылки становления «психоисторического» подхода к проблемам революции. Учет их наряду с анализом различных «психоисторических» интерпретаций социальных революций позволит также решить проблему определения места «психоисторического» направления в буржуазной революциологии в целом.

Складыванию «психоисторической» тенденции истолкования революций способствовала сама действительность 60—70-х гг. XX в., обнаружившая огромный революционный потенциал современной эпохи. Наряду с традиционными формами эти годы были отмечены и новыми проявлениями революционной борьбы. Так, например, взрыв молодежного протеста оказался не только неожиданным, но во многом и непонятным явлением для буржуазных исследователей. Признав, что студенческие выступления «расширили спектр революции» [6],

[4] Mount F. Revolutionaries: Their Mind, Body and Soul. — Encounter, 1977, vol. 49, № 6, p. 61.

[5] См.: Political Studies, 1980, vol. 28 № 3, p. 178.

[6] См.: Salert B. Revolutions and Revolutionaries: Four Theories. N. Y., 1976, p. 2. Характер студенческих выступлений современности доказывает, что происходит постепенный процесс превращения этого резерва интеллигенции в оппозиционную капиталистическому строю силу. Совершаются существенные качественные изменения в студенческом движении, такие, как создание общественно-политических организаций, тесно связанных с рабочим движением, усиление интереса к марксистско-ленинскому учению, постепенное освобождение значительных слоев студенчества от антикоммунистических предрассудков. Подробнее см.: Булатецкий Ю. Е. Революционный процесс и молодежь стран капитала. Киев, 1980. 198 с.

они в то же время заговорили о неудовлетворительности традиционных представлений о носителях «революционного духа».

Большинство из них испытывало весьма существенные трудности в решении вопроса, который мы приведем в формулировке Ф. Маунта: «Почему студенты, выходцы из средних слоев, которые не являются ни эксплуатируемыми, ни преследуемыми, а, напротив, являются кронпринцами капиталистической массовой демократии, оказались союзниками низших слоев?» [7]. Достаточная материальная обеспеченность большей части новых оппонентов буржуазного общества, не соответствовавшая стереотипным представлениям буржуазных обществоведов о бунтующих как лишенных и обездоленных, поставила их в тупик. Появились теории сексуальной революции, конфликта поколений, возникновения контркультуры, нового сознания, отразившие неспособность буржуазной историографии понять и объяснить современный мировой революционный процесс в его новых ракурсах и формах.

Эти теории и концепции пересекались в одном существенно важном моменте — признании психологических факторов, прежде всего, бессознательного в качестве основы революционной активности в современную эпоху. Отсюда закономерно вытекало признание психоаналитического метода если не решающим, то по крайней мере одним из существенных средств исследования революционных и радикальных движений.

В последнем многие усматривали и новую альтернативу диалектико-материалистическому методу марксистского анализа революций. На том основании, что главными мотивами революционной деятельности в наши дни являются якобы мотивы нематериального порядка, «психоисторики» потребовали пересмотра «традиционного марксизма» «с точки зрения субъективного психологического измерения революционного процесса» [8].

Напомним, что заявления о необходимости устранения марксистско-ленинской теории социальной революции со стороны буржуазных исследователей всегда в ко-

---

[7] Mount F. Op. cit., p. 69.

[8] См.: Brown B. Marx, Freud and Critique of Everyday Life toward a Permanent Cultural Revolution. N. Y., 1973, p. 15.

нечном счете имели своей посылкой отрицание производственных отношений, экономики как решающего фактора исторического развития. В современных же условиях образовалась питательная почва для нового похода против марксистской теории революций. Дело в том, что в авангарде революционной борьбы в 60-е гг. в США в силу ряда конкретно-исторических причин оказалась молодежь, студенчество прежде всего[9]. Причем важной предпосылкой взрыва молодежного протеста явилась не преходящая экономическая конъюнктура, но чрезвычайно обострившийся духовный кризис (наряду с социально-политическим). В этих моментах, отразивших современный процесс усложнения системы опосредования базисных и надстроечных явлений и увеличения роли идейно-психологических факторов в общественной жизни, и заключалась возможность для наукообразных нападок на марксистское положение о материальной обусловленности революций, трактуемое буржуазными авторами в вульгарно-экономическом духе.

В новых условиях современного этапа революционной борьбы, возводя отрицание указанного положения в основной постулат, «психоисторики» оказались на переднем крае борьбы с марксистской теорией революции.

Толкование природы современного революционного процесса с позиций психоаналитической теории бессознательного неизбежно сказалось и на интерпретации проблем социальной революции в прошлом. Важно отметить, что проникновению психоанализа в буржуазную революциологию в немалой степени способствовала слабая изученность психической жизни людей вообще и социально-психологических аспектов проблемы революции в частности[10]. Перед буржуазными исследователями открылись широкие возможности для спекуляции на этих проблемах особенно в условиях воз-

[9] Подробнее см.: Новинская М. И. Студенчество США: Социально-психологический очерк. М., 1977. 213 с.

[10] Не являлась исключением буквально до недавних пор и советская историография. Однако, обратившись в последние годы к исследованию указанных проблем, советские историки, отмечает Г. Л. Соболев, опровергли заявления буржуазных авторов о несовместимости марксистского анализа революции с социально-психологическим подходом в изучении их. См.: Соболев Г. Л. Проблемы социальной психологии в новейших исследованиях Октябрьской революции.— В кн.: Великий Октябрь в советской и зарубежной исторической литературе. Тбилиси, 1980, с. 157—169.

растающего на Западе стремления к интегральному историко-психологическому подходу к ним.

Как известно, попытки психологического истолкования революционных движений, как правило, направленные на их дискредитацию, имели место в буржуазной литературе и раньше. Достаточно вспомнить И. Тэна, трактовавшего Великую французскую революцию как бунт черни, дикого стада, развращенного просветительской философией, а ее деятелей — как психически ненормальных, помешанных на отвлеченных идеях[11]. Научная несостоятельность такой интерпретации была настолько очевидна, что вызывала критику даже со стороны современников Тэна, неискушенных в области историко-психологического жанра.

Современная психологизация революционных движений буржуазными учеными носит более изощренный характер, претендуя, в частности, с помощью психоанализа на естественнонаучную точность в их объяснении. Появление теоретически оформленной концепции в лице психоанализа привело не только к тому, что поднялись акции сторонников применения психологических методов в истории и, соответственно, возросло число приверженцев этого направления, но и к увеличению возможностей наукообразной спекуляции на явлениях, представляющих действительный интерес для историков.

Сказанное, конечно, не означает, что «психоисторическое» течение в изучении социальных революций представлено исключительно спекулятивными исследованиями. Среди «психоисториков», как мы видели, есть и серьезные исследователи. Некоторые из них, пытаясь решать указанную проблему в историко-психологическом контексте, искренне преследуют цель более полного и всестороннего освещения ее. Однако их ориентированность в методологическом плане на различные течения буржуазной социологии в конечном счете обусловливает научную несостоятельность претензий на интегральное решение проблемы.

Подчеркивая необходимость критической оценки этих

---

[11] См.: Тэн И. Происхождение современной Франции. Спб., 1907, т. 2—4. Как правильно отмечают исследователи, перечень его психологических типов всецело продиктован политической тенденциозностью автора. См.: Белявский И. Г., Шкуратов В. А. Проблемы исторической психологии. Ростов н/Д, 1981, с. 62.

притязаний, акцентируем внимание на моментах, которые выдвигаются на передний план в связи с постановкой «психоисториками» проблемы социальной революции как историко-психологической проблемы. Элементы политической спекуляции, присущие этим исследованиям, не снимают вопрос об их объективной значимости. Обращение к таким сюжетам, как психологическое состояние людей в период революционного кризиса, эмоциональный уровень поведения личности и масс в революции, заслуживает внимания историка, занимающегося проблемой социальной революции. Это, с одной стороны, диктуется необходимостью исследования всего комплекса обстоятельств, обусловливающих возникновение и развитие той или иной революции, с другой — сам интерес к подобного рода вопросам определяется характером развития социальных процессов современности. Революционный характер современной эпохи обусловливает не только усилия по дискредитации революционных движений со стороны буржуазных исследователей, но и определенные попытки действительно разобраться в их природе, что невозможно без учета их социально-психологических аспектов. Однако предпринимаемые «психоисториками» в этом направлении поиски не могут привести к искомому результату, так как их ориентиром служит порочная установка на опровержение идеи исторической неизбежности и закономерности революций как переходных этапов к качественно новым социальным эпохам в историческом процессе.

Оперируя понятием «психоисторическая» революциология и подразумевая под последней течение в буржуазной революциологии, интерпретирующее проблемы социальной революции с позиций психоанализа, мы должны сделать определенную оговорку. Дело в том, что «психоисторическое» течение в буржуазной революциологии, несмотря на обилие исследований, касающихся тех или иных проблем социальной революции, оказалось не в состоянии на сегодняшний день дать единую теорию революции. Однако отсутствие таковой, на наш взгляд, не ставит под вопрос правомерность понятия «психоисторическая» революциология, поскольку существует особое течение в буржуазной историографии социальной революции, объединенное некоторыми

общими концептуальными положениями и принципами, о которых и пойдет речь в этой главе.

Основой «психоисторического» подхода к проблеме социальной революции в буржуазной историографии являются субъективный психологизм и антимарксистская направленность. Эти черты особенно рельефно прослеживаются во фрейдистском течении «психоисторической» революциологии, с характеристики которого мы и начнем анализ поднятой проблемы. Этого требует прежде всего хронология становления «психоисторического» подхода к проблеме социальной революции.

Первые попытки «психоисторического» анализа революций носили откровенно фрейдистский характер. Несмотря на несомненную одиозность этих попыток и их уязвимость для критики, все же нельзя оставить их без внимания. Лишь с учетом характера последних можно осветить проблему эволюции «психоисторической» революциологии и выяснить общую картину ее современного состояния, так как фрейдистские интерпретации не изжиты в ней и по сей день. Ранее уже отмечалось, что становление «психоисторической» революциологии можно датировать 60-ми гг. нашего столетия. (Имевшие место в 20-е годы первые попытки психоаналитического анализа революций были настолько робкими, что не могли привести к оформлению отдельного течения [12]). Бурные события 60-х гг., взрыв студенческого протеста, рост радикализма создали в некотором смысле шоковую ситуацию в среде буржуазных ученых. Инстинкт социального самосохранения проявил себя в интерпретациях, трактовавших эти события как деструктивные, иррациональные. Господствовавший в то время в американской «психоистории» фрейдизм во многом способствовал не только закреплению таких трактовок, но и тому, что формируется отношение к революции как к компульсивному, иррациональному взрыву насилия, вызванному патологическими условиями [13].

[12] См. напр.: Harlow R. V. A Psychological Study of Samuel Adams.—Psychoanalytic Review, 1922, № 9, p. 418—428. Об элитарно-психоаналитической модели причин революции Л. Эдвардса см.: Салов В. И. Революционный процесс и современная буржуазная историография.—Новая и новейшая история, 1981, № 1, с. 79.

[13] См.: Feuer L. S. The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movements. N. Y, 1969. 550 p; Idem

«Психоисторики»-фрейдисты определяли статус революций как исключительно деструктивных явлений, свидетельствующих о болезненном состоянии общества. Как утверждал Л. Хотт, Великая французская, Октябрьская и Американская революции, наряду с мировыми войнами, являются свидетельством того, что общество обладает потенциалом насилия и враждебности [14]. Все революции рассматривались наряду с другими деструктивными, в толковании «психоисториков», явлениями в рамках «технологии социального разрушения» [15].

Идейно-политический подтекст фрейдистских интерпретаций революций обнаруживается и в делении последних на «спонтанные» и «планируемые». Ю. Метвин считает, что «век организуемой революции» начался с эпохи В. И. Ленина, причем «лабораторию урбанистской и революционной социологии» он видит в Великой французской революции [16]. Деля революции на «спонтанные» и «планируемые», Р. Уелдер начало эпохи последних датирует Великой Октябрьской революцией [17].

В соответствии с основными положениями буржуазного обществоведения этот «психоисторик» развивает свою мысль следующим образом. Жизненный уровень рабочих в век прогресса настолько возрос, что они утратили всякую революционность. И это стало очевидным, утверждает Р. Уелдер, уже в конце XIX в. и отразилось в основных идеях В. И. Ленина, который будто бы считал русский рабочий класс неспособным на самостоятельные революционные действия и поэтому разработал теорию элитарной большевистской партии, призванной совершить революцию. Большевики, которые первоначально осудили М. Бакунина, впоследствии приняли бакунистскую стратегию, заявляет «психоисторик».

Generational Upheaval as a Pathological Factor in History.—In: The Youth Revolution.../Ed/by A. Esler 1974, p. 141—149; Methvin E. H. The Riot Makers: The Technology of Social Demolition. N. Y., 1970. 586 p.; Idem. The Rise of Radicalism: The Social Psychology of Messianic Extremism. N. Y. 1973. 584 p.

[14] Hott R. H. Individual Aggression and Violent Society.—The American Journal of Psychoanalysis, 1974, vol. 34, № 4, p. 308.

[15] Methvin E. H. The Riot Makers, p. 50.

[16] Ibid., p. 288, 481.

[17] Waelder R. Progress and Revolution: A Study of the Issues of Our Age. N. Y., 1967, p. 279.

Он пишет: «Ленин-марксист принял на деле бакунистскую стратегию и создал большевистскую партию не как массовую организацию, а как кадровую элиту профессиональных революционеров, профессиональную армию революции» [18].

Заметим, что сущность бакунизма как политической концепции заключается не в признании роли профессиональных революционеров, а в том, что он ориентировал на создание замкнутой политической организации революционеров, лишенной классовой базы. Большевики же в борьбе за власть опирались на рабочий класс, на трудящиеся массы. Несомненно, в партии были профессиональные революционеры, но это не означает, что Октябрьская революция была делом элиты, как это пытается представить Р. Уелдер, фальсифицируя сущность ленинской теории социалистической революции. Относя Октябрьскую революцию к категории «планируемых», он тем самым отрицает ее объективную закономерность.

Несостоятельность предложенного «психоисториками» типологического деления революций по принципу их планируемости в первую очередь определяется тем, что такое деление прямо подразумевает существование «незакономерных» революций, не обусловленных объективными условиями жизни общества. Научная несостоятельность таких представлений давно уже развенчана марксистской наукой. Основоположники марксизма-ленинизма сформулировали существо научного подхода к проблеме соотношения целенаправленной революционной деятельности людей и объективной закономерности возникновения и развития революций. В. И. Ленин писал: «Марксизм отличается от всех других социалистических теорий замечательным соединением полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объективного хода эволюции с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс,— а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами» [19].

---

[18] Ibid., p. 231, 267, 279.

[19] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 23.

Марксистская наука видит в положениях ленинской революционной теории, акцентирующих роль воли, сознания, идейно-организационной подготовленности масс в революциях современной эпохи, научный учет реалий последней. Буржуазное же обществоведение, фальсифицируя сущность этих положений, пытается представить революции современности как явления беспочвенные, вызванные к жизни волюнтаристской деятельностью отдельных личностей и групп.

Эти попытки весьма активизировались в наши дни, что находится в прямой зависимости от характера революционных событий современности. «Психоисторики» вносят свой вклад в «обоснование» положения о современных революциях как «планируемых» и потому незакономерных. Наполняя общетеоретические постулаты буржуазной революциологии конкретным содержанием, фрейдисты занимаются откровенной дискредитацией революций, называемых ими планируемыми. Так, например, Великая Октябрьская революция преподносится как явление, производное от деятельности В. И. Ленина, обуреваемого якобы «компульсивной жаждой насилия» [20].

Констатируя очевидную неправомерность типологического деления революций в соответствии с критерием планируемости, следует, однако, признать, что по сравнению с революциями современности, обнаруживающими высокий уровень идеологической и организационной подготовленности, революционные движения прошлого отличают большая степень стихийности, спонтанности, а в известном смысле и превалирование бессознательного, эмоций над сознанием [21].

Такое различие имеет вполне материалистическое

[20] Methvin E. H. The Rise of Radicalism, p. 225, 261.

[21] В соответствии с этим, по-видимому, следует особо подчеркнуть необходимость исследования проблемы революционных движений прошлого в социально-психологическом ракурсе с учетом роли и значения коллективного бессознательного в них. Такого же мнения придерживается Н. В. Бочарова, отмечая особое значение изучения специфики массовой психологии пролетариата на раннем этапе его истории, поскольку двигателем первых классовых выступлений рабочих (например, луддизма в Англии, восстания силезских ткачей в Германии) были не идеологические установки, а психологические мотивы. См.: Бочарова Н. В. К вопросу об изучении социальной психологии пролетариата на раннем этапе его истории.— Вопросы германской истории. Днепропетровск, 1981, с. 120—127.

объяснение. Дело в том, что на различных ступенях исторического развития «соотношение различных форм и уровней общественного сознания, элементов стихийности и сознательности не оставалось неизменным»[22]. Так, например, во времена Великой французской революции у санкюлотов не было сложившейся идеологии и в этом смысле не было классового сознания. «Их объединяли и вели на борьбу,— отмечают советские исследователи А. И. Горячева и М. Г. Макаров,— чувства голода, ненависти к аристократам, стремление к равенству, любовь к родине»[23].

Возросшее значение роли субъективного фактора в эпоху современных революций объясняется увеличением в процессе исторического развития удельного веса идеологии в общественном сознании, во многом определяющим и активизацию буржуазной политической и идеологической надстройки. Отметим, однако, что такое возрастание удельного веса идеологии в общественном сознании означает не уменьшение значимости социальной психологии в общественной жизни, а лишь большую подчиненность ее идеологии[24].

Что же касается «планируемости» революций, то она в определенных видоизменяющихся формах сопровождает историю революций на всем ее протяжении. В ходе политической истории, отмечает Ю. А. Шерковин, революционная деятельность (наряду со многими другими видами деятельности) «с большей или меньшей тщательностью подготавливалась деятельностью пропагандистской, побуждавшей массы людей к психологическому отражению действительности определенным образом»[25].

Эта деятельность имеет успех лишь в тех случаях, когда революционные слои находятся в состоянии психологической готовности к революционным действиям. А последняя, в свою очередь, определяется прежде все-

---

[22] Гуревич А. Я. Некоторые аспекты изучения социальной истории.— Вопросы истории, 1964, № 10, с. 54.

[23] Горячева А. И., Макаров М. Г. Общественная психология. Л., 1979, с. 153.

[24] Гуревич А. Я. Указ. соч., с. 54.

[25] Шерковин Ю. А. Пропаганда: социально-психологический аспект.— В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975, с. 186.

го объективными условиями вызревания революции [26]. Именно эти условия и игнорируются «психоисториками» фрейдистского толка. Так, пытаясь обосновать излюбленный в реакционной историографии тезис о террористической природе современного революционного движения, Ю. Метвин утверждает, что коммунисты XX в., «пионеры социального разрушения», поняли, что необходимыми и достаточными условиями возникновения революций являются следующие два: экономические или психологические поводы для недовольства (причем неважно, реальны для него основания или воображаемы) и пропаганда [27].

Отсюда неудивительны бытующие во фрейдистской «психоистории» трактовки причин революций. В большинстве своем они сводятся к деятельности определенных исторических личностей, объясняемой особым психологическим складом последних. Так, например, причины Американской революции Р. Харлоу выводит из деятельности С. Адамса, определявшейся присущим якобы Адамсу психологическим комплексом [28]. Истоки русской революционной традиции А. Улам усматривает в деятельности трех исторических личностей (Николая I, А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского), которая также трактуется как результат особого психологического опыта указанных лиц [29].

В этих работах «новейший» психологический подход органически сливается с традиционным идеалистическим пониманием истории, акцентируя и усиливая его самые слабые и ненаучные стороны. Показателен в этом смысле ход рассуждений Ю. Метвина о Ж.-Ж. Руссо. Автор вслед за Наполеоном говорит, что «без него не было бы французской революции» [30], а без этой последней, как следует из всей авторской концепции, не было бы и всех последующих социальных потрясений.

Метвин разделяет давно высмеянный даже в буржуазной литературе взгляд, уподобляющий идеи неким

[26] Подробнее см.: Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979, с. 51—54.

[27] Methvin E. H. The Riot Makers, p. 288.

[28] См.: Harlow R. V. Op. cit.; Idem. Samuel Adams: Promoter of the American Revolution. N. Y., 1975. 378 p.

[29] См.: Ulam A. In the Name of the People: Prophets and Conspirators in Prerevolutionary Russia. N. Y., 1977, p. 19.

[30] Methvin E. H. The Rise of Radicalism, p. 40.

инфекционным болезням, внезапно поражающим весь общественный организм и вызывающим в нем радикальные перемены[31]. Подобно кометам, прорывающимся в нашу солнечную систему из темного универсума, идеи, заявляет он, подчеркивая этим сравнением некий не зависящий от естественного хода вещей космический характер обрушивающихся на людей идей, внезапно завладевают душами людей, предвещая великие события[32]. Иногда, продолжает «психоисторик», такие идеи кажутся запрограммированными к появлению в данный исторический момент, в другие же времена они появляются случайно и порождают перемены, изменяющие мир.

Именно такой случайный по своему происхождению характер носит идея Руссо о том, что человек по своей природе добр и только социальная среда является источником его порчи. От этой идеи, заключает Метвин, был только короткий шаг к радикальному убеждению о необходимости во имя блага человека разрушить существующее общество[33]. «Рассуждение о неравенстве...», где эта идея получила свое обоснование, провозглашается одним из самых ранних выражений доктрины классовой борьбы и даже марксистского учения о государстве и вместе с тем «одним из самых ранних и ясных выражений базисного психологического компонента современного коммунизма и радикализма: абсолютной нигилистической веры, что все существующее общество... должно быть разрушено»[34].

Так постулируется цепь, ведущая от Руссо к современности, первым звеном которой является историческая случайность. Естественно, что все усилия Метвина направлены на борьбу против этой «случайности». Обнажая их классовый смысл, он забавно жалуется, что Руссо «не понял ценности предпринимательства»[35]. Во имя защиты основанного на подобных ценностях общества он и ополчается против самой идеи социальной революции и ее носителей, начиная с Руссо. Причем глав-

[31] См., напр.: Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1907, с. 20—21.
[32] Methvin E. H. The Rise of Radicalism, p. 40.
[33] Ibid., p. 41.
[34] Ibid., p. 44.
[35] Ibidem.

ным средством очернения социальной революции избирается психоаналитический метод, с помощью которого дискредитируется прежде всего сама личность Руссо. В изображении автора он выступает явным психопатом-иррационалистом, отягощенным к тому же сексуальными извращениями. Естественно, что все это по законам классического психоанализа выводится, правда без особых доказательств, из обстоятельств трудного детства Руссо. Затем в строгом соответствии с этими же законами теория великого французского просветителя объявляется продуктом его возрастающей психопатологии[36].

В такой интерпретации не остается места для какого бы то ни было анализа социально-экономической действительности предреволюционной Франции. Если она и упоминается (крайне редко), то лишь в качестве пассивного объекта воздействия зловредных идей психопатологического происхождения. Неудивительно поэтому, что и сама Французская революция объявляется результатом воспламенения «пылким Робеспьером» идей Руссо[37].

Подобного рода трактовки причин революций — явление типичное во фрейдистской революциологии, ключевым тезисом которой можно считать следующее утверждение известного американского «психоисторика» Л. Фойера: в любом обществе агентами социального изменения выступают психоэтические мотивы, которые независимы от социально-экономических основ общества и являются «первичными историческими силами»[38]. В соответствии с ним исходным моментом анализа революционной идеологии и практики, революций вообще объявляется анализ индивидуальной или коллективной психологии.

Познакомимся поближе с принципами этого анализа. Согласно фрейдистским канонам первичной задачей историка, как и психоаналитика, должен являться поиск мотивов деятельности личности. Исходя из посылки примата бессознательного в личности большинство «психоисториков» вслед за Г. Лассуэллом ограничивают этот

---

[36] Ibid., p. 45—54.

[37] Ibid., p. 57. Впрочем, на с. 60—61 причины революции возводятся к плохим урожаям 1787—1788 гг., росту цен и слабости режима, его негибкости и т. п.

[38] См.: Feuer L. S. Generational Upheaval as a Pathological Factor in History, p. 142.

поиск сферой частных мотивов — потребностью компенсировать чувство собственной ущемленности, низкого самоуважения и стремлением к власти, которые, согласно Лассуэллу, проецируются на социальный объект и рационализируются в знаках общественного интереса [39].

В. Вольфенстейн, развивая тезис Г. Лассуэлла, полагает необходимым искать истоки революционности любой личности в ее неспособности справиться с собственным психологическим кризисом, в «эдиповой ситуации детства», которая, по его мнению, является исходной стадией формирования в личности импульсов к революционному действию [40].

Поскольку революционная личность рассматривается фрейдистами как продукт аномалий детского опыта, главным образом семейного происхождения, то анализ жизнедеятельности этой личности начинается с поиска таковых.

В качестве типичного примера приведем исследование В. Бланчарда «Руссо и дух восстания» [41]. Автор его полагает, что для правильной оценки личности и деятельности Ж. Ж. Руссо главное внимание должно быть уделено его детским годам, в которые якобы сформировался у будущего мыслителя некий садо-мазохистский комплекс. Для Бланчарда немаловажным представляется тот факт, что маленький Жан Жак был очень похож на свою мать, умершую вскоре после родов. Отец, любивший ее, с одной стороны, как утверждает автор, не мог простить сыну факта его рождения, послужившего причиной смерти жены, а с другой — испытывал к сыну, напоминавшему ему жену, чувство большее, чем отцовская привязанность. Взаимная амбивалентность чувств отца и сына, заключает «психоисторик», послужила питательной почвой для формирования основных черт комплекса будущего просветителя — мученичества, сильных агрессивных импульсов, приведших впоследствии к идеям несправедливости существующих общественных отно-

[39] Подробнее см.: Rejai M., Phillips K. Leaders of Revolution. L., 1973, p. 28—29.

[40] См.: Wolfenstein V. The Revolutionary Personality. Princeton, N. Y., 1973, 373 p.; Idem. Some Psychological Aspects of Crisis Leadership.—In: Political Leadership in Industrialized Societies. N. Y., 1967, p. 176, 177.

[41] См.: Blanchard W. Rousseau and the Spirit of Revolt: A Psychological Study. The University of Michigan Press, 1967. 267 p.

шений, которые оказали, пишет Бланчард, глубочайшее воздействие на весь дальнейший ход французской истории[42]. В основе социальной теории Руссо с ее стремлением к социальной справедливости лежало, делает вывод Бланчард, бессознательное стремление добиться справедливости для себя, а за симпатиями к французскому крестьянству крылись страдания психологически угнетенного Руссо, перенесенные на этот класс общества[43].

Как видим, мотивы революционных поисков Ж. Ж. Руссо трактуются В. Бланчардом как лишенные всякого классового содержания. «Правдоискательство» и борьба против социальной несправедливости объясняются экстраполированными на общество отношениями Ж. Ж. Руссо с отцом-тираном. В основе идей мыслителя, пишет американский «психоисторик», лежали фантазии, спроецированные на окружающий мир, и в этих фантазиях отражалась способность Руссо видеть в вещах и явлениях нечто большее, чем то, что они представляли на самом деле[44]. Бланчард игнорирует реальные проблемы и противоречия французского общества того времени, реакцией на которые были идеи Руссо[45], и выводит последние из бессознательного психологического опыта просветителя.

Представления В. Бланчарда обнаруживают полное созвучие духу давней традиции психологизации истории. Исследований подобного рода у американских «психоисториков» немало, и они свидетельствуют, что традиция эта не прекратила своего существования. Напротив, она приобрела наукообразную форму во многом благодаря использованию определенных возможностей психоанали-

---

[42] Ibid., p. 7, 9, 15, 59.

[43] Ibid., p. 51, 52, 71, 134.

[44] Ibid., p. 15, 66.

[45] Социальная обусловленность мировоззрения Руссо убедительно показана в марксистской исторической литературе. См.: Манфред А. З. Три портрета Великой французской революции. М., 1978. 440 с. В понимании же Бланчарда, социально-исторические проблемы того времени исчерпывались проблемами налогообложения и «противоестественного» характера отношений французского общества. Последний, согласно автору, был обусловлен стремлением Людовика XVI лишить знать власти путем создания особой атмосферы королевского двора. «Искусственность» отношений проникла из Версаля в провинцию. Все это, вместе взятое, способствовало непринятию Руссо окружающей действительности.— См.: Blanchard W. Op. cit., p. 42—45.

тического метода. Сразу же оговоримся, что вопрос о возможностях этого метода дискутируется на уровне многих научных дисциплин[46] и является большей частью невыясненным, особенно в отношении исторического исследования. Некоторые результаты этот метод действительно может дать, однако они не соответствуют широковещательным претензиям тех «психоисториков», которые рассматривают его как ключевой для исторического объяснения, как это делают представители фрейдистского течения.

Для иллюстрации вернемся к «психоисторическому» анализу личности Ж.-Ж. Руссо В. Бланчардом. На основе исследования его жизненного опыта «психоисторик» устанавливает с помощью указанного метода наличие чрезвычайно значимой психологической особенности характера Руссо — бессознательной идентификации себя со страдающими, позволяющей воспринимать страдания других как свои собственные[47].

Вполне допустимо, что в этой психической особенности личности Руссо действительно заключается тот скрытый механизм, с помощью которого реализовались его симпатии и стремления помочь обездоленным и угнетенным. Но автор не ставит вопроса о том, были ли объективные основания для такого сострадания и в чем они заключались, от ответа на который могла бы потянуться ниточка дальнейшего анализа. А такие основания были — существовавший не в фантазии Руссо, а в действительности мир сословного неравенства, народных бедствий, с которым Руссо пришлось близко столкнуться в своих скитаниях по Франции. Отсюда же был вынесен и тот жизненный опыт, под влиянием которого сформировалось мировосприятие Руссо, его способность остро чувствовать страдания обездоленного и угнетенного народа[48].

Это всего лишь один пример того, как используется психоаналитическая интерпретация проблемы, чтобы поставить ее решение с ног на голову. Но он весьма показателен. Именно с помощью подобного рода фрейдист-

[46] См., напр.: Бессознательное: Природа, функции и методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 1, 786 с., т. 2, 686 с.; т. 3, 796 с.

[47] Blanchard W. Op. cit., p. 58.

[48] См.: Манфред А. З. Указ. соч., с. 42—45.

ских спекуляций на вопросах, которые представляются необходимыми для более полного исторического объяснения, и строятся всевозможные фальсификаторские конструкции. Утверждается, что в деятельности Робеспьера нашла выход его глубокая ненависть к отцу и полному лишений детству [49]. Революционность М. Бакунина объясняется «недисциплинированной энергией импотента», каковым объявляется этот выдающийся деятель русского революционного движения [50]. Причины и сущность философии марксизма выводятся из приписываемого К. Марксу прометеева комплекса ненависти и борьбы [51].

От подобного рода характеристик остается всего один шаг до клинического диагностирования, и «психоисторики»-фрейдисты делают его, широко используя в своей историографической практике медицинскую терминологию. Параноиком объявляется Руссо, утверждается, что «психическая слабость Руссо в большой мере определяла его деятельность» [52]. Теория общественного договора классифицируется как типичный пример параноидальных взглядов авторитарной личности [53]. Робеспьер, Сен-Жюст, Бабеф рассматриваются как представители тоталитарного мессианского темперамента с параноидальными чертами [54]. Параноидальными объявляются идеи Кромвеля [55].

Этот перечень примеров очернения революционных мыслителей и деятелей можно легко продолжить. Также легко выявить и причины популярности клинического диагностирования у «психоисториков» фрейдистского течения, тем более что о них открыто говорят некоторые

---

[49] Bychowsky G. Dictatorship and Paranoja. —Psychoanalysis and Social Science/Ed. by W. Mensterberger, S. Axelrod. N. Y., 1955, vol. 4. p. 130.

[50] Lavrin J. Bakunin the Slav and the Rebel. —The Russian Review, 1966, vol. 25, № 2, p. 135.

[51] Feuer L. S. Karl Marx and Promethean Complex.—Encounter, 1968, vol. 31, № 6, p. 6. 25. 61.

[52] См.: Kligerman Ch. The Character of Jean Jacques Rousseau.—Psychoanalytic Quarterly, 1955, vol. 20, p. 237.

[53] Malkin E. Reich and Rousseau: An Essay in Psychohistory. —The American Journal of Psychoanalysis, 1974, vol. 34, № 1 p. 69.

[54] См.: Talmon J. L. The Origins of Totalitarian Democracy. L., 1955, p. 40.

[55] См.: Bychowsky G. Oliver Cromwell and the Puritan Revolution.—The Journal of Clinical Psychopathology, 1915, vol. 7. p. 304.

представители этой дисциплины. Так, например, К. Кенистон прямо заявляет, что расхожие определения психопатологии той или иной революционной личности соответствуют внутренней логике объяснения социальных революций как синонимов прорыва системы социального контроля в обществе, которое мыслится авторами, невзирая на изобилие конвульсивных социальных переворотов и революций в действительности, как довольно устойчивое и стабильное. Идеалом для этих исследователей, отмечает американский «психоисторик», служит медленное эволюционное развитие, революции же рассматриваются как явления деструктивные и регрессивные по своим последствиям. Теоретические усилия направляются на поиск гарантов эволюционного спокойного развития[56], в чем особенно ярко проявляется социальная функция фрейдистской революциологии.

Не менее откровенное признание делает Т. Левин: «Традиционное подозрение в социальных реформаторах инструмента разрушения истеблишмента зачастую находится во взаимосвязи с психоаналитической склонностью рассматривать деятельность социальных реформаторов как действующих из невротических нужд»[57].

Именно поисками гарантий безреволюционного будущего, стремлением дискредитировать идею революции объясняются и все попытки буржуазных исследователей с помощью тех или иных фрейдистских трюков очернить революционную личность, доказать социальную опасность ее деятельности. Таковы, например, рассуждения Г. Бичевского об отличии обыкновенного параноика от параноидального революционного лидера, который путем идентификации может оказывать сильное негативное влияние на свое окружение[58].

Деструктивные последствия влияния деятельности революционной личности на ход общественного развития пытается продемонстрировать Л. Фойер на примере с известным эпизодом кануна первой мировой войны — убийством Г. Принципом эрцгерцога Фердинанда.

---

[56] Kenistоn K. Revolution or Counterrevolution?—In: Explorations in Psychohistory/Ed. by R. J. Lifton, E. Olson. N. Y., 1974, p. 289—293.

[57] Levin T. Psychoanalysis and Social Change.—Psychoanalytic Review, 1967, vol. 54, № 68, p. 66—76.

[58] Bychowsky G. Dictatorship and Paranoja, p. 129.

Он пытается убедить читателя в том, что Гаврило Принцип, движимый бессознательно силой «эдипова комплекса», «перенес» на революционную деятельность всю силу своей разрушительной ненависти к отцу. Обуреваемый фантазиями воображаемого убийства отца, он убил Фердинанда и тем самым склонил чашу политических весов в пользу разрушительного неравновесия, которое обернулось деструктивными последствиями для народов всего мира, заключает Фойер [59].

Трактовка происхождения первой мировой войны с позиций субъективно-идеалистического и волюнтаристского подхода к истории для буржуазной историографии, конечно, не нова. Однако попытка возложить вину за нее на патологические особенности психологии революционера свидетельствует о поисках буржуазными исследователями новых способов дискредитации революционной деятельности.

Итак, при помощи психоанализа «психоисторики»-фрейдисты пытаются доказать, что революционность исторической личности является выражением ее психосексуальных нужд или психопатологии, перенесенных на общественный объект, и что деятельность ее не только не связана никоим образом с объективной социальной ситуацией, не вытекает из потребностей этой ситуации, но, напротив, являтся антисоциальной по своей природе и последствиям. Реакционный идейный смысл такой интерпретации очевиден, он неразрывно связан со стремлением «психоисториков» посредством очернения революционной личности, фальсификации ее идеологии и деятельности дискредитировать идею социальной революции.

Это доминирующее во фрейдистской «психоистории» представление о революционной личности нашло свое логическое выражение в многочисленных попытках создать «идеальный тип» революционера. Большинство «психоисториков»-фрейдистов полагает, что существеннейшей характеристикой революционной личности является зафиксированность ее на юношеской стадии развития. В. Вольфенстейн пытался воссоздать в одной из своих книг обобщенный образ революционной личности с особой и только ей присущей психологией революцио-

[59] Feuer L. S. The Conflict of Generations, p. 84, 85.

нера, имеющей свой источник в эдиповой ситуации детства [60]. Неразрешенность эдипова конфликта в юношеском возрасте вызывает попытку разрешить его иными способами в зрелом. Так, по утверждению американского «психоисторика», борьба В. И. Ленина против самодержавия имела в своей основе неразрешенность его отношений с отцом, получившего после смерти «заместителя» в образе царя [61]. Подобного рода трактовки вряд ли нуждаются в опровержении. Их идейно-политический смысл совершенно очевиден.

Другой характеристикой революционной личности, ее своеобразной психологической константой, является, по мнению многих «психоисториков», парциссизм. В. Вольфенстейн «обосновывает» наличие указанной черты тем, что большое количество эмоциональной энергии вовлекается в воспроизведение юношеской конфронтации с отцовской властью и поэтому остается мало места для эмоций другого рода [62].

Отголоски подобного рода рассуждений мы находим в теории «революционного аскета» Б. Мэзлиша [63]. Деятельность революционной личности рассматривается им как перенос на область социальных отношений тех либидозных аффектов, которые в обыденной жизни переносятся на других людей [64]. Это — тип лидера, пишет Б. Мэзлиш, который отрицает во имя революции нормы товарищества и отказывается от всякого проявления человеческих чувств. Так, продолжает «психоисторик», Робеспьер мог послать своих друзей Демулена и Дантона на гильотину без тени сомнения [65].

Пытается воссоздать архетип радикального революционера и Ю. Метвин. В его представлении это — фрустрированный индивид с повышенной агрессивностью в отношении внешнего мира, которая возникает у него в ре-

---

[60] См.: Wolfenstein V. The Revolutionary Personality. Princeton, New York, 1973. 370 p.

[61] См.: Idem. Some Psychological Aspects of Crisis Leadership, 165, 171.

[62] Ibid., p. 174—175.

[63] См.: Mazlish B. The Revolutionary Ascetic: Evolution of a Political Type. N. Y., 1976. 251 p.

[64] Ibid., p. VIII.

[65] Idem. Leadership in the American Revolution: The Psychological Dimension. — In: Leadership in the American Revolution. Washington, 1974, p. 113—133.

зультате разочарования из-за неосуществления какой-либо значительной для него цели[66]. Это — «инженер социального разрушения», вследствие определенного состояния сознания запрограммированный ненавидеть все окружающее в силу «калейдоскопической комбинации случайных обстоятельств, индивидуальной психологической предрасположенности к систематической пропаганде ненависти»[67].

В этих попытках в концентрированном виде отразилось стремление «психоисториков» затушевать объективную обусловленность становления революционной личности определенными общественными противоречиями и назревшими потребностями их разрешения. В них особенно ярко выступает неисторический характер фрейдистских исследований революционной личности. Он проявляется в научно бесплодных потугах реконструировать идеальный тип революционера, носителя фрейдистски интерпретируемой психической сущности, реализующей себя вне зависимости от исторических условий.

Спекулятивный характер «психоисторических» исследований подобного рода, легкость, с которой авторы их оперируют понятиями идеальных типов, отмечаются и отдельными буржуазными авторами. Так, например, Ф. Маунт приводит один из примеров, при помощи которых Б. Мэзлиш иллюстрирует свое представление о революционной личности: «...Молодой человек, воспитывающийся в небольшом сельском городке, в семье, преуспевающей в деловом отношении... интересующийся спортом... не особенно интеллектуальный... во многом испытывающий влияние суровой и волевой матери, борющийся против ее всесильной и турбулентной воли... женится молодым. Он глубоко религиозен, охвачен чувством греховности, которое кульминируется в кризис взрослой жизни, приведший к религиозному возрождению»[68]. Маунт замечает, что подобного рода характеристика может быть описанием биографии президента Картера и вне всякого сомнения многих других людей. На самом же деле Мэзлиш описывает «первого пуританского революционера» — О. Кромвеля. Маунт задает резонный вопрос: «Что мы можем почерпнуть из собранных вме-

[66] Methvin E. H. The Rise of Radicalism, p. 37—39.
[67] Idem. The Riot Makers, p. 89.
[68] Mount F. Op. cit, p. 89.

сте подобных биографий и грубо сколоченных психологических типов?»[69] В этой связи исследователь замечает, что «психоистория» подобна астрологии, как заманчивая область, преследующая цель дать не требующие усилий общие объяснения человеческому поведению[70].

Некоторые из буржуазных исследователей правильно указывают на самое уязвимое в такого рода анализе звено — подчеркнутый антиисторизм. Так, например, Ч. Джонсон пишет: «Данные о психологии революционеров должны быть увязаны с социальной системой, ...в противном случае они представляют лишь средство опорочения движения»[71].

Столь же ненаучными являются и фрейдистские попытки объяснить революционные движения через групповую психологию. Порочность их определяется фрейдистской трактовкой социальной психологии как явления исключительно бессознательной, а нередко и агрессивной природы.

Из такой посылки исходит, например, Л. Фойер, автор широко известной на Западе книги «Конфликт поколений. Характер и значение студенческих движений»[72]. Книга вышла по горячим следам событий 60-х гг., разыгравшихся в американском обществе, заставивших Л. Фойера обратиться к теме революционной борьбы в прошлом. Рассматривая революционную борьбу масс как следствие конфликтов поколений, Фойер утверждает, что последние являются «универсальной темой в истории», основанной на изначальных свойствах человеческой природы и более важной, чем классовая борьба[73].

По его мнению, анализ борьбы поколений должен убедить читателя в том, что основой ее всегда является «идеалистический дух, приносящий насилие и вред самому себе и окружающим и трансформирующийся в деструктивную силу в истории»[74]. Лишь поняв роль и зна-

---

[69] Ibid., p. 62.

[70] Ibidem.

[71] Цит. по кн.: Салов В. И. Историзм и современная буржуазная историография, с. 126.

[72] См.: Feuer L. S. The Conflict of Generations.

[73] Ibid., p. 430, 529.

[74] Idem. Generational Upheaval as a Pathological Factor in History, p. 141.

чение эдипова конфликта, заявляет Л. Фойер, можно понять протест против традиций и ценностей общества, созданного поколением отцов.

Поколения всегда находятся в состоянии конфликта, утверждает «психоисторик», при счастливом стечении обстоятельств этот конфликт может быть разрешен в рамках «эквилибриума» поколений, при менее счастливом он обостряется до грандиозных размеров борьбы. Необходимым условием такого обострения является потеря старшим поколением в глазах младшего авторитета, в результате неудач или провалов социального или исторического характера [75]. Борьба поколений мало изучена, пишет Л. Фойер, однако не следует ее недооценивать, она оказала глубочайшее воздействие на историю современного мира — социальные революции в России, Китае и других странах произошли из этой борьбы [76].

Таким образом, конфликтный характер отношений между поколениями рассматривается в качестве основы революционности в обществе. Поскольку о нем говорится как об имманентно присущей природе этих отношений черте, то можно логически предположить, что в представлении Фойера революционная борьба является исторически закономерной. Однако его рассуждения о возможности сохранения «эквилибриума» поколений явно противоречат этой логике. Более того, ход дальнейших рассуждений автора свидетельствует о том, что предотвращение революционных потрясений не только возможно, но и исторически прогрессивно, так как они являются деструктивной силой в истории.

Остановимся на характеристике Фойером русского революционного народничества, так как автор прямо заявляет, что оно является «классическим примером исторической работы этического сознания» независимого от классовых интересов, обнажающим в конечном счете деструктивную сущность этой работы [77].

Фойер утверждает, что большая часть народников была студентами, выходцами из знатных семей, которые, живя в мире политической тирании и культурной отсталости, тянулись к западным культурным ценностям. Это сделало их «историческими трансценденталистами» —

[75] I d e m. The Conflict of Generations, p. 527, 528.
[76] Ibid, p. 10.
[77] I d e m. Generational Upheaval..., p. 148.

бессознательно восстав против старшего поколения, они облекли свой протест в идеи, заимствованные у западных мыслителей [78].

Их идеологическое сознание может быть проанализировано, согласно авторской концепции, лишь «психоисторически», так как трактуется оно как выражение эмоций этого восстания. При выяснении происхождения лозунга «в народ» «психоисторик» считает необходимым найти истоки потребности народников в идентификации с низшим классом, которым в данном случае выступало крестьянство, поскольку эта потребность определяется им как бессознательная доминанта указанного лозунга. Истоки же этой потребности, судя по рассуждениям Л. Фойера, найти несложно — достаточно быть знакомым с психоаналитическим положением о детских годах как детерминанте взрослой психологии. В результате такого псевдоанализа получается, что в основе лозунга «в народ», в основе потребности народников в идентификации с крестьянством лежали «психологические травмы детства», «...когда родители запрещали им играть с неугодными детьми из народа» [79].

Столь же «просто» выясняются указанным «психоисториком» и причины народнического террора. В основе его, утверждает Фойер, лежала бессознательная деструктивная мотивация по отношению к отцовскому образу, перенесенная на «заместителей» в политической области.

Эти спекулятивные рассуждения понадобились Фойеру для обоснования мысли о разрушительном и бессмысленном характере деятельности народников. Он прямо заявляет, что таковой якобы проявился не только в отношении окружающих и самих себя, не только в терроре и самоубийствах, но и в том значении, которое имела эта деятельность для последующего хода русской истории. Об этом свидетельствует, пишет Л. Фойер, убийство Александра II, собиравшегося за полчаса до смерти подписать декларацию о конституции [80].

Расхожее мнение о том, что возникновение революционной идеологии в России было результатом «отчужденности» радикальной интеллигенции от своего общест-

[78] I d e m. The Conflict of Generations, p. 19.
[79] Ibid., p. 39.
[80] I d e m. Generational Upheaval..., p. 148.

ва[81], как видим, в новом психоаналитическом варианте перекочевало в книгу американского «психоисторика», свидетельствуя о преемственной связи нового жанра с традиционной буржуазной историографией. Попытки обосновать этот тезис приобрели логическую завершенность в «психоисторической» интерпретации Л. Фойера, в его тезисе о том, что народники были «историческими трансценденталистами», что в основе их революционной идеологии и деятельности лежала бессознательная иррациональная потребность в протесте против общества, олицетворявшего старшее поколение.

Несомненно, идеи и требования народников во многом носили утопический характер, их идеологическое сознание не было свободно от иллюзий, а деятельность — от ошибок. Так, например, террор, согласимся с автором, не принес никакой пользы освободительному движению. Но об этом писал еще В. И. Ленин, предупреждая, что опыт истории революционного движения в России предостерегает от таких методов борьбы, как террор[82]. Однако это не означает, что народники были «историческими трансценденталистами», как утверждает американский «психоисторик». Соответствующим тогдашним условиям классовой борьбы образом они решали задачи революционного буржуазно-демократического характера, которые поставила перед ними историческая действительность России второй половины XIX в. (Именно в этих условиях и следовало бы Фойеру искать истоки народнической идеологии и деятельности.) Деятельность их была исторически необходимой и прогрессивной, о чем свидетельствует уже тот факт, что их ошибки были преодолены в новых исторических условиях новым поколением революционеров, которые продолжили лучшие демократические традиции народников, борьбу против царского самодержавия, за справедливое решение вопроса о земле.

[81] См., напр.: Malia M. What is Intelligentsia?—In: The Russian Intelligentsia. N. Y., 1961, p. 1—18; Bowman H. E. Intelligentsia in Nineteenth Century Russia.—The Slavic and East European Journal, 1957, vol. 1, № 1, p. 5—21. Критику указанных представлений см.: Сухотина Л. Г. Русская революционно-демократическая интеллигенция в освещении современной буржуазной историографии. — В кн.: История и историки, 1976. М., 1979, с. 230—244.

[82] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 375.

Именно эту прогрессивную сущность идеологии и деятельности народников стремится исказить Л. Фойер своей психоаналитической интерпретацией, настолько откровенно спекулятивной, что неудивительна критика, которой она подверглась даже со стороны некоторых его коллег. Так, Р. Либерт видит слабые места фойеровской интерпретации в том, что автор ее пытается объяснить различного рода политические акции сублимированной бессознательной деструктивной мотивацией по отношению к отцу и его «заместителям», которая неизбежно сопровождается разрушительными последствиями. Либерт подчеркивает, что концепция Л. Фойера основана на «признании психопатологического характера социального и группового поведения»[83].

Здесь следует сделать одно существенное уточнение. Ответственность за революционные потрясения Фойер возлагает на молодежную элиту, которую прорыв «эквилибриума» поколений выносит на авансцену истории. Что же касается поведения масс в этот период, то им отводится роль безмолвного апатичного свидетеля событий[84].

Итак, отождествляемые с иррациональным бессознательным бунтом молодежи революционные потрясения рассматриваются автором как признак «слабости», болезни общества[85], с которой надо бороться. Раскрывая классовый смысл этих утверждений, американский «психоисторик» выражает надежду, что своей книгой поможет молодежи осознать весь вред этого бунта, поможет справиться с деструктивными бессознательными импульсами в себе[86].

Это стремление уберечь молодежь от всякой политической деятельности, боязнь того, что она может повлечь за собой революционные изменения в обществе заставляет Л. Фойера призывать молодых людей воспитывать в себе «либеральные демократические ценности», как правильно замечает Ф. Кревс, безотносительно к тому, что представляет собой окружающий их режим[87].

---

[83] Liebert R. Radical and Militant Youth: A Psychoanalytic Inquiry. N. Y., 1971, p. 187—188.

[84] Feuer L. S. The Conflict of Generations, p. 11.

[85] Ibidem.

[86] Ibid., p. 550.

[87] Crews F. Out of My System. Psychoanalysis, Ideology and Critical Method. N. Y., 1975, p. 93.

Классовый смысл этих призывов не нуждается в комментариях, также как и вывод, который напрашивается из теории «конфликта поколений» американского «психоисторика»: революции не являются исторически закономерным и прогрессивным итогом классовой борьбы, в основе их лежит иррациональный бессознательный бунт молодежи [88].

Во фрейдистской «психоистории» сохранились почти в первозданном виде представления, характерные для реакционной историографии прошлого, о революционных действиях масс как иррациональных, компульсивных проявлениях той агрессивности, которая заложена в самой природе «толпы». Метвин пишет, что эти действия носят «спазматический, иррациональный и подсознательный характер» [89]. Такого же понимания придерживается, как явствует из анализа концепции «конфликта поколений», и Фойер. Наряду с агрессивностью масс зачастую подчеркивается и неустойчивость их психологии. Некоторые «психоисторики» полагают, что именно слабостью собственного психического состояния объясняется обращение к революционному лидеру как идеалу [90].

В обобщенном виде связь между индивидуальным и коллективным, социальным и психологическим в представлении «психоисториков» фрейдистского течения выглядит следующим образом. Революционный деятель или группа деятелей, на которых возлагается главная «вина» за те или иные революционные события, в силу собственного психологического опыта оказываются способными активизировать агрессивные инстинкты масс.

Наиболее наглядно эта схема представлена у Ю. Метвина, который объясняет распространение, жизнеспособ-

---

[88] Примечательно, что примерно в таком же духе рассматривают на Западе молодежное движение многие немарксистские авторы, пытаясь представить его либо как сексуальную революцию, либо как бунт детей против отцов, в то же время называя молодежь, как это делал Г. Маркузе, главной революционной силой современности. Созвучные психоаналитическим, эти идеи в концентрированном виде отражают позицию отрицания буржуазными обществоведами основных положений марксизма, касающихся проблемы социальной революции.— См: Социальная философия Франкфуртской школы. Пер. с нем. М., 1978. 357 с.

[89] Methvin E. H. The Riot Makers, p. 58, 129.

[90] Downton J. V. Rebel Leadership: Commitment and Charisma in the Revolutionary Process. N. Y., 1973, p. 49.

ность и воплощение в действительность идей марксизма тем, что К. Маркс, рационализировав, оформив идеологически комплекс собственных чувств ненависти и борьбы, дал возможность другим излить свою агрессивность[91]. Аналогично рассуждает Дж. Талмон о Великой французской революции, относя ее к периодам «большого стресса, массового психоза и интенсивной борьбы», требующим лидеров с особой невротической психикой[92].

Сводя многообразие черт социальной психологии революционных масс к агрессивности и ненависти и определяя последние либо как биологически врожденные, либо как результат чисто психологического межличностного общения, «психоисторики»-фрейдисты пытаются решить двуединую задачу — дискредитации действий народных масс и отрицания закономерной, объективной их обусловленности. Безусловно, ненависть к «верхам» является характерной чертой угнетенных масс и поэтому неизбежно присутствует в их настроениях. Однако сам «факт существования ненависти,— пишет советский исследователь В. В. Шаронов,— объясняется общими условиями бытия класса, в то время как ситуативные условия жизни класса и отдельных его отрядов определяют степень развития этого чувства и формы его проявления. Через психологический механизм межличностного и межгруппового общения (подражание, заражение, внушение и т. п.) передается то или иное состояние данного чувства, определяется накал, степень развития, формы его проявления, но не оно само как таковое»[93].

Игнорируя условия бытия класса как определяющие его революционную психологию, «психоисторики»-фрейдисты не могут, однако, избежать вопроса о социальных условиях, вызывающих освобождение бессознательного из латентного состояния. Как правило, под ними подразумеваются силы, способствующие активизации бессозна-

---

[91] Methvin E. H. The Rise of Radicalism, p. 133, 180.

[92] Talmon J. L. Op. cit., p. 40. Автор недалеко ушел в своем «объяснении» Французской революции от И. Тэна. В представлении последнего почти все руководители великой революции были людьми психически ненормальными, помешанными на отвлеченных идеях, а народ «впал в разнузданную дикость», «опьяненный скверной водкой общественного договора». См.: Тэн И. Указ. соч., т. 4. Революционное правительство, с. 85—92, 131.

[93] Шаронов В. В. Психология класса. (Проблемы методологии исследования). Л., 1975, с. 43.

тельных импульсов, а социальная среда рассматривается как питательная почва для деятельности патологической революционной личности и реализации агрессивных инстинктов масс. Так, например, Ю. Метвин объявляет революционное движение порождением стрессов городского общества. Гипертрофируя мысль П. Сорокина об особых революционных склонностях городских жителей, Метвин утверждает: «Революционный радикализм свойствен городской жизни со времени раннего развития городов. Он является социальным фактом, ассоциирующимся с урбанизацией человечества. Он — индивидуальная и групповая реакция на стрессы и напряженности городского общества с его экономической специализацией, разделением труда и дифференциацией социальных ролей, с его ускоренным социальным взаимодействием, коллизиями и неустойчивостью»[94].

Обосновывая этот тезис, Метвин рисует жуткую картину мессианских движений урбанистского происхождения. О ее научном уровне достаточно красноречиво свидетельствует уже то, что в один ряд ставятся Платон и Маркс, Мюнцер и американские радикалы 60-х гг. XX в. Все революционные движения прошлого и настоящего суть для него выражения одной и той же болезни, принимающей временами эпидемический характер. «Является угнетающей,— уныло вещает он,— регулярная схожесть в этих проявлениях эпидемического мессианского радикализма от древних Афин до современных Беркли, Колумбии и Гарварда»[95].

Эта формулировка, как и некоторые другие, дает основание говорить о признании автором известной закономерности в истории, а следовательно, и закономерности самой революции, вытекающей из определенного социально-психологического состояния общества. Но это признание далеко от действительно научного понимания закономерности происхождения революций. Более того, объективно оно нацелено на выхолащивание исторического содержания этого понятия. Для Метвина закономерность революций носит сугубо психологический характер и сводится к «закону» фатальной неизбежности бессознательного конфликта психики и социального

[94] Methvin E. H. The Rise of Radicalism, p. 21.
[95] Ibid., p. 39.

окружения, к неумению справиться с собственным бессознательным, адаптироваться к действительности. И что самое главное, всю книгу пронизывает стремление доказать, что эту неизбежность можно предотвратить в настоящем и в будущем. В такой интерпретации признание психологической закономерности революций в прошлом органически соединяется с надеждой на возможность предотвращения их в будущем — путем овладения бессознательным, путем улучшения адаптивных способностей психики людей.

Произведенный обзор фрейдистских интерпретаций дает основания говорить о нацеленности фрейдистского течения «психоисторической» революциологии на обоснование тезиса об исторической незакономерности социальных революций, на дискредитацию их, в чем наиболее ярко проявляется классовый смысл «психоисторического» подхода к проблеме социальной революции. Выраженный антиисторизм указанных интерпретаций, их очевидная теоретическая немощь и идейная заданность обусловили научную несостоятельность фрейдистской революциологии, а с нею вместе — и ее широковещательных претензий на новое слово в науке.

2. «Новые направления» в «психоисторической» революциологии

Вынужденное признание несостоятельности фрейдистской революциологии в той или иной форме сегодня все чаще встречается в самой «психоисторической» литературе. Так, во введении к сборнику «Новые направления в психоистории» даже подчеркивается, что откровенно идеологический уклон интерпретаций, в которых всякое революционное поведение выводилось из «эдипово-инфантильной ярости» субъекта, генерировавшей предрасположенность к заговорщическим организациям и терроризму, подорвали престиж «психоистории»[96].

Поиски более взвешенного подхода проявились прежде всего в отказе от безапелляционного осуждения революции. Среди «психоисториков» распространяется при-

[96] См.: New Directions in Psychochistory. The Adelphy Papers in honor of Erik H. Erikson/Ed. by M. Albin. Lexington, 1980, p. XI.

знание необходимости рассматривать «конфликтную модель общества и социального развития как более соответствующую фактам современной истории», а революционные изменения — как изменения «естественного порядка»[97].

Наметившиеся тенденции в «психоисторической» революциологии во многом объясняются сдвигами, происшедшими в буржуазной революциологии в целом под влиянием революционных событий современности[98]. Однако не следует недооценивать и эволюцию самой «психоистории», в которой, как уже отмечалось, в 70-е гг. бурно развивается так называемое интеграционистское течение. Именно с его развитием связано стремление к своеобразной историзации «психоисторической» революциологии, отказу от ее подчеркнутого антиисторизма. Это стремление нашло свое выражение в постулировании требования исследовать всякое социальное изменение, покончив с представлениями об обществе как «неизменном психоагрегате». В этой связи подчеркивается, что, несмотря на всю важность исследования революционных ситуаций «с точки зрения психических структур», изучение психологии не может являться заменой исторического анализа[99].

Однако вынужденное признание интеграционистами революций явлениями естественного порядка и их попытки пересмотреть принципы фрейдистского психоанализа революций скорее свидетельствуют об определенной идейно-теоретической гибкости буржуазной «психоистории», нежели о действительном понимании их

---

[97] См. напр.: Keniston K. Op. cit., p. 309.

[98] О характере произошедших в современной буржуазной революциологии сдвигов см.: Соболев Г. Л. Октябрьская революция в американской историографии 1917—1970. Л., 1979. 248 с.; Красин Ю. А. Указ. соч.; Игрицкий Ю. И. Мифы буржуазной историографии и реальность истории. Современная американская и английская историография Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1974. 271 с.; Гавлин М. Л., Казакова Л. А. Современные буржуазные теории социальной революции; Салов В. И. Революционный процесс и современная буржуазная историография.— Новая и новейшая история, 1981, № 1, с. 77—90.

[99] Подробнее см.: Weinstein F., Platt G. The Coming Crisis in Psychohistory.—The Journal of Modern History, 1975, vol. 47, № 2, p. 226; Mazlish B. Group Psychology and Problems of Contemporary History.—The Journal of Contemporary History, 1968, vol. 3, № 2, p. 177.

природы. Стремление определенной части «психоисториков» сохранить видимость исторической объективности побуждает их к пересмотру традиционного подхода к проблеме, не меняя его основополагающей направленности на борьбу с современным революционным движением и марксизмом.

Это находит свое выражение в стремлении исказить смысл социальных революций и утвердить в общественном сознании представление, будто подлинно успешная революция может быть только в сфере социальной психологии, но отнюдь не в области социально-экономических отношений. Современные «психоисторики» пытаются отвлечь своих читателей от действительных проблем буржуазного общества и сосредоточить их внимание на проблемах пола, психологии и самотерапии. Показательно в этом плане утверждение одного из крупнейших американских обществоведов неофрейдистского толка Э. Фромма. Он пишет, что «...в то время, как политическая революция XX века, русская революция потерпела поражение (рано еще судить об окончательных результатах китайской революции), женская, детская и сексуальная революции, хотя они еще и находятся на начальных стадиях, являются победоносными революциями современности. Их принципы уже приняты сознанием большинства людей и с каждым днем старые идеологии становятся все более нелепыми» [100]. Не говоря уже об удивительном утверждении о «поражении русской революции», отметим только, что сам перечень противостоящих ей «победоносных революций» убедительно свидетельствует о том, как далеки Фромм и его единомышленники от подлинно научного понимания природы и исторического места социальной революции. Не отрицая значения в жизни современного общества тех явлений, которые в только что приведенном высказывании именуются «победоносными революциями», подчеркнем все же, что социальными революциями они не являются.

Определенная идейная установка «психоисторической» революциологии обусловливает в значительной степени и ее теоретические положения. Так, несмотря на явное расхождение с фрейдистами в определении самого понятия социальной революции, среди «психоисториков»-ин-

[100] Fromm E. H. To have or to be? N. Y., 1976, p. 76.

теграционистов, как и фрейдистов, преобладает стремление стерилизовать это понятие, освободить его от социального содержания. Поэтому неудивительно, что в интеграционистских исследованиях бытуют абстрактно-эклектические толкования революций как явлений естественных, имеющих корни в самой действительности, окружающей человека, и способствующих расширению независимости и богатства его Я[101]. Усилия приверженцев этого направления, рекламируемые как стремление освободить «психоисторический» подход от одиозно-негативистских трактовок революций, направлены прежде всего на поиск более конкурентноспособного в сравнении с фрейдистским и в то же время альтернативного марксистскому понятия социальной революции.

В одном из своих последних исследований известный «психоисторик»-интегрционист Дж. Плэтт следующим образом определяет революционные движения. «Под революционными движениями я понимаю борьбу за принципы организации общества или организующие принципы какой-либо подсекции общества, такие, как стандарты, организующие политические, экономические, семейные, религиозные и другие институты». Он подчеркивает, что эта борьба особенно фокусируется на тех принципах, которые управляют социальной организацией данных институтов и «способами распределения институционных ресурсов», таких как власть, богатство, престиж и т. д.[102]

Признание Плэттом социальной природы революционных движений не противоречит его попыткам найти альтернативную марксистской теорию революции. Он прямо заявляет о цели своего исследования — создании альтернативной теории, которая бы преодолела несостоятельность существующих теорий, базирующихся «на

[101] См. напр.: Fromm E. H. Op. cit., p. 88; Weinstein F. Platt G. The Wish to Be Free: Society, Psyche and Value Change. Berkeley, 1969. 319 p.; Idem. Psychoanalytic Sociology: An Essay on the Interpretation of Historical Data and the Phenomenon of Collective Behavior. Baltimore, 1973. 124 p.; Burrows E., Wallacy M. The American Revolution: The Ideology and Psychology of National Liberation.—In: Perspectives in American History/Ed. by D. Fleming, B. Baylin. Harvard univ. press, 1972, vol. 6, p. 167—309.

[102] Platt G. M. Tho ghts on a Theory of Collective Action: Language, Affect, and Ideology in Revolution.—In: New Direction in Psychohistory, p. 69—70.

таких традиционных аналитических категориях как класс (выделено нами.— *Авт.*), возраст, вероисповедание» и т. д.[103]. По менению Плэтта, эти категории не очерчивают субъективных ориентаций участников революций и поэтому являются непригодными для решения проблемы гетерогенности революций [104].

Истинно научная теория революции, полагает «психоисторик», должна исходить из «индивидуальной субъективности» участников, соотнесенной с особыми историческими обстоятельствами. Он пишет, что основополагающими понятиями такой теории будут являться язык, аффект, сознание и идеология. Исходя из анализа этих понятий, утверждает Плэтт, можно будет объяснить «гетерогенную композицию участников революционных движений и комплексность революционных событий» [105].

Безусловно важным моментом анализа революций является учет субъективного опыта их участников. Последний может быть понят в свете всего комплекса условий и обстоятельств, определяющих позицию личности в революции. Не только классовые интересы, но нередко и другие моменты выступают в качестве детерминирующего мотива участия личности в революции. Поэтому неудивительно, что в лагере сторонников ее оказываются люди различного классового происхождения, социального статуса и т. д. Кроме того, при определенных исторических условиях союзниками в революционной борьбе могут оказаться не только отдельные представители различных классов, но и сами эти классы. Цементирующей основой их единомыслия является совпадение их общественных интересов, получающих языковое оформление в синтетически кодифицированной идеологии. Последняя, согласимся с Плэттом, является композицией гетерогенных вопросов, которые волнуют общество. Именно через идеологию реальное общество воспринимается и делается, как пишет «психоисторик», «когни-

---

[103] Ibid., p. 69.

[104] Ibid., p. 69—70. Плэтт поясняет, что под гетерогенностью революций он имеет в виду то, что «каждая революция обнаруживает гетерогенный состав участников противоборствующих лагерей», а точнее, речь идет о том, что сторонники одного лагеря в революции имеют зачастую различное классовое происхождение, социальный статус, психологическую мотивацию и т. п.

[105] Ibid., p. 78.

тивно и эмоционально значимым» для каждого участника революционных событий [106]. Поэтому анализ идеологии действительно может пролить свет на явление, называемое автором гетерогенностью революций, действительно даст возможность увидеть события во всей их сложности и многообразии. Способно обогатить анализ поднятой проблемы и исследование языка революционной эпохи, поскольку он является отражением, превращенной формой конкретно-исторической практики.

Однако не следует забывать, что анализ указанных явлений не всегда дает адекватное представление о характере и содержании революционных процессов. Из поля зрения исследователя, положившего в основу анализа той или иной революции, например, анализ идеологии, могут выпасть существеннейшие содержательные процессы этой революции, например классовые противоречия между союзниками и др. Поэтому анализ идеологии является необходимым, но далеко не достаточным условием научного анализа революций.

Аналогичные издержки имеет и анализ языка. Дело в том, что отражение конкретно-исторического процесса в языке, как показали исследования советских ученых, носит превращенный характер, что особенно наглядно проявляется в переходные исторические эпохи. Связь языка с конкретно-исторической практикой в действительности замаскирована сложной системой функциональных зависимостей. «Поэтому,— пишут С. В. Аржанухин и В. В. Скоробогацкий,— отношение языка к практике может быть представлено как знаковое, не укладывающееся в формы причинной или генетической связи и скрывающее за демонстрируемым на поверхности явлений «равнодушием» превращенной формы к основанию необходимость ее возникновения и существования» [107].

В свете вышесказанного совершенно очевидна необходимость анализа языка, сознания, идеологии в контексте конкретно-исторической ситуации, ее социально-классового содержания. Предлагаемая же Плэттом ориентация анализа указанных явлений как альтернативы

[106] Ibid., p. 86–87.

[107] См.: Аржанухин С. В., Скоробогацкий В. В. Язык как превращенная форма конкретно-исторической практики.— В кн.: Ленинская теория отражения. Свердловск, 1980, вып. 10, с. 94.

другим видам анализа, и прежде всего классовому, способна лишь обесценить имеющиеся в такого рода анализе возможности.

Касаясь вопроса о типологии революций в интеграционистской литературе, следует также отметить определенную эволюцию, которую претерпел «психоисторический» подход к данной проблеме. В отличие от фрейдистов «психоисторики» интеграционистского течения делают попытки дифференцировать революции, отделить революции как синонимы прогрессивных периодов в истории и образец для подражания от революций — аналогов деструктивных исторических явлений. Так, например, Дж. Плэтт вводит в обиход понятия регрессивной и прогрессивной революций. В качестве примера первой он приводит нацистское движение в Германии, а в качестве примера второй — Английскую буржуазную революцию XVII в.[108]

Отличие репрессивной революции от прогрессивной Плэтт усматривает в том, что присущие регрессивной революции идеологические стандарты, которые призваны ориентировать личность в окружающем мире, характеризуются скорее традиционными, чем модернистскими принципами социальной организации[109].

По сути дела, в этой типологии мы имеем дело с тезисом, что социальная революция и фашизм суть явления одной природы. При всем подчеркивании различий между так называемыми регрессивными и прогрессивными революциями автор данной типологии видит их тождество в основном — в том, что они относятся к социальным явлениям одного порядка, а именно революциям. Ее идеологическая нагрузка обнаруживается в утверждении Плэтта, что базисом для революционных действий служат агрессивные импульсы, освобожденные от моральных ограничений[110].

Подчеркивание деструктивного момента в революции, таким образом, не является характерной чертой лишь фрейдистских интерпретаций. Интеграционисты, несмотря на все оговорки и констатацию позитивных сторон революций, ставят под сомнение их целесооб-

---

[108] См.: Platt G. Op. cit., p. 71—73.
[109] Ibid., p. 73.
[110] Ibid., p. 80.

разность именно на том основании, что «желание свободы, выраженное в революционном действии, может привести к деструктивной деятельности»[111]. Известный «психоисторик» Дж. М. Крен, указывая, что Э. Фромм отметил в своей книге («Анатомия человеческой деструктивности») указанную возможность, вместе с тем считает, что последний мало уделил внимания этой «темной стороне революции». Он пишет: «Алжирская революция повлекла массовые убийства и мучения ужасающих размеров с обеих сторон. Кубинская революция Ф. Кастро сопровождалась массовыми казнями реальных и потенциальных врагов. Единственной революцией современности, избежавшей уничтожения ее оппонентов, была победа Альенде на выборах в Чили... Но его терпимость по отношению к врагам и действительная гуманность, которая привела его к отрицанию использования насилия, вероятно, сделали возможными не только его гибель, но также и разрушение чилийского демократического социализма»[112].

В свете этого становится понятным, почему среди «психоисториков» довольно широко распространено мнение, что социальные революции не являются «гарантами улучшения биопсихологического окружения» человека[113].

Некоторые интеграционисты, включившись в поиски внеформационной типологии революций, обратились к теории модернизации. Так, влиятельный представитель «психоисторической» революциологии Б. Мэзлиш характеризует тип современных революций как модернизаторский[114], Ф. Вейнстейн и Дж. Плэтт в одном из своих исследований говорят не только о современных революциях, но и о Великой французской как явлениях, составляющих процесс модернизации[115]. Сама же модернизация для этих авторов представляется в существенной своей части процессом изменения ценностей, в

---

[111] См.: Fromm E. H. The Anatomy of Human Destructiveness. N. Y., 1974, p. 200.

[112] См.: History of Childhood-Quarterly, 1975, vol. 2, № 4 p. 581.

[113] Подробнее об этом см.: Pomper Ph. Problems of Naturalistic Psychohistory.—History and Theory, 1973, vol. 12, № 4, p. 385.

[114] Mazlish B. The Revolutionary Ascetic: Evolution of a Political Type. N. Y., 1976, p. 10.

[115] См.: Weinstein F., Platt G. The Wish to be Free.

котором бессознательное желание автономии, свободы, подавляемое традиционным обществом, в силу ряда причин активизируется и пытается утвердить преимущественную ценность автономии над структурой авторитета.

Уязвимость интеграционистской типологии обнаруживается уже в самом факте существования взаимоисключающих интерпретаций. Так, например, Ф. Вейнстейн и Дж. Плэтт в отличие от Э. Фромма, рассматривающего Французскую революцию как потерпевшую поражение политическую революцию, относят ее к разряду прогрессивных, способствовавших «демократизации и плюрализации Запада». Однако и они стремятся принизить социальное значение Французской революции, рассматривая ее как движение в поисках автономии, независимости внутри существующих институционных структур [116].

Что касается Американской революции XVIII в., ей «психоисторики» вообще отказывают в социальном статусе. Окруженная пиететом, интерпретируемая как революция особого, несоциального характера, способствовавшая изменению идейно-психологической атмосферы общества — утверждению в нем идеи и духа независимости, Американская революция преподносится как образец революций конструктивных. Водораздел между ними и революциями деструктивного характера зачастую проводится по линии их соответствующим образом препарируемого содержания, которое в одном случае сводится к изменению идейно-психологического климата в обществе, а в другом — к социально-экономическим и политическим преобразованиям.

Острие интеграционистской типологизации революций направлено прежде всего на дискредитацию социальной революции, а вместе с ней и марксистского учения, базирующегося на признании закономерности поступательного развития и смены производственных отношений и соответствующих им надстроечных институтов общества, осуществляющейся путем революционным. Поэтому столь редко встречаются у интеграционистов (не говоря уже о фрейдистах) и сами понятия — буржуазная революция, социалистическая и т. п.

---

[116] См.: Ibid., p. 81; Fromm E. H. To have or to be?, p. 76, 134.

Наличествующие в интеграционистских работах расхождения во взглядах относительно типологии революций свидетельствуют о царящем в «психоисторической» революциологии по сей день методологическом хаосе и ее неспособности найти научную альтернативу марксистскому пониманию революций.

Новым в «психоисторической» революциологии является не только признание интеграционистами «естественности» революций и попытки их типологизации, но и сами принципы «психоисторического» анализа социальной революции. Исходным моментом формирования этих принципов стало признание рядом авторов неудовлетворительности существующих фрейдистских интерпретаций революций, практически сводящих их к психопатологии, психотравмам и комплексам тех или иных революционных личностей. По Фрейдовой схеме, лежащей в основе большинства «психоисторических» исследований, всякое социальное, а следовательно, и революционное изменение есть результат «неудовлетворенного эмоционального желания какого-либо индивида». «Но как же осуществляются социальные акции? — спрашивают Ф. Вейнстейн и Дж. Плэтт.— Как объяснить психологию и участие масс в революции?» [117].

Осознание необходимости преодоления крайнего субъективизма в анализе революций вовсе не означает отказа интеграционистов от необходимости исследования характера революционной личности. Интеграционисты единодушны в признании важности такого исследования с точки зрения тех возможностей, которые открываются в этой связи для анализа идей и деятельности революционных личностей. Они также подчеркивают, что понимание великого человека должно облегчить историку возможность понять массы, группирующиеся вокруг него, понять, что двигало ими, равно как и события, которые вытекали из их действий. Как отмечает Б. Мэзлиш, нельзя понять без Ленина большевизм, равно как и Октябрьскую революцию [118].

Несомненно, такая постановка вопроса заслуживает внимания. Раскрытие внутреннего содержания больших

[117] Weinstein F., Platt G. Psychoanalytic Sociology, p. 5.
[118] См.: Mazlish B. What is Psychohistory?—Transactions of the Royal Historical Society. Fifth series. L., 1971, vol. 21, p. 81, 86.

общественных процессов, к которым относятся революции, через изображение отдельных деятелей может действительно обогатить наше понимание того или иного события, так как, пишет советский историк А. З. Манфред, иногда в одном лице оказываются персонифицированными более общие процессы [119].

Отмежевание от фрейдистских попыток объяснить через психосексуальные потребности личности исторические явления как таковые сопровождается реформированием самих принципов «психоисторического» анализа революционной личности. Как утверждает Б. Мэзлиш, если раньше «психоисторики вторгались в область истории, производя на свет довольно занимательные психобиографии, уверенные в том, что интрапсихический процесс относительно изолирован от внешних исторических факторов, и триумфально появлялись со скальпами, если не с головами исследуемых субъектов, то теперь эти времена, к счастью, миновали благодаря Эриксону и эго-психологии» [120]. По словам того же Мэзлиша, «Молодой Лютер» Эриксона, «трактующий революционера, можно сказать, революционизировал жанр» [121].

Э. Ю. Соловьев верно отмечает, что ценность созданной Эриксоном модели лидера-новатора заключается в том, что в ней подчеркивается действительно важный и необходимый атрибут лидера — его способность к «адекватной интериоризации культурно-исторических конфликтов и их последующему страдательно-творческому решению» [122]. Эта модель подразумевает как анализ процесса социализации личности, выявление социально-исторических факторов процесса ее формирования, так и выяснение особых черт, которые способствовали выдвижению ее в качестве лидера.

---

[119] Манфред А. З. Указ. соч., с. 19—20.

[120] Mazlish B. Leadership in the American Revolution, p. 113.

[121] Idem. Reflections on the State of Psychohistory.— Psychohistory Review, 1977, vol. 5, № 4, p. 4.

[122] См.: Соловьев Э. Ю. Биографический анализ как вид историко-философского исследования.— Вопросы философии, 1981, № 9, с. 142. Автор подчеркивает, что указанный момент важен для анализа любого духовного творчества и личность Лютера в этом плане можно считать «методологически ценным объектом биографического рассмотрения, который, к сожалению, пока еще не привлек к себе внимания исследователей-марксистов».

Основанный на этих принципах анализ мог бы действительно дать интегральное решение поднятой проблемы при условии учета роли становления новых общественных отношений как детерминирующего фактора в процессе формирования этой личности как революционной. Признание же Эриксоном равнозначности влияния социального и психологического на этот процесс выливается в исследовательской практике в субстанциализацию психологического анализа. Результаты этого анализа свидетельствуют, как мы имели возможность убедиться, что и признанным образцам «психоисторических» исследований не удается преодолеть традиции психологизации истории.

Несмотря на намерения освободить «психоисторический» подход к революционной личности от идеологизированного уклона, «психоисторики»-интеграционисты по-прежнему направляют немало усилий на дискредитацию ее, применяя для этого лишь более изощренные способы. В этом смысле показательна книга английского исследователя Э. Актона, несомненно попадающая в разряд исследований «психоисторического» жанра, хотя автор ее прямо не причисляет себя к приверженцам «психоистории» [123].

Актон далек от того, чтобы рассматривать Герцена в терминах психопатологии. Напротив, он утверждает, что мышление и деятельность Герцена, как, впрочем, и всей русской интеллигенции, не были оторваны от проблем русской действительности, что его идеи не являлись абстрактным и беспочвенным теоретизированием. Более того, он заявляет, что эти идеи «не были простым отражением западноевропейской мысли, русская интеллигенция в целом заимствовала у западных мыслителей те положения, которые помогали ей решать собственные проблемы. В свете этого следует рассматривать влияние на Герцена западного философского идеализма и социализма» [124].

Но, ставя перед собой задачу выяснения становления и эволюции идейно-теоретических и политических

[123] См.: Acton E. Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary. Cambrigde, 1979. 194 p. Общую оценку книги см. в рецензии Л. Г. Сухотиной (Вопросы истории, 1980, № 12, с. 145—148).

[124] Acton E. Op. cit., p. 9.

представлений А. И. Герцена, ключ к ее решению Актон видит прежде всего в его личном опыте. Красной нитью через всю книгу проходит мысль об обусловленности идейно-политических представлений Герцена его бессознательным стремлением играть определенную роль «на гражданской исторической сцене»[125]. По мнению Актона, видение этой роли у Герцена развивалось и изменялось в соответствии с событиями личной жизни и решающим образом влияло на его представления об историческом процессе, равно как и на эволюцию его политических воззрений[126].

Обосновывая эту мысль, ученый пишет, что Герцен был эмоциональным фокусом взаимоотношений отца и матери, душой студенческого кружка друзей, что сыграло немаловажную роль в формировании у него высокой самооценки. Особое значение в этом плане, по мнению Актона, имели отношения А. И. Герцена с женой, которая преклонялась перед мужем. Все это, утверждает «психоисторик», питало его первоначальную роль. Герцен видел себя «персонифицированным будущим общества»[127]. Благодаря этой роли, полагает Актон, Герцен и придерживался исторического оптимизма, с позиций которого он соответствующим образом оценивал перспективы революционного будущего. Никакие социальные катаклизмы не могли изменить мировоззрения и идеалов Герцена, настаивает автор, пока не был поколеблен созданный им образ самого себя.

Вопреки известным фактам Э. Актон заявляет, что и революция 1848 г. никоим образом не могла изменить взглядов русского мыслителя. И лишь серия трагических ударов судьбы, измена жены и смерть матери и сына, «трансформировав его концепцию собственной роли», привели к пересмотру его представлений, подорвали его исторический оптимизм, пишет Актон. Это совпало с потерей надежд на победу революции во Франции и в конечном счете породило сомнения в необходимости революции[128].

Теория «общинного социализма» Герцена трак-

---

[125] Ibid., p. 2.

[126] Ibid., p. 2, 5, 59, 82, 84.

[127] Ibid., p. 2.

[128] Ibid., p. 51, 62, 69, 83, 89.

туется «психоисториком» как результат окончательного разочарования в революции, как прямая альтернатива революционному методу решения социальных проблем[129]. Итак, не отрицая зависимости эволюции взглядов Герцена от условий русской действительности, Актон практически сводит на нет значение этой обусловленности, психоаналитически интерпретируя взгляды русского революционного мыслителя как выражение бессознательно-личностного мировосприятия действительности. Актон пытается убедить всем своим объяснением эволюции представлений Герцена, что его революционные идеи не имели под собой достаточно серьезных оснований и мыслитель отказался от них, как только коллизии личной жизненной драмы заставили его расстаться с ролью революционера. По сути дела, Актон пытается подвести читателя к мысли, что «приверженность к революции как методу решения общественных проблем всегда является следствием недостаточной социальной зрелости революционера и неизбежно исчезает по мере обретения им жизненного опыта»[130]. Этот вывод Актона ставит его в один ряд с «психоисториками», трактующими революционную личность как тип личности, имеющий тенденцию решать собственные психопроблемы путем переноса их на общественную деятельность.

Отсутствие принципиальных коррективов в трактовке революционной личности со стороны представителей интеграционистского течения обусловливает по-прежнему скептическое отношение многих буржуазных историков к «психоисторическому» анализу[131]. Вместе с тем этот скептицизм не препятствует распространению в буржуазной исторической науке психоаналитических положений и принципов. По-видимому, психоанализ оказался настолько созвучным ее состоянию, что наряду с жанром, назовём его условно «чистой психоистории», в американской историографии вопроса существует феномен «рассеянного психоанализа». Речь идет о включении отдельных психоаналитических положений и принципов

[129] Ibid., p. 70, 168, 173, 175.

[130] См.: Сухотина Л. Г. Рецензия на книгу Э. Актона, с. 146.

[131] См.: The American Historical Review, 1980, vol. 85. № 3, p. 684—685; The Journal of Interdisciplinary History, 1971, vol. 2, № 1, p. 137—148.

в те или иные теоретические системы, рассматривающие революционную личность.

С таким включением мы сталкиваемся в безусловно заслуживающем внимания исследовании мировоззрения Н. Г. Чернышевского, принадлежащем перу американского историка Н. Перейры [132]. Придерживаясь теории модернизации, американский историк расценивает события 60-х гг. XIX в. в России не как «изолированный эпизод социальной судороги», но как начало исторического периода разрушения «старого порядка»[133]. В контексте такого подхода к историческим условиям российской действительности того времени он оценивает деятельность Чернышевского как «конституировавшую отправную точку» для разрушения старого автократического порядка[134]. При этом Перейра не соглашается с марксистской традицией, характеризующей Н. Г. Чернышевского прежде всего как революционера-демократа и материалиста по своим философским воззрениям. Он пишет, что значение Н. Г. Чернышевского скорее заключается в «его критике либерализма и политическом мученичестве, нежели в социальной диалектике, защите экономической кооперации или других формальных философских взглядах»[135]. Именно это мученичество, по мнению историка, определило впоследствии то, что Чернышевский оказался «вторым после Ленина в пантеоне советских героев»[136].

Становление Чернышевского как «прототипа политического мученика» объясняется Перейрой его замедленным эмоциональным, психологическим развитием (американский историк характеризует это как феномен старого-молодого человека), недостаточной социализацией его личности, психологической отчужденностью от окружающих [137]. Такая трактовка образа великого революционера-демократа и его исторической роли преследует цель дать альтернативную марксистской интерпретацию 60-х гг. прошлого столетия в России не как периода революционной ситуации, порожденной кризисом феодаль-

---

[132] См.: Pereira N. G. O. The Thought and the Teachings of N. G. Cernysevskiy. Mouton, 1975, p. 91—120.
[133] Ibid., p. 104.
[134] Ibid., p. 120.
[135] Ibid., 119.
[136] Ibid., p. 114.
[137] Ibid., p. 21, 94, 97.

но-абсолютистского порядка, а как времени модернизации отсталой страны, ее автократических порядков[138]. Именно поэтому акценты переносятся с социально-исторической, общественно-формационной детерминированности взаимосвязи личности и общества на внеклассовую связь идейно-психологического состояния личности (политического и психологического «мученичества» Чернышевского) с абстрактно трактуемым периодом общего кризиса автократии в стране.

Как видим, психоаналитические выкладки оказываются органически вписанными в структуру концепции американского историка. В таком «рассеянном» виде их можно встретить в целом ряде работ буржуазных историков[139].

Однако вернемся к жанру «чистой психоистории», поскольку именно он представляет предмет нашего анализа. Интеграционистский подход к проблеме революции отличает от фрейдистского и подчеркивание его сторонниками необходимости в «наведении мостов» между индивидуальным и коллективным. Постановка такой задачи, явившаяся следствием критического отношения интеграционистов к фрейдистской тенденции сведения проблемы революции к превратностям развития индивидуальной психики, свидетельствует о поисках представителями нового течения такого подхода к анализу революций, который учитывал бы специфику как коллективной психологии, так и индивидуальной. Причем интеграционисты отдают себе отчет в том, что результативность «психоисторического» анализа революций находится в прямой зависимости от степени охвата не только психологической стороны последних в их сознательном и бессознательном проявлении, но и социальной. Однако конкретная историческая практика этих исследователей, как индикатор, указывает на самое сложное и в конечном счете не поддающееся удовлетворительному решению

---

[138] Критику теории модернизации см.: Салов В. И. Проблема революции в современной методологии истории.— В кн.: Великий Октябрь в советской и зарубежной исторической литературе, с. 267—268.

[139] См., напр.: Pomper Ph. 'Sergei Nechaev. New Brunswisk N. Y., 1979. 273 p.; Berkin C. Jonathan Sewall. Odyssey of an American Loyalist. N. Y.; L., 1974. 200 p.

в рамках рассматриваемого течения в этом анализе — интегральный учет всех вышеуказанных моментов.

Хотя предпринимаемые интеграционистами в этом направлении поиски во многом основываются на ревизии ортодоксальных представлений о коллективном бессознательном, они практически сводятся лишь к частичному подновлению этих последних. Типичными в этом смысле представляются попытки Э. Фромма определить доминанту коллективного бессознательного в революционных движениях. Неприятие им фрейдистского положения об агрессивности как имманентно присущем групповой и индивидуальной психологии инстинкте не означает с его стороны окончательного отказа от трактовки коллективной психологии через биологическую природу человека. Доминантой коллективной психологии в революциях, по мнению Фромма, является стремление к свободе, которое скорее биологически обусловлено, нежели социально детерминировано. Он пишет: «Стремление к свободе есть биологическая реакция человеческого организма... История человечества есть в действительности история борьбы за свободу, это — история революций, начиная с войны за освобождение евреев от египтян, национальных восстаний против Римской империи, германских крестьянских бунтов XVI века, кончая американской, французской, германской, русской, китайской, алжирской и вьетнамской революциями»[140].

Существующие среди интеграционистов представления о коллективном бессознательном, отмеченные печатью догматов ортодоксального психоанализа, являются одним из препятствий для достижения интегрального решения проблемы личности и масс в революции. Конкретным примером необоснованности претензий на такое решение является теория «революционного бессмертия» Р. Лифтона, в свете которой он предлагает рассматривать проблему участия личности и масс в революции[141].

[140] Fromm E. H. The Anatomy of Human Destructiveness, p. 198—199. Критику этих представлений см.: Kren G. M.—History of Childhood Quarterly, 1975, vol. 2, № 4, p. 570.

[141] См.: Lifton R. J. On Psychohistory.—In: The State of American History/Ed. by H. L. Bass. Chicago, 1970, p. 291; Idem. Revolutionary Immortality: Mao Tse-tung and Chinese Cultural Revolution. N. Y., Vintage, 1968. 180 p.; Lifton R. J., Olson E. Living and Dying. L., 1974, p. 98.

Лифтон полагает, что всякую революционность следует рассматривать как выражение психологической потребности человека перед лицом неизбежной смерти сохранить чувство преемственности, связи с будущим, символического бессмертия. Это чувство он рассматривает как производное от свойственного-де человеческой природе нарциссизма. Антиисторизм данной теории обнаруживается уже в постулировании неизменности природы определенной психической структуры вне зависимости от исторических условий. По Лифтону, такая структура находит воплощение в разнообразных и изменяющихся формах реализации себя — революциях, различных по целям, задачам, содержанию. Исходя из его теории формально-логически можно объяснить всякое историческое явление, что и делает порой автор. В результате идентичными по происхождению в психологическом плане предстают такие социально разнородные явления, как «культурная революция» в Китае и фашизм, отождествляемый с «заблудшими поисками бессмертия» Гитлера[142].

Однако было бы неверно характеризовать попытки интеграционистов найти доминанту общественной психологии исключительно как реминисценцию идей классического психоанализа. В их исследовательской практике по-своему реализуется признание необходимости учета социального фактора при анализе революционной психологии, равно как и рассмотрения её в качестве исторически изменяющегося и развивающегося явления. Некоторые исследователи, например, Р. Либерт, пытаются увязать проблему психологии студенческих выступлений с социальным содержанием общественного процесса. В своем исследовании студенческих волнений 1968 г. в Колумбийском университете Р. Либерт показывает, что они были отражением того состояния социально-политической борьбы, в котором оказалось тогда все американское общество[143]. Увязывая эти выступления с борьбой за гражданские права, против политической коррупции, за прекращение войны во Вьетнаме и рассматривая их в свете не только лозунгов и идей, но и психологического настроя отдельных групп участников, он стремится к интегральному освещению исследуемых событий.

---

[142] Lifton R. J., Olson E. Op. cit., p. 98., 99.

[143] Libert R. Op. cit., p. XV.

В ряде случаев можно считать уместным и использование им психоаналитического метода. Например, пытаясь понять причины сдержанной и недостаточно активной позиции черных студентов, он проанализировал часть интервью, взятых у участников выступлений. Выявив, что на эту позицию не в малой степени влияли чувства страха и боязни, игравшие гораздо большую роль в психологическом настрое черных студентов, чем белых, Либерт пытался найти их истоки. Он показал, что данные бессознательные установки явились результатом накопления длительного исторического опыта дифференциации последствий участия в подобных социальных акциях для черных и белых [144]. В такой интерпретации бессознательное, рассматриваемое в историко-психологическом контексте, может быть признано как одно из условий, выявление которого важно для более полного объяснения изучаемой проблемы. Именно так следует оценивать и призыв некоторых интеграционистов считать массовое поведение в период социального кризиса ответом на реальные проблемы социального мира [145].

Тем не менее анализ Р. Либерта страдает определенной ограниченностью. «Психоисторик» не видит связи, которая существует между реальными проблемами современного ему буржуазного общества, давшими импульс студенческим выступлениям, и законами развития этого общества. Исследование автора свидетельствует, что даже самые утонченные «психоисторические» интерпретации обнаруживают отсутствие у буржуазных исследователей адекватного задачам исторического анализа понимания законов общественного развития.

Если происхождение революций и увязывается с обусловившими их социальными, политическими, историческими изменениями, что имеет место у исследователей интеграционистского течения, то это не означает действительного понимания значения и роли указанных изменений в возникновении революций. Нередко они рассматриваются лишь как факторы, способствующие активизации в личности психологической потребности в рево-

[144] Ibid., p.107—112.

[145] Weinstein F., Platt G. The Coming Crisis in Psychohistory, p. 215.

люционном изменении[146]. Это неразрывно связано с игнорированием того факта, что «революция есть такое преобразование, которое ломает старое в самом основном и коренном»[147]. И этим основным является изжившая себя система производственных отношений.

Методология «психоисторического» анализа революций даже в интеграционистском варианте далека от ориентации на глубокое исследование исторических закономерностей революций, связанных с глубинными основами социально-экономического и политического развития общества.

Показательным примером такого анализа является книга американских «психоисториков» Ф. Вейнстейна и Дж. Плэтта, с чьими работами во многом связано возникновение интеграционистского течения в «психоисторической» революциологии. Книга называется «Желание быть свободными: общество, психика и изменение ценностей»[148]. Внимание авторов обращено на исследование развития идей и духа свободы в период Просвещения и Французской революции и в современную эпоху. В этом плане особое внимание авторов привлекает вопрос о связи Просвещения и Великой французской революции. Отмежевываясь от фрейдистских представлений на этот счет, они указывают, что враждебные чувства по отношению к старому порядку не были порождением философии Просвещения. Просветители, пишут они, лишь выкристаллизовывали чувства, дали им языковое оформление, идеологически оформили ценность автономии[149]. Изменению ценностей, возникновению требований автономии, расширения прав участия в общественной жизни способствовали, по мнению авторов, конкретные полити-

---

[146] «Человек,— утверждает, например, Р. Лифтон, — никогда не изменяется в результате каких-либо внешних воздействий, но скорее находит в себе импульсы к изменению, активизированные этими внешними силами». См.: Lifton R. G. Thought Reform and Psychology of Totalitarism: (A Study of Brainwashing in China). N. Y, 1961, p. 464.

[147] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 222.

[148] См.: Wenstein F., Platt G. The Wish to be Free: Society, Psyche and Value Change.

[149] Ibid., p. 49—50. Под ценностью автономии авторы понимают организованные, идеологически кодифицированные требования расширения прав участия в общественной жизни рядового члена общества.

ческие и исторические условия, в которых находилась Франция в тот период. Признавая значение социальных условий в возникновении революционных идей и необходимость учета этих условий в рамках «психоисторического» исследования, Вейнстейн и Плэтт не могут пройти мимо учения Маркса. Они подчеркивают его выдающийся вклад в изучение общества: «Марксова критика либеральных воззрений представляла собой значительный шаг вперед, так как самым решительным образом определяла важность социальной структуры в формировании общественных идей и институтов».[150] Вместе с тем, по их мнению, К. Маркс игнорировал фактор бессознательного, оказывающего существенное влияние на исторический процесс. В отличие от Маркса, продолжают авторы, Парсонс рассматривал личность как «систему включения внутренних механизмов контроля». Это позволяет им, пишут Вейнстейн и Плэтт, надеяться на успешное осуществление намерений интегрировать в собственном методе психоаналитический метод Фрейда и структурно-функциональный метод Т. Парсонса.

Со структурно-функциональным методом связан один из наиболее серьезных в бужуазной социологии подходов к проблеме революций. Он отражает намерение по крайней мере части приверженцев этого метода рассматривать революционные изменения как коренящиеся в самой системе общественных отношений, а не просто в качестве патологических[151]. В книге Вейнстейна и Плэтта получил развитие тезис Парсонса о том, что революции происходят из нарушения равновесия «структуры власти». По их мнению, в социальном плане Французская революция была обусловлена прежде всего ослаблением центрального символа традиционной «структуры власти» — символа монархии в результате неудавшейся попытки создать административную структуру, с которой бы король делил власть[152]. Таким образом, авторы исходят из парсоновского понимания власти, согласно которому в обществе нет монополии власти, она всегда распределена между организациями и группами, что может привести к ее обесцениванию. Соответственно

[150] Ibid, p. 2—6.

[151] См.: Красин Ю. А. Революцией устрашенные, с. 38.

[152] См.: Weinstein F., Platt G. The Wish to be Free, p. 46—47.

такому толкованию последнее может быть вызвано самыми разнообразными причинами. Вейнстейн и Плэтт усматривают их в бюрократизации политики Людовика XVI, в попытках создать такую «административную структуру», с которой бы он делил власть, в провалах экономической и военной политики правящих кругов.

Авторы отмечают, что хотя каждый член общества воспринял кризис «структуры власти» по-своему, тем не менее возросло общее чувство тревоги, увеличилось стремление к автономии. И этот «комплекс мотивов, тревог и интересов», связанных со стремлением к автономии, и обусловил в конечном итоге революционный взрыв[153].

Стремление к автономии, бессознательное в своей основе и кодифицированное в идеях просветителей, отразивших изменение шкалы ценностей в обществе, объявляется определяющим моментом для понимания причин Французской революции. Такой подход вытекает из центрального тезиса книги: «Все революционные изменения имеют общий базис — они возникают в форме личных фантазий-желаний. Прогрессия всегда одинакова: желания, которые до этого подавлялись, становятся осознанными, систематически кодифицируются и ведут к социальным акциям, направленным на фундаментальное изменение ценностей, служащих для организации поведения внутри социальной системы» [154].

Несмотря на то, что авторами признается социально-историческая обусловленность желаний-фантазий, последние имеют для них самодовлеющее значение, связанное с естественным происхождением у человека бессознательного стремления к независимости, свободе, автономии. Желание автономии, рассматриваемое как имманентно присущее личности и реализуемое в условиях кризиса власти, мыслится как некая психологическая бессознательная константа, подобная фроммовскому «инстинкту свободы». Такая посылка обрекает метод наших авторов на элиминацию от подлинного социально-исторического контекста возникновения и развития требований автономии, за учет которого они столь усердно ратовали, и заставляет их прибегнуть к искусственной

[153] Ibid., p. 47—50, 108.
[154] Ibid., p. 20.

схеме «кризиса власти». Соответственно такому подходу социально-исторические условия, к которым апеллируют Вейнстейн и Плэтт в своем анализе Французской революции, не увязываются ими с общими закономерностями развития феодальных отношений в стране. Более того, эти условия сводятся ими фактически к кризису власти, причем последний рассматривается не как вытекающий из кризиса всей изжившей себя системы феодальных отношений, а как следствие инфляции структуры власти, заложенной в самой природе этого института. Мы уже не говорим о том, что предлагаемая авторами интерпретация политической истории предреволюционной Франции весьма далека от действительного положения дел. Нельзя, в частности, не согласиться с одним из критиков книги, Дж. Изенбергом, который отмечает, что декларируемые в ней в качестве причин кризиса власти бюрократизация политики Людовика XVI и создание новой административной системы в действительности были апофеозом абсолютистской монархии и являлись одним из инструментов борьбы за консолидацию и упрочение королевской власти [155].

Рассматриваемое исследование позволяет судить и об общих результатах, которых достигла «психоистория» на путях интегрального освещения революции. Попытки учесть многообразие факторов, обусловливающих то или иное историческое явление, без указания их субординации привели интеграционистов в лагерь сторонников известной теории факторов. Как и у многих сторонников «многофакторности», к которым, кстати, относится и Т. Парсонс, психологический фактор у интеграционистов получил субстанциализирующее значение [156]. Так замыкается круг. Претензия преодолеть «односторонность» марксистского метода социального анализа путем обогащения его фрейдизмом на деле оборачивается односторонней психологизацией исторического процесса; «методологический плюрализм» становится изощренным средством борьбы против марксистского понимания истории, что особенно рельефно обнаруживается как раз в трактовке революционных движений.

---

[155] См.: Izenberg G. Op. cit., p. 139.

[156] О принципах многофакторного анализа Т. Парсонса см.: Шаронов В. В. Указ. соч., с. 78.

Характерной чертой интеграционистского подхода к проблеме революций является внеформационное рассмотрение их. Так, Вейнстейн и Плэтт анализируют проблемы Просвещения и Французской революции вне связи с функционированием и кризисом феодальной формации, что приводит их к неспособности правильно определить их место в общественно-историческом процессе. Просвещение и революция рассматриваются лишь как эпизод социальной борьбы, приведшей к достижению независимости личности в большем масштабе, демократизации общественной жизни Запада[157].

При этом выхолащивается действительное содержание этой «социальной борьбы за автономию», игнорируется ее классовая сущность. Бессознательное стремление к автономии, кодифицированное в соответствующие ценности, расценивается как внеклассовое. «Психоисторики» вслед за Парсонсом игнорируют тот существенный момент, что фактором, определяющим шкалу ценностей данного класса или социального слоя, выступает его положение в системе общественных отношений, что ценностные ориентиры людей являются производными прежде всего от их социально-исторического опыта. Вместо указанных социальных детерминант «психоисторики» вводят психоаналитическое понятие амбивалентности, при помощи которого пытаются объяснить процесс реализации ценностей автономии во Французской революции. Это приводит их при анализе тех или иных вопросов, связанных с проблемой «поиска автономии», к выводам, далеко не адекватным реальному содержанию породившей эти вопросы революционной действительности Франции конца XVIII в.

Свидетельством этому является, например, объяснение Вейнстейном и Плэттом исхода революционной борьбы 1789 — 1794 гг. Рассматривая ее как этап более широкой борьбы за автономию, они полагают, что революция не преуспела в достижении цели индивидуальной автономии, в интеграции плюралистических интересов. Любопытно, что авторами признается частичная роль, которую сыграло в этом нежелание аристократии «мириться с последствиями революции», но главную причину они усматривают в том, что «те, кто были согласны

[157] Weinstein F., Platt G. The Wish to be Free, p. 81.

на революцию в принципе, не смогли согласиться с той мерой, в какой новые ценности были реализованы»[158]. Во многом это объясняется авторами несоответствием гражданской власти, которая должна была олицетворять ценность автономии, этому идеалу. Наиболее значимый, по их убеждению, элемент в формировании такой гражданской власти — последовательный харизматический лидер — не был найден. Вейнстейн и Плэтт утверждают, что по различным причинам ни один из лидеров не мог играть такую роль[159]. Даже Робеспьер, некоторое время выступавший в качестве харизматического лидера, в конце концов в силу амбивалентности собственной личности оказался неспособен реализовать ценности, за которые боролся. Отсюда следует, заявляют «психоисторики», что первоочередной задачей является именно исследование природы его амбивалентности[160].

Отмечая, что Робеспьер занимал позицию, встречающую поддержку широких масс фактически по каждому вопросу, который вставал с 1789 г., Вейнстейн и Плэтт полагают, что причины этой популярности следует искать не столько в самих требованиях его, сколько в той манере, в какой они излагались. Авторы подчеркивают, что первостепенное значение в этом смысле имели его способности манипулировать народным волнением, «способности, которые черпались из воинственного карающе-морализирующего тона, демонстрируемого морального превосходства, отмеченного бескомпромиссной непреклонностью, и способности структуировать мир в абсолютных терминах»[161]. Авторы утверждают, что именно эти качества Робеспьера, характерные для авторитарного типа личности, способствовали его популярности. Последняя росла, пишут они, поскольку личностные качества Робеспьера соответствовали задачам революционной ситуации. Это соответствие сохранялось до принятия конституции 1793 г. и осознания умеренными членами Конвента, что аппарат террора может быть устранен[162].

Террор, полагают авторы, с точки зрения его осуществлявших людей был признан спасти революцию и страну.

---

158 Ibid., p. 108.
159 Ibid., p. 111.
160 Ibid., p. 112.
161 Ibid., p. 113—114.
162 Ibid., p. 130.

Для Робеспьера террор был не просто революционной тактикой, нацеленной на стабилизацию хаотичной социальной ситуации, но, как подчеркивают они, и отражением стремления его сознания положить конец всем человеческим страданиям, морально оправданным деспотизмом свободы по отношению к тирании. Однако, заявляют Вейнстейн и Плэтт, объективно кризисное положение, в котором оказалась Франция, объясняющее введение террора, не может объяснить ни садистские эксцессы людей типа Карно или Фуше, ни склонность людей типа Робеспьера или Сен-Жюста к средствам, попиравшим сами принципы, за которые они боролись. Робеспьер, получив власть, полагал, что способен сделать эффективными демократические ценности, но исключительная опора на насилие в достижении социального контроля не соответствовала этой цели. Насилие и террор были далеки от того идеала автономии, к которому стремились люди. Однако Робеспьер, заключают «психоисторики», «не понял аналогии, которую создал своей диктатурой справедливости институту королевской власти»[163]. Вейнстейн и Плэтт не ограничиваются констатацией этого очевидного с их точки зрения противоречия между идеалом Робеспьера (ценностью автономии) и способами его достижения. Пытаясь объяснить природу этого парадокса, они полагают, что лучше всего она может быть понята в свете тех авторитарных импульсов, которые исходили из неспособности Я Робеспьера справиться с собственными внутренними тревогами, усугубляемыми хаотичными внешними обстоятельствами. Поскольку они были внутренними, то ничто не могло устранить их, утверждают авторы. Ситуация всякий раз структуировалась таким образом, поясняют они, что всегда находилось что-то, оправдывающее потребность Робеспьера в сохранении тотального контроля над враждебным окружением. Именно поэтому, пишут они, даже после победы при Флерюсе, означавшей ликвидацию возможности реставрации старого порядка, Робеспьер не пошел на упразднение аппарата террора. Его отказ повернуть политику в легальные каналы, так чтобы цели революции были достигнуты, положил конец ему как политическому лидеру, подытоживают «психоисторики»[164].

[163] Ibid., p. 126, 131, 133, 136.
[164] Ibid., p. 127—130.

Итак, бессознательно амбивалентное отношение Робеспьера к ценности автономии, вылившееся в конечном итоге в амбивалентность его как революционного лидера относительно целей и средств революции, определило, согласно рассматриваемой трактовке, ход и результаты революционной борьбы 1789 — 1794 гг.

Начнем анализировать предложенную «психоисториками» интерпретацию с того, что согласимся с наличием определенного противоречия между сознательными намерениями Робеспьера, как пишут Вейнстейн и Плэтт, «положить всем человеческим страданиям конец» и методами и способами реализации этих намерений. Другое дело, что авторы рассматриваемого исследования главную причину его видят в том, что деятельность Робеспьера в конечном счете корректировалась не его рациональными идеалами, а лежащей в основе его политического стиля бессознательной установкой на тотальный контроль над ситуацией, установкой, детерминируемой его психической структурой. Они прямо объясняют обращение Робеспьера к террору его склонностью к методам соответствующего характера, однако сколько-нибудь убедительных аргументов в пользу этого они не приводят.

Зато есть убедительные свидетельства того, что «никто не был так внутренне далек, так психологически не подготовлен к кровавым мерам насилия, как Максимилиан Робеспьер, Сен-Жюст или кто-либо другой из якобинских руководителей в ближайшие недели после победы народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 года»[165]. Лишь после известных событий, убийства Марата и Шалье, якобинские лидеры приходят к выводу, что медлить нельзя. «Робеспьер был убежден в том, что после огромных усилий народа, после ожесточенных сражений и наконец обозначившегося перелома в борьбе с контрреволюцией Республика подходит все ближе к осуществлению своих идеалов и, в его понимании, этот мир не может быть установлен без сокрушения эбертистов и дантонистов»[166].

Безусловно, в реальной действительности того времени отсутствовали условия для достижения указанных идеалов, а на пути к ним неизбежны были просчеты и

[165] Манфред А. З. Указ. соч., с. 362.

[166] Там же, с. 381—382.

ошибки. Были ли они результатом психологической противоречивости самого Робеспьера, его амбивалентности? В какой-то мере, да. Вспомним известное высказывание В. И. Ленина о том, что идеологи буржуазии в XVIII в. «совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного»[167]. Нам бы хотелось здесь подчеркнуть объективную невозможность для этих людей адекватно оценить окружающую историческую действительность и перспективы ее развития, невозможность, обусловленную вполне определенным, конкретным социально-историческим опытом. Этот опыт вне всякого сомнения существенным образом определял психологию как целых классов и социальных слоев, так и отдельных их представителей. Поэтому неудивительно, что Робеспьер «не сумел сразу же разглядеть, вернее сказать, правильно оценить стоявшую за их тенями (речь идет о представителях правого крыла революции.— *Авт.*) силу. Ему казалось вначале, что речь идет об одном или даже двух-трех десятках отщепенцев и интриганов, изменивших принципам политической морали, а на деле оказалось, что против революции движутся бескрайние ряды вражеских сил, что они напирают со всех сторон неодолимо, как катящаяся лавина»[168]. Это один источник, питавший противоречия Робеспьера в его ценностных ориентациях относительно идеала свободы и мер его осуществления в реальной действительности. Другой связан с тем, что Робеспьер выражал интересы классово неоднородного блока; недаром ему, как справедливо отмечает А. З. Манфред, трудно найти точный социальный эквивалент.

Таким образом, наиболее важным для понимания сути противоречий (или амбивалентности согласно «психоисторической» терминологии) Робеспьера является то, что он был, «сам того не сознавая, вождем буржуазной революции, и этим были обусловлены его просчеты и ошибки, в этом была его трагедия»[169]. За противоречиями в сознании Робеспьера и его психологии скрывались

---

[167] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.

[168] Манфред А. З. Указ. соч., с. 351.

[169] Там же, с. 331, 344.

противоречия определяющего характера, социальные по своей природе, которые оказались вне поля зрения «психоисториков». Несостоятельность выдвинутой Вейнстейном и Плэттом концепции со всей очевидностью обнаруживается и в объяснении ими того, почему революция «не преуспела в достижении согласия плюралистических интересов». Списав неуспех на счет неспособности Робеспьера исполнить роль последовательного революционного харизматического лидера, который бы олицетворял идеал автономии, они в то же время элиминировались от исследования социальной разнонаправленности поисков реализации этого идеала различными общественными группами. Характерным в этом смысле является заявление авторов, что социальные устремления жирондистов и санкюлотов в принципе не различались, что лучшие представители обеих фракций разделяли одни и те же взгляды на «постреволюционное общество»[170]. Они пишут, что санкюлоты не доверяли жирондистам, поскольку чувствовали, что те, кто окружали Бриссо, были нерешительными, неспособными руководить; с другой стороны, отмечают «психоисторики», санкюлоты были терпимы по отношению к сторонникам Робеспьера, не отождествлявшимся в их глазах с предательством и способным на решительные поступки[171]. Конфликт между различными методами разрушения старого порядка и создания нового видится «психоисториками» как конфликт между различно психологически настроенными группами. Между тем это различие имело свои глубокие корни и отражало, как подчеркивает А. В. Адо, «столкновение между различными тенденциями, путями капиталистического развития»[172].

Рассматриваемое исследование свидетельствует, что в поисках новых интерпретаций социальных революций «психоисторики» не покидают исходных позиций, занимаемых буржуазной историографией. На примере предложенной Вейнстейном и Плэттом интерпретации Французской революции мы имеем возможность убедиться в общности главной методологической и идеологической

---

[170] Weinstein F., Platt G. The Wish to be Free, p. 124.

[171] Ibidem.

[172] Адо А. В. Французская буржуазная революция XVIII века и ее современные критики.— Новая и новейшая история, 1981, № 3, с. 58.

направленности нового жанра буржуазной революциологии и жанра традиционного. Эта общность проявляется прежде всего в том, что «психоисторический» подход к проблеме Французской революции вполне соответствует усилившимся в буржуазной исторической науке попыткам «реинтерпретировать» ее, выражающимся, в частности, в отказе от ее социально-экономической интерпретации, абсолютизации автономности идейно-политического и идейно-психологического анализа и приводящим в конечном итоге к научно несостоятельным результатам[173]. Историографическая несостоятельность рассматриваемой интерпретации находится в тесной взаимосвязи с ее идеологической направленностью, откровенно антимарксистской и антикоммунистической. Показательным в этом плане является, например, утверждение, что «современные революционные движения, которые вмешиваются в экономические и политические процессы на основе предположения, что 1) доминирующий источник волнений и агрессии находится в производственной сфере, 2) контроль над экономической и политической машинами приведет к контролю над человеческой природой, не сумели достигнуть главной цели, которой являлось фундаментальное изменение в индивидуальной мотивации... Волнения, происходящие из сложности и плюрализации (общества. — *Авт.*), будут сохраняться и успешно разрешаться только на основе личной автономии внутри соответствующих институционных структур»[174].

Число подобных утверждений можно легко умножить, и, конечно, они характерны не только для книги Вейнстейна и Плэтта[175]. В своей совокупности они свидетельствуют о том, что попытки интеграционистов наметить «новые перспективы» в «психоисторической революциологии» по-прежнему связаны с поиском альтернативы марксизму в трактовке современной исторической ситуации. Революционный характер последней, стимулирую-

---

[173] Там же, с. 43—63.

[174] Weinstein F., Platt G. The Wish to be Free, p. 226.

[175] Так, например, крупнейший «психоисторик»-интеграционист К. Кенистон бездоказательно заявляет, что «Марксово утверждение о классовой борьбе как основополагающем историческом конфликте», отражавшее действительность XIX в., якобы не соответствует реальности XX в.— См.: Keniston. Op. cit., p. 310.

щий активизацию попыток буржуазных «психоисториков» найти социально эффективное решение проблемы революции, обусловливает стремление части из них реформировать традиционный фрейдистский подход. Однако и в своем интеграционистском варианте «психоисторическая» революциология оказалась научно несостоятельной. Не изменились сколько-нибудь существенно ее идейные позиции, да и в ее концептуальных положениях явственно проглядывает печать ее фрейдистского происхождения.

3. Американская революция XVIII в. в «психоисторической» интерпретации

Стремление «психоисториков» выхолостить социальное содержание революционных движений получило особенно яркое выражение в их трактовке Американской революции конца XVIII в. Эта революция занимает особое место в «психоисторической» революциологии. В отличие от других революционных движений она характеризуется большинством «психоисториков» весьма позитивно; в особенности подчеркивается ее творческий, созидательный характер, ее выдающаяся конструктивная роль в истории США. На первый взгляд такая трактовка противоречит общим негативистским принципам «психоисторической» революциологии. Однако это противоречие кажущееся. Перед нами именно тот случай, когда исключение только подтверждает правило. Дело в том, что эта революция трактуется как несоциальная, что и обусловливает, по убеждению американских историков, ее особое положение.

Действительно, Американская революция XVIII в. обладает известным своеобразием уже потому, что является революцией внутриформационной[176]. Это свое-

[176] Об особенностях Американской революции и интерпретациях последней в буржуазной историографии подробнее см.: Болховитинов Н. Н. США: проблемы истории и современная историография. М., 1980, с. 49—115; Согрин В. В. Идейные течения в Американской революции XVIII века. М., 1980, с. 51—56; Он же. Современная американская историография о буржуазных революциях в США.— Новая и новейшая история, 1982, № 1, с. 20—38; Он же. Буржуазные революции в США: общее и особенное.— Вопросы истории, 1983, № 3, с. 32—47; История США. М., 1983, т. 1, с. 123—173, 641—651.

образие выразилось в меньшей масштабности и глубине (по сравнению с революциями в Англии и Франции) социальных преобразований, в меньшей амплитуде ее классовых и идейных противоречий. Наконец, она носила антиколониальный, национально-освободительный характер.

Будучи действительно отличной от классических революций, Американская революция является удобным объектом для «психоисторических» спекуляций относительно ее якобы несоциального характера. Э. Бэрэуз, М. Воллэси, Б. Мэзлиш и другие «психоисторики» прямо отказывают ей в социальном статусе, определяя ее лишь как движение за независимость и усматривая в этом коренное отличие ее от Английской революции XVII в., Французской революции конца XVIII в., Октябрьской революции 1917 г.[177]

В такой трактовке мы сталкиваемся не просто с попыткой обоснования американскими «психоисториками» национальной исключительности революционного прошлого США, а следовательно, и их настоящего, но с гораздо более важным явлением в буржуазной «психоистории». Речь идет о попытках некоторых ее представителей обосновать несоциальный характер революционных изменений современности путем выявления соответствующих аналогий в прошлом. Так, рассуждения об особенностях Американской революции сопровождаются проведением параллелей с национально-освободительными революциями XX в. Э. Бэрэуз и М. Воллэси утверждают, например, что решения алжирского и вьетнамского народов «рисковать всем за национальную независимость» аналогичны решимости американцев XVIII в. атаковать «узы, которые держат один народ в повиновении у другого. Понимание природы этих уз и того, как они рушатся, является необходимой отправной точкой получения истинного представления о процессе антиколониальных революций»[178]. Таким образом, определение указанными «психоисториками» борьбы за независимость американского народа как несоциальной предполагает аналогичную оценку

---

[177] См.: Burrows E., Wallacy M. Op. cit., p. 167, 209; Mazlish B. Leadership in the American Revolution, p. 116—117.

[178] Burrows E., Wallacy M. Op. cit., p. 167.

современных национально-освободительных революций.

Первые попытки использования психоаналитического метода в исследовании Американской революции носили выраженный фрейдистский характер. При этом очевидный субъективизм и антиисторизм, выражавшиеся в ее интерпретации через призму психологических комплексов революционной личности, нередко сочетались с негативным отношением к самой революции.

Показателен в этом отношении подход к Американской революции Р. Харлоу, настаивающего на том, что идеализация и канонизация историками образа выдающегося организатора освободительного движения английских колоний в Северной Америке Сэмуэля Адамса препятствует критическому анализу революции. Объективная оценка Адамса, утверждает он, способствовала бы более ясному пониманию этой революции и природы революций в целом [179]. В анализе Американской революции, как явствует из его интерпретации, следует опираться на два основополагающих момента: 1) побудительные мотивы деятельности ее революционного лидера имели внутреннюю психологическую природу; 2) восстание против британской политики было прямым следствием этой деятельности; формирование «антибританского» комплекса у американцев явилось результатом пропагандистской и агитационной деятельности Адамса, обусловленной неким присущим ему комплексом неполноценности, перенесенным в область политики. Недовольство в американских колониях британским правлением было столь незначительным, пишет Харлоу, что не могло породить революцию [180].

Особое значение в аргументации Харлоу имеет трактовка им периода 1770—1773 гг. Он пишет, что с 1770 г. в колониях начался период смены политических настроений, означавший возможность реставрации «сердечных» отношений с Англией. Дискуссии пошли на убыль, но примирение вовсе не было желаемым для Адамса. С 1770 по 1773 г. Адамс проделал труднейшую работу всей своей жизни — наполнил души людей собственной безрассудной ненавистью к Великобрита-

[179] Harlow R. V. A Psychological Study of Samuel Adams, p. 418—419.

[180] Ibid., p. 419, 425.

нии. «История революции в Массачусетсе показывает, как несколько человек во главе с С. Адамсом могли повергнуть целую провинцию в ярость так, что она утратила способность рационально реагировать на важнейшие вопросы. Более того, триумф Адамса доказывает, что объективные основания для недовольства не являются существенными в (революционном.— *Авт.*) процессе»,— заключает Харлоу [181].

Действительно, 1770—1773 гг. известны как время спада патриотического движения в Северной Америке, явным исключением из которого является Массачусетс, где тогда активно действовал Адамс. Едва ли оспорима та огромная роль, которую он сыграл в поддержании прежнего тонуса антиколониальных настроений в этот период. Прирожденный организатор, один из крупнейших идеологов патриотического движения, он особенно много сделал для внесения идей этого движения в массы. Кстати сказать, не один Адамс «ответствен» за демократический подъем в Массачусетсе. Как отмечает В. В. Согрин, этот подъем не в последнюю очередь был обусловлен тем фактом, что «патриотам в этой провинции противостоял один из самых твердых ревнителей интересов Англии — губернатор Т. Хатчинсон» [182]. В его деятельности наиболее выпукло отразилась британская политика посягательств на политические права колонии. Именно в период с 1771 по 1773 г. был проведен ряд мероприятий, которые не могли не вызвать сопротивления колонистов [183]. Эти мероприятия и явились непосредственной причиной активизировавшейся деятельности Адамса по организации патриотического движения в Массачусетсе. Игнорирование «психоисториком» этой причины вполне объяснимо в свете его заявления о несущественности «объективных оснований для недовольства» при анализе революции. Правда, в более позднем исследовании Харлоу вносит некоторое уточнение. Он пишет уже не о «несущественности», а о «недостаточности» таких факторов, как британская политика и возмущение американцев ею, для объяснения

[181] Ibid., p. 422—425, 427.

[182] Согрин В. В. Идейные течения в Американской революции XVIII века, с. 96—97.

[183] Подробнее см.: Согрин В. В. Сэмюэл Адамс — пионер Американской революции.— Американский ежегодник, 1975, с. 197—199.

происхождения революции [184]. Однако он продолжает настаивать, что революция была не спонтанным движением, результатом истинно народного восстания, а продуктом агитации и пропаганды одного из наиболее видных ее деятелей — Адамса [185].

Утверждению этой мысли подчинена психоаналитическая характеристика Адамса, являющаяся к тому же явно тенденциозной. Так, справедливо отмечая, что семейная традиция во многом способствовала формированию Адамса как деятеля патриотического толка, Харлоу в то же время игнорирует факт осознанной реакции Адамса на проявления британской политики попирания прав колонистов, которые на себе ощутила его семья [186]. Вместо этого «психоисторик» сосредоточивается на обосновании тезиса о мотивированности деятельности Адамса иррациональной ненавистью к Великобритании, основывавшейся на якобы присущем ему комплексе неполноценности. Поэтому в исследовании факторов, повлиявших на становление Адамса как революционного лидера, он придает первостепенное значение таким, как догматизм его матери, отрицательное отношение отца к исполнительной власти, якобы трансформировавшееся в несокрушимую догму сознания Адамса, неудачи фанансового и профессионального характера, способствовавшие-де формированию комплекса неполноценности и антибританского комплекса у младшего Адамса [187]. Тем самым создается действительно одномерный образ, искажающий не только исторический портрет пионера Американской революции, но и ее самое. Последняя выступает как производное от деятельности Адамса, как явление незакономерное и лишенное социального содержания.

С такими же грубо психологизаторскими интерпретациями мы сталкиваемся в ряде других работ «психо-

---

[184] Harlow R. V. Samuel Adams. Promoter of the American Revolution, p. 125.

[185] Ibidem.

[186] Подробнее об этом см.: Согрин В. В. Сэмюэл Адамс — пионер Американской революции, с. 187.

[187] Harlow R. V. A Psychological Study of Samuel Adams, p. 419—421; Idem. Samuel Adams, Promoter of the American Revolution, p. 37, 38.

историков» фрейдистского толка [188]. Однако не они, а исследования интеграционистов, идеализирующие Американскую революцию, определяют современное состояние ее «психоисторического» освещения. Укрепление позиций интеграционистского течения связано прежде всего с рассмотренными ранее попытками историзации «психоисторического» подхода. Выражением последних являются, в частности, заявления интеграционистов о необходимости преодоления старых субъективистских «психоисторических» трактовок, в которых революции прямо выводились из психопатологии революционной личности. Некоторые из «психоисториков», по крайней мере на словах, отдают себе отчет в том, что «определение степени, в какой личная травма утонченнейшим образом влияет на политическое действие», является одной из наиболее трудных и рискованных для исследователя проблем [189]. Но это не может служить препятствием, считают интеграционисты, для исследования тех или иных сюжетов с помощью метода персонификации исторических явлений.

Типичным примером апробации этого метода на «психоисторической» основе является исследование Б. Мэзлиша «Лидерство в Американской революции: психологическое измерение» [190]. Оно помещено в сборнике материалов III симпозиума историков по проблеме Американской революции, посвященного 200-летию США. Как явствует из введения к сборнику, одним из побудительных мотивов созыва симпозиума и издания его материалов явилось стремление дать оценку феномена лидерства, подвергнувшегося накануне празднования юбилея беспрецедентной дискредитации в связи с «Уотергейтским делом». И хотя авторы сборника не пришли к единой оценке, общий идейный тон его, выразившийся в акцентированном внимании к «замеча-

[188] См., напр.: Gorer G. The American People: A Study in National Character. N. Y., 1948. 290 p.; Binger C. Conflicts in the Life of Thomas Jefferson.—The American Journal of Psychiatry, 1969, vol. 125, № 8, p. 1098–1107; Harris R. G. Thomas Jefferson: Female Identification.—American Imago, 1958, vol. 25, № 4 p. 371–383.

[189] См. напр.: Brodie F. M. Thomas Jefferson. An Intimate History. N. Y. 1974, p. 101, 105.

[190] См.: Mazlish B. Leadership in the American Revolution, p. 113–133.

тельным качествам» лидеров Американской революции, свидетельствует о единой направленности усилий убедить читателя в здоровых истоках американского лидерства. В то же время раскрытие феномена лидерства изнутри, в психологическом плане, должно, по замыслу организаторов симпозиума, показать лидеров обыкновенными людьми, которым ничто человеческое не чуждо, в том числе и ошибки. Тем самым определяется и актуальность работы Б. Мэзлиша.

Задаваясь целью дать сравнительный очерк революций через призму лидерства в них, Б. Мэзлиш подчеркивает особый, отличный от европейских образцов, американский тип революционного лидерства [191]. Главной особенностью американского революционного лидера была, по словам «психоисторика», его способность работать в направлении объединения интересов и усилий колоний, нацеленных на достижение независимости [192]. Он, на наш взгляд, совершенно верно полагает, что «лидер 1776 года должен был быть достаточно сильным, чтобы порвать аффективные связи с родительской страной» и воодушевить других уверенностью, что они смогут преодолеть шок разрыва. Безусловно верно также и то, что он «должен был унифицировать, объединить все эти чувства в новый континентальный синтез, выраженный сознательно в новой идеологии» [193].

Заметим, однако, что в такой постановке вопроса нет и ничего принципиально нового. Еще Г. В. Плеханов указывал на то, что великий человек «...видит дальше других и хочет сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом умственного развития общества; он указывает новые общественные нужды, созданные предыдущим развитием общественных отношений; он берет на себя почин удовлетворения этих нужд... его деятельность является сознательным и свободным выражением этого необходимого и бессознательного хода» [194]. Вместе с тем отдадим должное попыткам Мэзлиша дать оценку лидерству в контексте исторических условий и потребностей страны в период борьбы за независимость. Мэзлиша

---

[191] См.: Ibid, p. 116—120.
[192] Ibid., p. 115.
[193] Ibid., p. 127.
[194] Плеханов Г. В. Избр. филос. произв. М., 1956, т. 2, с. 333.

интересует в этой связи вопрос, что соответствовало в психоисторическом развитии лидеров национальным потребностям страны. Так, он пытается выяснить, какие черты Джорджа Вашингтона, «отца нации», соответствовали потребностям ситуации 1770-х гг. Наряду с другими «психоисторик» подчеркивает особое значение наличия у Вашингтона раннего и обостренного чувства независимости. С этим можно было бы согласиться, если бы не объяснение, которое получает в интерпретации Мэзлиша указанная черта. Наличие раннего и обостренного чувства независимости у Дж. Вашингтона автор относит на счет «резонации» семейного опыта, имея при этом в виду следующее. Отец Дж. Вашингтона, Августин, потерял отца в 3 года, а мать — в 7 лет; мать Вашингтона, Мария, также потеряла отца в 3 года, а мать — в 12 лет; сам Джордж потерял отца в 11 лет. Подобного рода потери способствуют, по словам Мэзлиша, раннему созреванию чувства независимости в ребенке [195].

Не оспаривая такой психологической интерпретации личного опыта Дж. Вашингтона, все же отметим, что она в значительной степени гипотетична. Не всегда и не обязательно подобного рода условия социализации личности ведут именно к такому результату. Однако уязвимость позиции Мэзлиша не в том, что он, пытаясь найти истоки указанной черты, обратился к бессознательно-личному опыту лидера, а в том, что он при этом ушел от поиска общих социально-психологических детерминант. Мэзлиш, правда, утверждает, что потери родных и близких будто бы были характерными для того времени [196], но это утверждение повисает в воздухе. Как видим, использование Мэзлишем психоаналитического метода не проясняет поднятой им проблемы соотношения личного опыта революционного лидера и исторических потребностей страны, поскольку из поля зрения «психоисторика» выпадает существенно необходимое звено — социально-типические факторы, опосредующие эту связь.

Продолжая перечень черт американского типа ре-

---

[195] Mazlish B. Leadership in the American Revolution, p. 127—129.

[196] Ibid., p. 128.

волюционного лидерства, Мэзлиш указывает, что никто из «великих лидеров» не был харизматической личностью, не был «революционным аскетом». Вопреки сильному пуританскому этосу, пишет «психоисторик», «революционный аскетизм» подозрительно отсутствует в Американской революции, среди «великих лидеров» нет двойников Робеспьера или Ленина. Объясняет это автор следующим образом. Черты традиционного революционного аскетизма, основанного на переносе либидоизных аффектов, стали функционировать на службе у революционной деятельности с появлением революций: 1) как профессионального занятия, жизненной карьеры, что впервые обнаруживает себя в деятельности Бланки и Буонаротти, а позднее — Бакунина, Маркса, Ленина, Кастро и т. д.; 2) как средства достижения модернизации; 3) как способа достижения целей антифеодальной и антиколониальной борьбы, где стремление к новой идентичности требовало резкого насильственного разрыва с прошлым, с «прежними связями лояльности». «Там, где эти условия существовали,— пишет Мэзлиш,— лидеры, бывшие революционными аскетами, имели большие «козыри». Ситуация благоприятствовала их типу личности, а их личность, в свою очередь, определяла ситуацию» [197].

Все это, по убеждению Мэзлиша, типы революций, характерные для Европы или отсталых стран, борющихся против колониальной независимости. Американская же революция, согласно его концепции, не была социальной, так как не была модернизаторской по своим намерениям, не отрицала своего прошлого и не делалась профессиональными революционерами [198].

Рассуждения «психоисторика», в целом безусловно неприемлемые для нас, наталкивают, однако, на мысль о действительном отличии революционного лидера Американской революции от лидера революций классического типа. Коль скоро отличие Американской революции от последних имело место (хотя, конечно, оно определялось не отсутствием социального содержания, а тем, что она была внутриформационной, в то время как революции классического типа — межформационными),

[197] Ibid, p. 117—119.
[198] Ibid, p. 119.

то логично предположить и различие в типах революционного лидерства. В частности, заслуживает внимания тезис Мэзлиша о нехарактерности для лидера Американской революции стремления к такой новой идентичности, которая бы требовала насильственного отрицания прошлого. Поскольку американский революционный лидер действовал в условиях «нового порядка», то его социальные идеалы и чаяния были связаны с перспективами развития уже существующего общественного строя. Другое дело, что реализация этих перспектив была невозможна без резкого разрыва с Англией, признать социальное значение и смысл которого «психоисторик» не хочет. Он утверждает, что Американская революция была «особой американской версией разрыва аффективных связей с родительской страной», причем разрыва не резкого, а постепенного [199].

Сами по себе попытки классифицировать Американскую революцию как несоциальную не новы для американской буржуазной историографии. За ними скрывается стремление подчеркнуть национальную исключительность страны, отсутствие в ней серьезных социальных противоречий и поэтому наличие совершенно иной, отличной от европейского образца революционной традиции [200]. Новое в этих попытках — обращение к психоаналитической аргументации, стремление показать «несоциальный» характер революции через призму «психоисторических» аспектов лидерства. В результате получила логическую завершенность характерная для американской буржуазной историографии вопроса тенденция «элитистского» подхода [201]. Мэзлиш прямо ука-

---

[199] Ibid., p. 116, 122.

[200] Составители одного из недавно вышедших сборников по истории Американской революции предпослали ему характерное вступление: «Результаты революции неопределенны. Обыкновенно она является инструментом разрушения и скорбно несоответствующим цели фактором созидания. История полна примеров революций, которые не дали ничего для своего общества, зато усилили хаос, создали худшую систему, чем та, которую они заменили. Гений нашей Американской революции заключается в том, что она изменила нашу политическую систему, не попав в эту западню. Американские революционеры 1776 года создали устойчивую республику, которая выжила и процветает уже более двухсот лет».— См.: The American Revolution: Changing Perspectives/Ed. by W. M. Fowler, W. Cayle. Boston, 1979, p. VII.

[201] Болховитинов Н. Н. Указ. соч., с. 60.

зывает на несущественную роль масс в революции [202].

Обращение к проблеме революционного лидерства, обоснование доминирующего в психологическом облике американского лидера обостренного чувства независимости наряду с другими упоминавшимися Мэзлишем качествами при отсутствии социально-психологического анализа умонастроения масс облегчает ему задачу аргументации тезиса об Американской революции лишь как о движении за независимость. Мэзлиш рисует образ американского революционного лидера, который сравнивается им с пророком Моисеем, по-отечески заботливым, проведшим свой народ через трудности и опасности пустыни [203].

Этот образ имеет двоякую целевую установку. Он содержит набор «замечательных качеств» американского революционного лидера, среди которых особо выделяется забота о всеобщих интересах. Такая акцентировка имеет недвусмысленное значение в контексте современной социально-политической ситуации в США, характеризующейся усилиями повысить авторитет президентской власти. И в то же время этот образ служит средством обоснования «исключительности» революционных традиций США, оборотной стороной чего является дискредитация социальных революций.

Исследование Мэзлиша показывает несостоятельность претензий построить на психоаналитической основе подлинно научный метод изучения революционной личности. Провозглашая необходимость учета исторической действительности при анализе феномена американского революционного лидерства, Мэзлиш не вышел за рамки психоаналитической трактовки как самого лидерства, так и революции, рассматриваемой через его призму. Результаты, которые дало исследование с помощью метода персонификации, оказались в значительной степени обусловленными порочной социальной установкой автора.

По существу, с аналогичных позиций разрабатывается в американской «психоистории» проблема коллективного бессознательного в революции. Красноречивым свидетельством тому является исследование виднейше-

[202] Mazlish B. Leadership in the American Revolution, p. 115.
[203] Ibid., p. 119.

го представителя фрейдистского течения Л. де Мозе, предпринявшего попытку выяснить, что представлял собой психологический облик американцев накануне революции и чем он был обусловлен[204]. Он оценивает революцию как явление исторически прогрессивное, закономерное и созидательное по своей природе, внесшее решающий вклад в формирование современной Америки. Закономерность Американской революции «психоисторик» рассматривает под углом зрения разрабатываемой им концепции психогенетической эволюции поколений, в основе которой лежит смена форм (модусов, по терминологии автора) отношений между родителями и детьми. Утверждая, что всякое научное объяснение исторического явления должно опираться на учет характера общности вовлеченных в него личностей, де Мозе в поисках ответа на вопрос «What Caused America?» обращается к выяснению обстоятельств становления «новой американской личности» с сильным собственным «Я» и выраженной индивидуальностью. Полагая, что только такая личность могла восстать против тирании иерархического мира и сделать замысел революции против власти основной жизненной задачей[205], «психоисторик» обращает внимание на изменение механизма социализации личности в XVII в.

Однако имеющиеся в таком подходе возможности для освещения проблемы формирования психологии революционного поколения не находят в исследовании де Мозе соответствующей реализации ввиду сугубо психоаналитического понимания процесса социализации личности. По убеждению автора, суть последнего определяется изменением границ эмоциональной близости между матерью и ребенком. Именно уменьшение отчужденности между ними в XVII в. послужило, по мнению де Мозе, отправной точкой формирования нового психовида. Появление нового «навязчиво-заботливого» модуса воспитания детей, отличавшегося от предыдущих более внимательным отношением к ребенку, пишет «психоисторик», имело своим результатом появление

---

[204] Mause L. de. The Formation of the American Personality through Psychospeciation.—The Journal of Psychohistory, 1976, vol. 4, № 1, p. 1—30.

[205] Ibid., p. 9.

личности, способной «подняться над чувством личного бессилия и космического непостоянства»[206].

Де Мозе отмечает, что Англия была впереди всей Европы в отношении формирования указанного модуса. Особое место в этом процессе «психоисторик» отводит матерям пуританского происхождения, вышедшим из среднего класса. Они-то, по его мнению, и дали жизнь революционному поколению[207].

Сосредоточив внимание на характеристике этой новой формы семейных отношений, де Мозе уходит от выяснения социально-исторического контекста изменений, произошедших в указанное время в семейной сфере и психологии американцев[208]. Главное же — не выдерживает критики само понятие единого «психовида». Как показали исследования некоторых представителей интеграционистского течения, изменения во взглядах, обычаях, семейном укладе различных социальных слоев должны рассматриваться, дифференцированно[209]. Неудивительно, что предложенная де Мозе концепция нового «психовида» не может быть признана самими

---

[206] Ibidem.

[207] Ibid., p. 5—9.

[208] «Психоисторик» указывает лишь на то, что возникновение этой формы взаимоотношений родителей с детьми было следствием исчезновения к новому времени распространенной, согласно его точке зрения, с давних времен практики детоубийства. Он ссылается на обширную демографическую литературу, якобы свидетельствующую в пользу этой точки зрения. Однако, имеются свидетельства иного порядка. Так, например, в исследовании П. Биллера убедительно показано, что уже для начала XIV в. были характерны иные формы контроля над рождаемостью, нежели детоубийство. См.: Biller P. P. A. Birth Control in the West in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.—Past and Present, 1982, № 94, p. 3—26. И тем не менее де Мозе, по-видимому, прав в том отношении, что существовала необходимость в жестком планировании количества детей (главным образом среди малоимущих слоев), с неизбежностью порождавшая представления о дешевизне человеческой жизни, отнюдь не способствовавшие заботливому отношению к ребенку. Любопытно отметить, что «психоисторик» пытается определить социально-экономические причины существования практики планирования количества детей. В основе ее, по мнению де Мозе, лежало стремление избежать раздела собственности. Это предположение представляется весьма убедительным. Тем большее удивление вызывает отсутствие попыток с его стороны показать социально-исторический контекст изменений, произошедших в практике семейного воспитания и психологии американцев к новому времени.

[209] См., напр.: Stone L. The Family, Sex and Marriage in England 1500—1800. L., 1977. 800 p.

«психоисториками» приемлемой для решения многих интересующих их вопросов (в частности, почему население колоний оказалось разделенным на лоялистов и революционеров).

Приверженность де Мозе психоаналитической теории обусловила не только то, что он не смог дать научного объяснения выявленных им особенностей психологического облика революционного поколения американцев, но и несостоятельность основного вывода «психоисторика». Стремление показать психологические корни Американской революции обернулось убеждением, что революция была «прежде всего групповой фантазией, утверждением независимости от матери»[210].

Ограниченность фрейдистского подхода к общественной психологии революционного периода в какой-то мере преодолевается исследователями интеграционистского течения. Особый интерес у последних вызывает проблема политического размежевания колонистов в революционный период. Анализируя национальную историографию Американской революции, К. Линн констатирует, что спустя двести лет историки так и не сумели дать удовлетворительного ответа на вопрос, что отделяло лоялистов от революционеров[211].

Свой вклад в его решение и пытаются внести «психоисторики»-интеграционисты. Обратимся в этой связи к исследованиям, центральное место в которых занимает проблема выбора политической позиции относительно присоединения к борьбе за независимость. Авторы некоторых из них полагают, что решение ее может пролить свет на исход этой борьбы[212]. Указывая, что как среди лоялистов, так и революционеров имелись люди различного социального положения, П. Хоффер, С. Аллен и Н. Халл считают необходимым выяснить «психологический компонент индивидуального политического выбора». Комбинирование психологического и количественного методов должно гарантировать, по их мнению, достоверность конечных выводов.

---

[210] См.: Mause L. de. Op. cit., p. 10.

[211] См.: Lynn K. A Divided People. Westport; Connecticut. 1977, p. 96.

[212] См.: Hoffer P. C. Psychohistory and Empirical Gloup Affiliation: Extraction of Personality Traits from Hictorical Manuscripts.—The Journal of Interdisciplinary History, 1978, vol. 9, № 1 p. 144.

Отобранных для такого рода анализа биографических данных 38 лоялистов и 45 революционеров колонии Нью-Йорк исследователи сравнивают по следующим параметрам: потребности в твердо установленном порядке, невыносимости неопределенности ситуации, отношению к представителям власти, степени конформизма, склонности к стереотипному мышлению и т. п. Авторы приходят к заключению, что главной психологической детерминантой выбора было то, что лоялисты нуждались во внешней власти и боялись всяких изменений, в то время как революционеры ценили личную независимость и противились каким-либо внешним ограничениям [213].

Не ограничиваясь выяснением психологической установки в качестве детерминирующей выбор участниками революционной борьбы политической позиции «психоисторики» указывают на необходимость учета «ситуационных» факторов, понимая под последними самый широкий спектр характеристик личности (от возрастных различий, до различий в экономическом положении). Авторы подчеркивают при этом, что оба ряда детерминант неотделимы друг от друга [214].

Возражение вызывает не столько предложенная модель многофакторного анализа, сколько пренебрежение основным принципом исторического исследования проблемы политического размежевания участников революционной борьбы — выделением основной и решающей детерминанты политического выбора, каковой являются социальные, классовые интересы общественных групп. Это неизбежно приводит «психоисториков» к преувеличению роли и значения психологического фактора в решении тех или иных вопросов. Так, например, они полагают, что анализ психологической дифференциации жителей колонии достаточен для того, чтобы дать ответ на вопрос, почему в той или иной колонии раньше или позже, чем в других, развернулись революционные события [215].

---

[213] Ibidem.

[214] Hull N. E. H., Hoffer P. C., Allen S. L. Choosing Sides: A Quantitative Study of the Personality Determinants of Loyalist and Revolutionary Political Affiliation in New York.—The Journal of American History, 1978, vol. 65, № 2, p. 365.

[215] Ibid, p. 365—366.

Сама по себе трактовка лоялистов и революционеров с точки зрения психологической готовности соответствующим образом реагировать на ситуации подчинения, зависимости, принятия самостоятельных решений вызывает определенный интерес. Думается, авторы вправе утверждать, что психологическая «готовность революционеров создавать специальные политические институты, экспериментировать в период быстрых политических перемен давала им преимущество над их более склонными к традиционным методам и подчинению оппонентами»[216]. Однако, допуская возможность существования указанных психологических преимуществ у сторонников революционного лагеря, мы не можем разделить убеждение «психоисториков», что это обстоятельство дает ключ к объяснению поражения лоялизма в борьбе за независимость[217]. Указанные преимущества могли способствовать и, вероятно, способствовали реализации прогрессивных требований революционного лагеря, но результаты борьбы были определены прежде всего расстановкой социально-политических сил, преимуществами социально-исторических и политических позиций борцов за независимость, которые во многом определяли и особенности их психического склада.

Стремление затушевать смысл социальной, классовой борьбы, ее значение для понимания сути Американской революции является ведущей тенденцией психоаналитической историографии вопроса. Предполагаемые интеграционистами различные модели «психоисторического» анализа имеют в качестве единой основы недвусмысленно выражаемый или подразумеваемый отказ от принципа классового анализа как основного принципа исследования. Отчетливое выражение это явление получило в исследовании К. Линна, посвященном проблеме политического размежевания колониального общества на патриотический (революционный) и лоялистский лагери[218]. «Психоисторик» предлагает следующую концепцию: в зависимости от модуса семейного воспитания личность формировалась как лоялистская или революционная. В то время, как отцы

[216] Hoffer P. C. Op. cit., p. 145.
[217] Ibid., p. 144, 145.
[218] См.: Lynn K. Op. cit.

лоялистов были автократичны, не допускали малейшей оппозиции со стороны детей, контролировали все аспекты их поведения, отцы будущих революционеров давали детям возможность проявить свою независимость, не ограничивали их свободу. Это во многом, по мнению К. Линна, предопределило выбор той или иной политической позиции [219].

Естественно, все это не получает убедительного обоснования. Сравнивая биографическую литературу по этой проблеме с детским комиксом и ставя перед собой цель преодолеть узость традиционных интерпретаций, «психоисторик» ограничивается умозаключениями следующего рода. Томас Хатчинсон, последний королевский губернатор Массачусетса, стал лоялистом вследствие традиционной фамильной боязни внешнего мира. А эта боязнь, в свою очередь, является проявлением опять же семейной тенденции «ухода в себя» [220]. Становление же Т. Джефферсона как патриота и революционера следует отнести на счет его потребности в самостоятельности и независимости, рано и остро проявившейся вследствие необходимости самому заботиться о себе, так как он рано лишился отца, а также встречи с просвещенным свободомыслящим учителем, В. Смоллом, определившей дальнейшую судьбу Томаса [221].

Осознавая уязвимость подобного рода психоаналитических объяснений, К. Линн пытается найти общие социальные детерминанты изменения психологического климата в американской семье в конце XVII—начале XVIII вв. Обращаясь к работам пионеров в области исследования этой проблемы (Д. Демоса, Ф. Грэвена, О. и М. Хэндлин), «психоисторик» реконструирует следующую картину. Американские колонисты XVII в. искали пути установления традиционного, стабильноструктуированного общества. Во многом это было связано с характером взаимоотношений главы семьи с домочадцами. Абсолютный авторитет отца покоился на владении ограниченной площадью земли, пригодной для пользования, и обладании специальными профессиональными навыками, необходимыми для дела. Через

[219] Ibid., p. 40, 100.
[220] Ibid., p. 22—26.
[221] Ibid., p. 71—73.

контроль над собственностью и профессиональными навыками отец сохранял власть над сыновьями уже после того, как они вырастали. В последние десятилетия XVII в. в связи с увеличением рождаемости, интенсивным экономическим ростом колоний, открытием все более отдаленных земель перед сыновьями появились широкие возможности отделения от отцовской семьи. Поэтому, подытоживает «психоисторик», в 1-й половине XVIII в. большинство родителей реагировало на изменившиеся социальные условия вынужденным расширением прав детей в решении собственных проблем, предоставлением им большей независимости. Но меньшинство намеренно или случайно не адаптировалось к новому стилю воспитания, оно-то и послужило источником формирования лоялистского лагеря [222].

Безусловно, существовала взаимосвязь между типичной психологической микроструктурой семьи и социально-психологической макроструктурой американского общества. Вполне вероятно, что отмеченные К. Линном факторы действительно способствовали закату патриархальной семьи, основанной на подчинении отцовской власти, и внесли свой вклад в формирование психологии революционного поколения. Скорее всего, факторами, определявшими тенденцию, назовем ее условно формирования психологии независимости, были отмеченные американскими исследователями углубление процесса социальной дифференциации, концентрация земельной собственности в руках меньшего числа поселенцев. Это вынуждало, как показал Ф. Грэвен на материалах колониального развития Эндоувера, испытывающих недостаток земли членов семей покидать свое место жительства и становиться «питательной средой радикальных настроений интеллектуального «возрождения», психологически подготавливавших колонистов к осознанию необходимости достижения независимости от метрополии» [223]. К. Линн же не только не попытался разобраться в существе субординации

---

[222] Ibid., p. 97—100.

[223] Вероятностный характер указанных выводов определяется отсутствием связи между данными по очень уж небольшому региону с аналогичными процессами в контексте колонии в целом. См. об этом: Буржуазный историзм в зарубежной историографии. Казань, 1981, с. 77.

указанных факторов, повлиявших на трансформацию уклада семейной жизни и психологии колонистов, но и не сумел найти точек соприкосновения реконструируемых им черт общественно-психологического облика американцев с индивидуальным психологическим опытом избранных им для «психоисторического» анализа революционных деятелей. В результате его экскурсы в область социальных отношений американского колониального общества не оказали существенного влияния на характер сделанных выводов. Лоялисты и революционеры выступают как группы, различавшиеся между собой прежде всего системой психологических, бессознательных по своему характеру связей [224]. Вне авторского рассмотрения остается влияние социально-классовых интересов участников борьбы за независимость как фактор, определявший выбор соответствующей позиции и как системообразующий элемент в формировании основных групп, на какие разделилось население колоний в период революции.

Попыткам «психоисториков» создать интегральную картину идейно-психологической атмосферы колониального общества накануне и в период революции во многом препятствует не только недифференцированный анализ большинством из них различных групп, из которых оно состояло, но и их приверженность психоаналитическим представлениям о роли и месте бессознательного в структуировании общественного сознания вообще и идеологии в частности. Даже в лучших образцах «психоисторических» исследований не преодолены границы психоаналитического мышления. Убедительным свидетельством тому является исследование Э. Бэрэуза и М. Воллэси «Американская революция: идеология и психология национального освобождения» [225]. Поставив своей задачей выяснить, что происходило в умах людей накануне и в период революции, «психоисторики» использовали в качестве источников письма, дневники, памфлеты того времени. Обнаружив в последних частое употребление аналогий, уподобляющих права и обязанности Англии и колоний соответственно правам и обязанностям родителей и детей, они

---

[224] Lynn K. Op. cit., p. 40, 100.
[225] См.: Burrows E., Wallacy M. Op. cit.

предположили, что указанные аналогии являлись не просто речевыми оборотами, но символами, выполнявшими идейно-психологическую функцию [226].

Учитывая, что отношение людей того времени к различным национальным и социальным общностям носило во многом психологическую окраску, можно вполне согласиться, что предложенная гипотеза авторов имеет право на дальнейшую разработку. В частности, заслуживает внимания следующий ход их рассуждений. Среди широкого круга символов, обеспечивающих классу, нации или партии чувство единства, связанности, ни один не является столь значимым, как персонификация. Метафорическое представление об Англии как матери колониальных детей способно пролить свет на символические конструкции, которыми оперировало сознание людей той эпохи, и сказать многое исследователю об их представлениях о себе и отношениях друг с другом. Эти символы, ставшие социальными фактами жизни, превращаются одновременно и в факторы, диктующие поведение на бессознательном уровне путем оформления невыраженных допущений, предположений и ожиданий, помогающих индивиду воспринимать и формулировать социальную реальность и реагировать на нее. На более глубоком уровне символы управляют поведением, заключают авторы, в том смысле, что они часто становятся объектом индивидуальной идентификации [227].

Разделяя точку зрения американских авторов на роль символики в бессознательном конструировании картины окружающего мира и в формировании психологической готовности людей соответствующим образом реагировать на окружающую действительность, подчеркнем несогласие с ними в вопросе о характере регулятивной роли бессознательного в поведении человека, тем более общественных групп. Формируя установку, психологическую готовность к действиям определенного рода, бессознательное тем не менее не является фактором, определяющим это поведение, понять которое невозможно, исключив учет осознанной реакции на окружающую ситуацию и связанного с ней целепо-

[226] Ibid., p. 270.

[227] Ibid,, p. 271—273.

лагания[228]. Элиминация указанных факторов, как и уход от вопроса о том, как корректировались индивидуальные и общественные устремления (связанные с субъективной оценкой окружающей ситуации и самосознанием) конкретными обстоятельствами исторической действительности, неизбежно приводит к психологизации поведения общественных групп, в чем мы имели возможность убедиться на многочисленных примерах «психоисторических» исследований.

Вместе с тем заслуживают внимания отдельные частные наблюдения рассматриваемых авторов. Так, они полагают, что аналогия империи с семьей была бессознательной попыткой создать концептуальную модель связей, которая бы придала ясное значение ходу событий и позволила приверженцам обеих сторон найти идеологическое оправдание политическим действиям в принципах естественного права. В то время, как одни видели в этой аналогии оправдание имперских репрессий, пишут «психоисторики», другие использовали ее гибкость сначала для утверждения их естественного права на несогласие и оппозицию несправедливой власти, затем для провозглашения высшего права порвать имперскую связь и достичь национальной независимости[229].

---

[228] Подробнее см.: Шерозия А. Е. Психика. Сознание. Бессознательное. К обобщенной теории психологии. Тбилиси. 1979. 171 с.

[229] Burrows E., Wallacy M. Op. cit., p. 250—251. Символ детства был приложим в отношении американцев потому, поясняют «психоисторики», что был, с одной стороны, ближе к восприятию окружавшей реальности, а с другой — имел к ней почти неосязаемое отношение. Поэтому понятие «материнская страна» и «колониальное дитя» должны рассматриваться, пишут Бэрэуз и Воллэси, как символы, олицетворявшие здравый смысл людей. Так, например, было выражением здравого смысла для Пейна, подчеркивают они, утверждать, что на вопрос об американской независимости следует ответить другим вопросом: «В интересах ли человека оставаться ребенком всю его жизнь?» В аргументации Пейна, заключают авторы, право американцев на самоопределение со всей неизбежностью вытекало из естественного права человека перейти от детства к зрелости. См.: Ibid., p. 267—272. Попутно заметим, однако, что Пейн апеллировал не только к обыденным представлениям колонистов, во многом связанным с их психологическим опытом, но и к стороне их общественного сознания, которая отражала действительность в ее собственно историческом, политическом, социальном содержании, о чем убедительно свидетельствует характер доводов в знаменитом памфлете Пейна «Здравый смысл». См. об этом: Согрин В. В. Идейные течения в Американской революции XVIII века, с. 113—116.

К середине XVIII в., отмечают Бэрэуз и Воллэси, наблюдается очевидная трансформация символа, который воспринимался как репрезентатив коллективной идентичности американцев — «тот, кто был беспомощным ребенком... стал сильным и мужественным юношей» [230].

Важно отметить, что трансформация бессознательной символики, указывающей на изменение идейно-психологического облика большей части колонистов, рассматривается «психоисториками» как явление исторически производное от многоплановых трансформаций, происходивших в американском обществе в предреволюционный период. С одной стороны, «психоисторики» указывают на разрушение патриархальных образцов подчинения и авторитета в семейной сфере вследствие комбинации таких факторов, как быстрое увеличение народонаселения, экономическая экспансия, городское развитие и социальная дифференциация. С другой — отмечают переориентацию естественно-правовой традиции и политического мышления на положения теории общественного договора, означавшую закат принципов «патриархальных» отношений в политической сфере. И наконец, отмечается ужесточение британской политики после окончания Семилетней войны [231].

Итак, приведенные выкладки «психоисториков» свидетельствуют, что они, объясняя переход от одних идейно-психологических символов к другим, пытаются рассматривать их в контексте социально-исторического развития. Однако его трактовка, судя уже по указываемым причинам трансформации символов, целиком укладывается в рамки известной теории факторов. Это не может приблизить «психоисториков» к реализации перспективы создания интегральной картины Американской революции. В равной степени не способствует этому и игнорирование социально-классовой дифференциации колониального общества, обусловливающее очевидные изъяны в рассматриваемой интерпретации, (в частности, ее непригодность для решения вопроса, почему часть колонистов оказалась неспособной идентифицироваться с новым символом «сильного и муже-

[230] См.: Burrows E., Wallacy M. Op. cit., p. 286.
[231] Ibid., p. 265, 285, 304.

ственного юноши» и продолжала по-прежнему лояльно относиться к материнской стране).

Бэрэуз и Воллэси не ограничиваются анализом символических форм, заявляя, что целью их исследования является объяснение с точки зрения психологии следующих исторических проблем: почему американцы, принимавшие зависимость в течение 150 лет, вдруг решительно покончили с нею, как и почему они пришли к идее независимости, почему лоялисты препятствовали достижению независимости и почему Англия боролась за сохранение имперского контроля в то время, как по крайней мере некоторые из англичан понимали, что экономические интересы Англии могут быть обеспечены без прямого контроля [232].

«Психоисторики» предлагают следующие ответы-гипотезы на эти вопросы: 1. Американцы воспринимали британский контроль, потому что объективное неравенство между Англией и колониями создало в них личное чувство сравнительной слабости и неполноценности, которое символизировалось в идее колоний как детей. Кроме того, в течение 150 лет Англия не демонстрировала явно отсутствие доброго отношения к колониям. Наконец, структура колониального общества и семьи имела тенденцию к производству психологических типов личности, склонных к покорности по отношению к власти и ее представителям [233]. 2. Важнейшие изменения в объективных условиях колониальной жизни трансформировали коллективный образ-символ колоний. Символический образ колоний как слабого дитя постепенно был вытеснен образом сильного и мужественного юноши. Соответственно индивидуумы, которые идентифицировались с этим символическим образом, обрели уверенность в себе и начали рассматривать британский контроль как невыносимый. Закат патриархальной традиции в семейной и политической сферах, вызванный аналогичными социально-историческими изменениями, которые трансформировали коллективный образ-символ колоний, способствовал тенденции к производству менее авторитарной, более автономной личности. Неожиданное ужесточение имперской политики,

[232] Ibid., p. 274, 299—302.
[233] Ibid., p. 274—281.

репрессии в ответ на оппозицию колонистов этому ужесточению подорвали лояльность американцев. Годы, последовавшие за «Бостонским чаепитием», событиями у Лексингтона и Конкорда, дали возможность реализоваться интенсивному личному негодованию американцев[234]. 3. Некоторые колонисты оказались психологически неспособными порвать зависимость от Англии и остались лояльными по отношению к ней[235]. 4. Англичане усвоили образ своей страны как родителя, и сохранение родительского авторитета, власти стало существенной частью их чувства идентичности и самоуважения. Поэтому они отреагировали на восстание колоний как на личное оскорбление[236].

Как видим, эти гипотезы строятся на основании допущения, что указанные идейно-психологические символы являлись системообразующими факторами идеологии и психологии различных социальных групп в революции. Это сказывается на характере предложенной «психоисториками» интерпретации поднятых проблем, психоаналитическое происхождение которой не вызывает сомнения. Приверженность авторов к традиционным представлениям о бессознательном обусловила их уход от вопроса, в какой степени осознавалась колонистами окружавшая их действительность в понятиях, имевших собственно политическое, историческое, социальное содержание. И хотя удельный вес последних в сознании людей того времени был значительно меньшим, чем порой представляется современному исследователю, игнорировать их — значит существенным образом обеднять и искажать картину общественного сознания в североамериканских колониях XVIII в. и самой идеологии Американской революции.

Впрочем, как явствует из заключения рассматриваемого исследования, «психоисторики» осознают ограниченность собственного подхода. Об этом свидетельствуют многочисленные оговорки, к которым они прибегают. Так, например, они пишут: «Аналогия родители—дети могла быть наиболее распространенной темой или элементом революционных дискуссий, но она была все

[234] Ibid., p. 281—294.
[235] Ibid., p. 295—298.
[236] Ibid., p. 299—302.

же достоянием образованного меньшинства, которое составляло резолюции, писало письма, вело дневники и читало газеты. Что думали и чувствовали его молчаливые соотечественники, трудно, если вообще возможно, восстановить»[237]. Сколь ни огромны трудности такого рода реконструкции, думается, без нее невозможно все же будет представить идейно-психологический облик революционного поколения американцев во всем его многообразии.

В предложенной же «психоисториками» интерпретации мы обнаруживаем хоть и впечатляющую, но фрагментарную зарисовку некоторых идейно-психологических ракурсов этого облика, а отнюдь не обобщенную картину его.

Анализом исследования Бэрэуза и Воллэси мы завершаем обзор «психоисторических» интерпретаций Американской революции. Подводя ему итоги, следует отметить, что безусловной заслугой «психоисториков» явилась постановка многих действительно важных вопросов, как, например, какие изменения в идейно-психологическом облике американцев произошли накануне революции, как они были сопряжены с многоплановой трансформацией общественной жизни колонистов в это время, как в сознании и психологии людей отражалась окружавшая их действительность и др. Решение этих вопросов не только заполнило бы вакуум в представлениях историков о реальной психолого-исторической картине Американской революции, но открыло бы возможности для более комплексного подхода ко многим ее проблемам.

Однако реализации этих возможностей в рамках буржуазной «психоистории» препятствует целый ряд причин. В их числе отметим следующие. 1. Приверженность к психоаналитическим представлениям о роли и месте бессознательного в структуировании общественного сознания, идеологии и самой исторической действительности в Американской революции. Следствием этого, как мы имели возможность убедиться, является в лучшем случае фрагментарность, узость подхода, в худшем — очевидный субъективизм и психологизация исследуемых явлений. 2. Связанный с указан-

[237] Ibid., p. 305.

ными представлениями и во многом обусловленный ими антиисторизм самого метода исследования, нашедший наиболее яркое выражение в объяснении природы Американской революции через ее психологию. На неисторический характер нового подхода указывают и представления некоторых из «психоисториков» о психологической реконструкции как самоцели исследования, отсутствие у них понимания необходимости постановки вопроса о том, как подвергшиеся объективным социально-историческим преобразованиям идейно-психологические факторы влияли на поведение людей и сами исторические события Американской революции. 3. Игнорирование принципов классового анализа в подходе к изучаемой проблеме. Непонимание того, что изучение общественной психологии без соотнесения ее с определенными социальными группами «чревато подменой социального анализа абстрактным психологизированием»[238]. 4. Идейная связь нового «психоисторического» жанра с традиционной буржуазной историографией, обусловившая подход к Американской революции как революции особого, несоциального характера, лишь как к движению за независимость. Ограниченность такого подхода сказалась и на выборе проблематики, и на характере интерпретаций, и на неспособности создать интегральную картину идейно-психологического содержания Американской революции.

В результате, несмотря на выдвижение ряда несомненно заслуживающих внимания идей и положений, «психоистория» в целом оказалась неспособной на научно обоснованную разработку проблемы Американской революции XVIII в. Приверженность основным концептуальным положениям традиционной буржуазной историографии этой революции, общая социальная заданность поисков буржуазных исследователей в совокупности с пороками «психоисторической» методологии определили низкую результативность «психоисторических» изысканий.

---

[238] Гуревич А. Я. Указ. соч., с. 56.

Глава III

«ПСИХОИСТОРИЧЕСКИЕ» ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕМЕЦКОГО ФАШИЗМА В ИСТОРИОГРАФИИ США

1. Антифашистские интерпретации немецкого фашизма

С «психоисторической» революциологией в современной американской историографии в идейном плане органически связана, а в отдельных случаях и прямо смыкается «психоистория» фашизма. По существу, она решает те же самые социальные задачи, но используя при этом более изощренные средства. Ниже мы попытаемся показать, как это делается. Сейчас же лишь подчеркнем, что «психоисторическая» революциология и «психоистория» фашизма представляют собой две стороны одного и того же явления — стремления идеологов буржуазии обелить империализм, снять с него ответственность за самые тяжкие преступления перед человечеством, переложив их на революционные силы современности.

Важно при этом заметить, что «психоистория» фашизма является своеобразным индикатором идейной эволюции всей американской «психоистории». Представляется поучительным поэтому проследить ведущие тенденции в психоаналитических интерпретациях немецкого фашизма, тем более что в изучении этой проблематики сформировалась довольно сильная прогрессивная традиция. Мы попытаемся проследить дальнейшие судьбы этой традиции в связи с эволюцией идейной направленности «психоистории» фашизма, что позволит не только углубить понимание этой последней, но и выявить некоторые черты, проливающие дополнительный свет на общие закономерности в развитии послевоенной американской буржуазной историографии.

Истоки психоаналитической интерпретации фашизма в американской историографии уходят в начало 40-х гг., ко времени появления первых попыток применения пси-

хоанализа к трактовке фашизма в трудах по преимуществу западноевропейских ученых, антифашистских эмигрантов в США. Созданные в годы возрастающей фашистской угрозы всей мировой культуре, они несли на себе печать своего времени, что выражалось прежде всего в их антифашистской направленности.

В трудах родоначальников «психоистории» изучение нацизма стимулировалось осознанием необходимости борьбы с фашистской опасностью. Заметной тенденцией этих исследований, несмотря на принадлежность их авторов к различным идейно-теоретическим ориентациям и школам, было стремление использовать психоанализ в целях практической борьбы с фашизмом. «Если мы хотим сражаться с фашизмом, мы должны понять его. Принятие желаемого за действительное не поможет нам. Декларативная же оптимистическая формула будет столь же неадекватной и бесполезной, как ритуальная пляска... у индейцев»,— писал в 1941 г. Э. Фромм, подчеркивая, что борьба с фашизмом требует незамедлительной оценки глобальных аспектов его психологии[1]. Полагая, что одним из факторов, определяющих сознание массы населения, является психологическое воздействие на нее, Ф. Нойман расценивал последнее в качестве фактора денацификации Германии. Ратуя за скорейшее поражение Германии во второй мировой войне, он рассматривал свое «психоисторическое» исследование структуры и практики национал-социализма как вклад в антифашистскую борьбу[2].

В это же время появляются и первые психоаналитические исследования фашизма, созданные с определенными прикладными целями. Э. Эриксон в 1942 г. рекомендовал свое исследование Гитлера и образцов разжигаемых им психологических конфликтов, используемых нацистами для обеспечения морально-психологического единства в действующей армии и внутри Германии в целях ведения антифашистской пропаганды[3]. Попытку предсказать политическое поведение

[1] Fromm E. Escape from Freedom. N. Y., 1971, p. 20. Эта книга впервые издана в 1941 г.

[2] Neumann F. Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism 1933—1944. N. Y., 1966, p. XIII—XIV. Эта книга является дополненным и расширенным изданием работы, вышедшей в 1942 г.

[3] Erikson E. Hitler's Imagery and German Youth.—Psychiatry 1942, vol. 5, № 4, p. 492.

Гитлера в годы второй мировой войны предприняла группа психоаналитиков под руководством У. Лэнгера[4].

Труды Э. Фромма, Ф. Ноймана, Э. Эриксона, У. Лэнгера являются важнейшими работами, изучение которых позволяет достаточно полно охарактеризовать общее состояние «психоистории» немецкого фашизма тех лет. Антифашизм этих ученых в значительной степени обусловил подход и в конечном счете результаты их психоаналитических исследований немецкого фашизма, в том числе несомненную способность к адекватному и реалистическому отражению ряда проблем его истории.

Первая попытка историко-культурного психоанализа фашизма связана с именем одного из крупнейших представителей современного немарксистского обществоведения Эриха Фромма (1900—1980). Он стал широко известен в 60—70-е гг. особенно в среде международного движения «новых левых». Заметное влияние идеи Фромма оказали в кругах «бунтующей» интеллигенции, которой импонировала его критика норм и ценностей буржуазного общества[5]. Росту известности Фромма в эти годы способствовала и его общественно-политическая деятельность. Его выступления в печати и с открытой трибуны против бесчеловечности капиталистической системы, против войны США во Вьетнаме, антивоенные выступления с требованием всеобщего разоружения привлекали внимание прогрессивной общественности США и всего мира[6].

В научном мире широкую известность Э. Фромму принесли труды по философии и социологии. Имя Фромма обычно называют в числе ведущих представителей Франкфуртской школы, этого влиятельного направления социально-философской мысли на Западе, а также среди крупнейших представителей неофрейдизма[7].

---

[4] См. Langer W. The Mind of Adolf Hitler. L., 1972.

[5] Буржуазная философия XX века. М., 1974, с. 214.

[6] Добреньков В. И. Неофрейдизм в поисках «истины» (Иллюзии и заблуждения Эриха Фромма). М., 1974, с. 6.

[7] См.: Философская энциклопедия. М., 1970, т. 5, с. 416—417; Добреньков В. И. Указ. соч., Лейбин В. М. Указ. соч.; Буржуазная философия XX века, с. 206—209; Философский словарь. М., 1980, с. 399, 401; Куркин Б. А. Гуманистическая утопия Э. Фромма.— Вопросы философии. 1983, № 2, с. 85—94.

Фромм был одним из самых ярких представителей неофрейдистской традиции в психоанализе, использовавших в своих исследованиях исторические данные. Уже ранний период его творчества свидетельствует об интересе молодого немецкого исследователя к истории культуры. Получив систематическое философское образование и закончив в 1922 г. Гейдельбергский университет, он с дипломом социолога с 1925 г. приступил к психоаналитической практике, не оставляя своих изысканий в области социальных проблем. Тяга к изучению социальных аспектов общественной жизни с помощью психоанализа не без влияния идей, имевших хождение в Институте социальных исследований во Франкфурте, в котором Фромм сотрудничал в течение продолжительного времени, переросла в убеждение в необходимости переоценки постулатов классического психоанализа Фрейда, отвергавшего определяющее значение социальной среды в формировании общественной и индивидуальной психологии. Впервые изложив основные положения историко-культурного психоанализа в книге «Бегство от свободы» и предприняв попытку их приложения, совместно с социологическим анализом, к различным аспектам истории буржуазной цивилизации, Фромм высказывал убеждение в том, что изучение внутрипсихических процессов имеет ценность тогда, когда позволяет раскрыть динамику социальных процессов. Чтобы понять индивидуума и индивидуальное в человеке, Фромм призвал рассматривать человека «...в контексте культуры, которая формирует его»[8].

Эту книгу Фромм написал в эмиграции под непосредственным впечатлением захвата фашистами власти в Германии и их преступлений. Поэтому неудивительно, что проблема фашизма заняла в ней центральное место.

Во взглядах Фромма на фашизм отчетливо прослеживается их антиимпериалистическая направленность, выразившаяся, в частности, в его трактовке фашизма как феномена буржуазной цивилизации. Уже в 1941 г. ученый предупреждал о том, что буржуазное общество создает питательную почву для фашизма. Так, он справедливо утверждал, что кризис буржуазной демократии не является специфически итальянской или германской

[8] Fromm E. Escape from Freedom..., p. VIII.

проблемой: «...Внешняя и внутренняя угроза фашизма должна быть принимаема в расчет со всей серьезностью и нет большей ошибки и более значительной опасности, чем не видеть, что в нашем собственном обществе мы лицом к лицу сталкиваемся с тем явлением, которое является благодатной почвой для повсеместного роста фашизма: незначительность, бессилие индивидуума»[9].

Обращаясь к систематическому анализу психологии нацизма, Фромм использует ее для иллюстрации психологического состояния современного буржуазного общества. Перспектива расширения свободы личности при капитализме, полагал он, далеко не однозначна. Капитализм разрушил традиционные ценности феодального строя, в том числе чувство безопасности, но, сформировав ценности буржуазного индивидуализма своих граждан, он не дает им возможность распорядиться своей личной свободой. Во времена общественных кризисов, характеризующихся резкой активизацией чувства беззащитности, а также одиночества и страха, в капиталистическом обществе среди населения усиливается тенденция отказаться от личной свободы и подчиниться воле единоличного руководителя. Психологическое развитие немецкого общества в межвоенный период отмечено, по мнению Фромма, бегством отдельных, преимущественно мелкобуржуазных слоев населения от личной свободы к иллюзии безопасности внутри широкой общности с подчинением постоянному авторитету[10].

Существенное содержание психологических изменений в немецком обществе в межвоенный период ученый связывал с развитием германского империализма и монополистического капитала. «Нацистская система,— подчеркивал Фромм,— является упрощенной версией германского довоенного империализма, сохранявшегося после падения монархии»[11]. При этом он справедливо замечал, что республика не смогла прервать развитие германского монополистического капитализма, но способствовала его изменению в соответствии со своим устройством.

---

[9] Ibid., p. 207.

[10] Ibid., p. 157—230; Idem. Fear of Freedom. N. Y., 1971, p. 117—178.

[11] Fromm E. Escape from Freedom..., p. 243—244.

Как видно из приведенных выше высказываний Э. Фромма, фашизм в его трактовке выступает как психологическое и социальное явление. Ученый пытался решить важную проблему взаимоотношения психологических и социальных факторов общественного развития буржуазной цивилизации и в этом контексте осветить особенности механизма их функционирования в Германии XX в. Так, он указывал на угрожающий рост зависимости слоев населения, составлявших массовую базу нацизма, от власти монополистического капитала в первые послевоенные годы. Обосновывая тезис о несовместимости их интересов и интересов нацизма, он дал реалистическое описание социально-экономической обусловленности роста психологической неуверенности, страха в среде мелких собственников в условиях возрастания их зависимости от крупного капитала, ухудшения экономического положения и падения социального престижа [12].

В этом процессе Фромм выделял общие моменты, характерные для буржуазной цивилизации эпохи монополистического капитализма в целом. Связывая с монополистической фазой развития капитализма процесс резкого усиления факторов, ослабляющих человеческую индивидуальность, он в числе их в первую очередь называл подготовленность к подчинению индивидуальности богу в протестантизме в сочетании с подчиненностью, формируемой особенностями капиталистического строя, делающими накопление богатства целью экономической активности. Перечисляя другие факторы (политическая пропаганда, безработица, угроза войны, бомбардировка психики потребителей посредством средств коммуникации и рекламы), ученый все же самым важным фактором, уничтожающим личность в буржуазном обществе, считал увеличивающуюся власть монополистического капитализма, превращающего граждан буржуазного общества в мелкий винтик машины распределения гигантского национального богатства [13].

Разрушающее влияние власти монополий было особенно заметно в среде так называемых «независи-

---

[12] Ibid., p. 138—148, 244.

[13] Ibid., p. 131, 138—146.

мых бизнесменов» и «белых воротничков». В Германии эти слои населения наиболее остро испытали воздействие инфляции и экономической депрессии, сформировавших, по мнению ученого, особенности психологической атмосферы страны. Специфика психологической атмосферы в Германии в межвоенный период и трактовалась Фроммом преимущественно через описание внутрипсихического механизма оценки окружающих событий мелкобуржуазными собственниками, психология которых была наиболее благодатной почвой для нацистской идеологии. «В противоположность негативизму или безразличному подходу рабочего класса и либеральной католической буржуазии, нацистская идеология была горячо приветствуема низшими слоями среднего класса: мелкими владельцами магазинов, ремесленниками, «белыми воротничками»,— подчеркивал он в главе «Психология нацизма» [14].

Особенности психологической атмосферы в Германии тех лет Фромм склонен был рассматривать как обусловленные в большей мере факторами психологического плана и поэтому уделял основное внимание характеристике внерациональных, преимущественно эмоциональных аспектов психологии нацизма. Методом их изучения был избран индивидуальный психоанализ главаря нацистов. Ученый оценивал Гитлера как носителя классического образца характера, соответствовавшего природе нацизма и связанного с психологией обывателей, из которых нацизм рекрутировал свою массовую базу. Психобиография главаря нацистов была в его тогдашних представлениях достаточным основанием для оценки массовой психологии нацизма в терминах теории авторитарной личности [15].

Специфической чертой психобиографического метода Фромма является требование учета влияния социального окружения и культурных факторов в изучении психологических состояний исторической личности и их динамики. В советской научной литературе отмечается вклад Фромма в изучение особенностей психологических типов современного буржуазного общества, наличие в его работах глубоких, имеющих значительную

[14] Ibid., p. 235.

[15] Ibid., p. 241—242.

научную ценность наблюдений буржуазного индивидуализма. «Фромм изучил влияние современного капитализма на психологию определенного класса, и в этом его несомненная заслуга»,— указывает советский философ С. М. Черкасов [16].

Особенно плодотворным в этом плане как раз и является его анализ немецкого фашизма. Современный этап буржуазной цивилизации, писал Фромм в 1941 г., порождает в массовых количествах типы личностей, имеющие устойчивые психологические характеристики и на языке психоанализа именующиеся: конформистский автомат, садистско-мазохистский и деструктивный характеры личности. Эти типы личностей, носителей частнособственнической психологии, с особой силой заявляют о себе в обществе, переживающем глубокие социальные потрясения [17]. Он утверждал, что в условиях ухудшения материального положения и снижения социально-психологического статуса эта масса людей, оказавшись перед проблемой выбора, склоняется к реакции. В Германии Веймарских времен эти люди составили массовую базу нацизма [18].

В своей первой, принесшей ему широкую известность книге Фромм, рассматривая проблему «Гитлер и нацисты», уделил основное внимание изучению личности главного нацистского преступника. Отличительным признаком его подхода к изображению эмоционально-волевой сферы главаря нацистов является учет социальных фактов биографии последнего. Обращает на себя внимание выделение ученым ведущих черт личности Гитлера, представлявших, по его мнению, наибольшую угрозу человеческому в личности, с одной стороны, и оценку мотивации действий руководителя нацистов в конкретных ситуациях под влиянием социальных интересов крупных общественных слоев и группировок буржуазного общества — с другой.

Тема опасности и в то же время ничтожности духов-

---

[16] Черкасов С. М. Истинная сущность неофрейдизма. Л., 1966, с. 31. См. также: Замошкин Ю. А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность. М., 1966, с. 33—34, 154; Эреш Л. Очерк концепции Э. Фромма.— Вопросы философии, 1970, № 6, с. 87.

[17] Fromm E. Escape from Freedom..., p. 157 — 230, 255 — 256, 279—282.

[18] Ibid., p. 231—264.

ного облика палача немецкого народа и народов Европы была намечена исследователем уже в работах военного периода. Так, анализируя высказывания Гитлера о нацистской элите и оценивая их как свидетельство неутолимой, безудержной жажды власти над немецким народом и народами мира, он указывал на развращающий характер стремления нацистов вселить в широкие массы населения Германии уверенность в праве немцев господствовать над другими народами[19]. В эти годы Фромм склонялся к оценке характера Гитлера в терминах своего описания немецкого обывателя как исторически сложившегося типа мелкобуржуазного собственника. «Любовь к сильному, ненависть к слабому, мелочность, враждебность, скупость и в особенности их [немецких обывателей] аскетизм. Их воззрение на жизнь было узким, они подозревали и ненавидели иностранцев, они были чудаковаты и завистливы в своих знакомствах, рационализируя свою зависть как морально оправданное чувство, вся их жизнь базируется на принципе скупости — экономически, равно как психологически» — таковы основные черты частнособственнической психологии обывателей в Германии, перенесенные Фроммом в описание образа Гитлера в 1941 г.[20]

Особое место в работах Фромма заняла тема, связанная с оценкой мотивации решений нацистского главаря. Историческим изысканиям Фромма присущи реалистические наблюдения психологической атмосферы в правящих кругах Германии на закате Веймарской республики, во время нацистской диктатуры. Учет социальных аспектов психологии правящих групп Германии этого времени обусловил имеющие большое научное значение оценки социально-классовой природы нацизма как явления, генетически связанного с капиталистическим строем.

В американской историографии фашизма именно социально-классовая оценка деятельности Гитлера и других нацистских иерархов подвергается самым значительным искажениям. Современные «психоисторики», как будет показано ниже, дают путаные оценки массовой психологии нацизма, скрывают связь немецкого

[19] Ibid., p. 250; Fromm E. Fear from Freedom..., p. 194.
[20] Fromm E. Escape from Freedom..., p. 286.

фашизма и монополистического капитализма. Фромм, напротив, рассматривал нацистское государство как государство немецкого капитала и немецкого милитаризма. Для Фромма была очевидна промонополистическая деятельность нацистских иерархов, чью диктатуру германская капиталистическая верхушка предпочла парламентскому строю. Ученый полагал, что парламент Германии начала 30-х гг. адекватно представлял интересы различных слоев населения, повсеместно психологически настроенного против крупных собственников, и поэтому создавал чувствительную угрозу их привилегиям. В такой ситуации промышленники, финансисты и крупные землевладельцы избрали Гитлера своим защитником. «В целом они не были разочарованы,— продолжал Фромм.— Конечно, в мелких деталях они ошибались. Гитлер и его бюрократия не были орудиями, действующими по приказу Тиссенов и Круппов, вынужденных разделить свою власть с нацистской бюрократией и часто подчиняться ей. Но хотя нацизм доказал, что наносит экономический ущерб всем другим классам, он поощрял интересы наиболее могущественных групп немецкой промышленности»[21].

Фромм считал Гитлера посредником между устрашенной владетельной верхушкой и ненавидящими крупных собственников низами среднего класса, составлявшими массовую базу нацистов. Он показал, что эту ненависть средних слоев Гитлер использовал для их собственного экономического порабощения. Эта психологическая ситуация, приводимая ученым в доказательство противоположности самой природы нацизма интересам всех широких социальных слоев немецкого общества, кроме крупных собственников, получила у него социально-экономическое обоснование. В послевоенный период именно низы среднего класса чувствовали, по его убеждению, наибольшую угрозу со стороны монополистического капитализма, что было использовано для установления режима, враждебного их собственным интересам, писал Фромм, характеризуя политику монополистического капитала в Германии в 20—30-е гг.[22]

Заостряя внимание на противоположности экономи-

[21] Ibid., p. 243.

[22] Ibid., p. 244.

ческих интересов мелкой буржуазии и крупного капитала в Германии, ученый показал роль Гитлера как орудия немецких монополистов. Он писал, что благодаря своей демагогии Гитлер на посту главы государства совмещал «... качества возмущенной, ненавидящей мелкой буржуазии, с которой могли психологически идентифицировать себя низы среднего класса, с качествами тех оппортунистов, которые были готовы служить интересам немецких промышленников и юнкеров»[23].

В психоанализе нацистского главаря большой интерес представляет попытка рационализации бессознательной, главным образом эмоциональной мотивации участия нацистов в фашистском движении, и в этой связи учета роли эмоционального фактора в динамике роста нацизма. Безусловно позитивное значение имеет выяснение Фроммом условий, обеспечивавших морально-психологическое единство основной части массовой базы НСДАП. Отметив, что объективные интересы немецкой мелкой буржуазии, составлявшей массовую базу нацизма, находились в противоречии с социальной природой нацизма, функционировавшего в интересах германского империализма, Фромм объяснял поддержку НСДАП с ее стороны способностью Гитлера и нацистской верхушки предоставить ей материальную и в особенности эмоциональную компенсацию, вызвать чувство удовлетворения от их политики. «Сотни тысяч мелких буржуа,— писал он,— ...подняли свой престиж в нацистской иерархии... Другие, не будучи членами нацистской машины, получали работу, отобранную у евреев и политических противников, остальные не получили больше хлеба, но они получили «зрелища». Идейно-пропагандистские мероприятия нацистов давали эмоциональное удовлетворение широкой массе немецкой мелкой буржуазии. Во многом иллюзорное представление об улучшении экономических и культурных условий ее жизни создавало основу для чувства превосходства над остальным человечеством»[24].

Антифашистская направленность, характеризовавшая психоаналитическое изучение нацизма в 40-е гг., ярко проявилась также в творчестве Франца Ноймана

---

[23] Ibidem.

[24] Ibid., p. 245.

(1900—1956), чьи оценки во многом близки фроммовским. Будучи близок к институту социальных исследований во Франкфуртском университете, эмигрировав из Германии в Великобританию, а затем в США, он основательно ознакомился с методологией классической политологической школы и в своих работах о фашизме совместил ее с принципами исследования иррационального в общественных движениях, свойственных представителям Франкфуртской школы.

Нойман был не только антифашистом, но и критиком капитализма. Он трактовал немецкий фашизм как порождение капитализма, особо отмечая факт заинтересованности крупного капитала в осуществлении агрессивных планов гитлеризма, объясняя этим поддержку германскими промышленниками нацистской партии [25].

Необходимым дополнением социально-экономической трактовки фашизма Нойман считал изучение иррациональных аспектов психологии нацизма. Уделив центральное внимание трактовке идеи харизмы в немецком обществе, он пытался доказать преемственность ее развития в средневековой и новейшей истории страны до проявлении в нацистском государстве как психологии примитивного монархизма с особенностями, обусловленными современной индустриальной эпохой. Нойман указал на воинствующий характер идеологического наступления нацистов на массовую психологию немецкого общества с целью закрепления мистического восприятия вопросов общественной жизни [26]. Психологическое воздействие Гитлера на массы, проявлявшееся в наделении его чертами харизматической личности, имело своим источником, полагал он, обострение чувств осознания принадлежности к большинству населения, беспомощности и отчаяния индивидуума в буржуазном обществе в эпоху глубоких социально-экономических потрясений [27].

Антифашистское звучание было свойственно в те годы также ряду других «психоисторических» исследований фашизма. Несмотря на то, что их научное значе-

---

[25] Neumann F. Op. cit., p. 183.

[26] Ibid., p. 83, 84.

[27] Ibid., p. 97—98.

ние во многом обесценивается отказом от признания социальной сущности немецкого фашизма, известный научный интерес сохраняют содержащиеся в них наблюдения психологических конфликтов и аффективных состояний отдельных нацистов и группировок среди них. Примером может служить психоанализ Гитлера, предпринятый Эриком Эриксоном.

Обратившись в одной из своих статей к оценке нацизма, Эриксон в 1942 г. указывал на его величайшую опасность для судеб мировой цивилизации[28]. В этой статье была предпринята попытка выявления существенных психологических условий и компонентов, помогавших нацистам в психологической обработке немецкого населения.

Особое внимание Эриксон уделил описанию форм молодежного психологического конфликта в Германии межвоенного периода, основываясь в большей степени, чем Фромм, на личных наблюдениях психологии нацизма. Ученый характеризовал психологию нацизма в целом как незрелую форму духовной жизни Германии, отмеченную значительной активизацией юношеских психологических конфликтов. Приходу Гитлера к власти способствовало, по его убеждению, умение главаря нацистов активизировать бессознательные страхи молодежной аудитории. Приравнивая Гитлера к главарям преступного мира, Эриксон писал о нем: «Он «лидер», не сумевший разрешить свой юношеский конфликт и избравший карьеру вне гражданского счастья и «мира»: лидер банды, который держит «детей» в стае треванием восхищения к себе, посредством террора и овлечения их в преступления, из которых нет выхода»[29].

Психобиографический метод выявления существенных психологических условий и компонентов нацистской идеологии был нацелен на изучение стереотипов мышления и образцов немецкой семьи. С помощью психоанализа Гитлера ученый пытался связать исследование индивидуальной психологии нациста с образцами ведения немецкой семьи, справедливо утверждая,

---

[28] Erikson E. Hitler's Imagery and German Youth.—Psychiat-1942, vol. 5, № 4, p. 475—493.

[29] Ibid., p. 480—481.

что историческое развитие страны необходимо формирует ряд психологических особенностей мышления населения, которые, будучи использованы в политической практике, способствуют ее действенности. Он показал, что Гитлеру была присуща способность использовать в политических выступлениях семейную терминологию, что в сочетании с эксплуатацией семейных образов и националистических стереотипов мышления могло вызвать сильную ответную реакцию в националистической аудитории [30].

Эриксон использовал в психологическом анализе эксплуатируемых гитлеровцами стереотипов мышления историко-культурный материал, благодаря чему предложил оригинальную трактовку нацистского экстремизма. Действенность экстремистских установок нацизма приведшего Германию к мировой войне за осуществление бредовой мечты о «великом рейхе», обусловливалась по его мнению, раздвоенностью национального сознания немецкого бюргерства в политическом плане между «социалистическим Востоком» и «западной демократией» в религиозном — между протестантизмом и католицизмом, в культурном — из-за отсутствия «естественных границ» — в интенсивном влиянии соседей, обостряв шем проблему сохранения немецкой национальной культуры. Обещания Гитлера снимали эту психологическую раздвоенность немецкого бюргерства через разжигание до аффективных форм проявления чувства его национального, расового и культурного превосходства над другими народами.

Имея в виду главным образом немецкое бюргерство Эриксон завершает свои наблюдения оценкой влияния Гитлера на умозрительно выделенные им четыре группы населения страны, непосредственно связывая с ними причины успеха и прочности влияния фашизма. «Во первых, молодые преступники-рецидивисты. Не слишком многочисленные, они были заместителями нацистских лидеров. Они жили и умирали за порядок, который легализировал их тип и способствовал его процветанию. Во-вторых, толпа подчас хороших и дружелюбных, фактически очень хороших и дружелюбных немцев, в которых никто не заподозрил бы отравляющих

[30] Ibid., p. 475—493.

омплекс подавленного юношеского бунта: Гитлер свободил их. В-третьих, массы ни «хороших», ни «плоих» людей, которые хотели хлеба и зрелищ. Они слео верили в догмат подчинения. Когда этот мир потерел поражение, их революционная энергия была парализована. Они не могли убивать аристократов. Гитлер ал им взамен евреев. В-четвертых, маленькая, но лиятельная группа, система ценностей членов котоой протестует против нацистского спектакля. Однако е члены не осмеливаются поднять руку на лидера, тождествляемого с образом немецкого барона-идеала х юношеских мечтаний»[31]. В основу этой классификаии положена идея об активизации и умелом использовании нацистским главарем юношеских психологических конфликтов.

Антифашистская направленность рассматриваемых сихоаналитических исследований сочеталась с убежденностью их авторов в возможности достижения в них аучной точности. В особенности заслуживает быть отеченным признание принципиальной возможности ационального объяснения сферы бессознательного. Приечательно, что именно в обнаружении закономерноей функционирования внерациональной части человеческой психики Фромм усматривал одну из главных аслуг Фрейда. «Он и его последователи в современной сихологии не только обнаружили иррациональный и ессознательный сектор человеческой природы, существование которого игнорирует современный рационализм, он также показал, что эти иррациональные феноены подчиняются определенным законам и поэтому огут быть поняты рационально»,— писал он, акцентия внимание на научном характере познания психолоических явлений с помощью психоанализа[32].

Формирование прогрессивной тенденции в изучении мецкого фашизма с позиций психоанализа было органически связано с общей эволюцией американской историографии вопроса, в которой в 30—40-е гг. происходило утверждение взглядов на фашизм как опасную титезу буржуазной демократии и всей мировой цивизации. В условиях растущей угрозы фашистской

[31] Ibid., p. 491.

[32] Fromm E. Escape from Freedom..., p. 23.

опасности в американской историографии широкое распространение получили антифашистские настроения. Настойчиво указывая на антидемократический характер фашизма, некоторые исследователи сумели дать глубокие оценки его социальной природы. Так, Р. Брэди прямо трактовал нацистскую диктатуру как диктатуру монополистического капитализма: «Режим, который нацисты устанавливают, вполне может быть определен через природу интереса породившей его диктатуры монополистического капитализма»[33]. Рассматривая причины победы фашизма в Германии, он связывал их с надломом капитализма как мировой социальной системы. При этом ученый соотносил фашизм с реакцией, а коммунизм — с прогрессивными силами общественного процесса[34].

Оценивая приход нацистов к власти как победу реакционных сил, отдельные американские историки указывали на связь гитлеризма с реакционными кругами германского и международного монополистического капитала. Так, профессор истории Ф. Миллер раскрыл своекорыстную позицию магнатов германского военного бизнеса: «Поджигатели войны, из-за прибылей они были согласны играть в азартную игру жизнями немецкого народа и тащить свою нацию к позору и бедствиям, в то время как они приумножали свои богатства в иностранных банках»[35].

Вместе с тем общая идеалистическая природа буржуазной историографии обусловила присутствие в «психоисторических» исследованиях фашизма целого ряда научно-негативных моментов, относящихся прежде всего к сфере осмысления исторического процесса и его движущих сил. Причем обращение к психоанализу в изучении таких социальных явлений, как фашизм, еще более усиливало имманентно присущее буржуазной науке идеалистическое истолкование истории.

Психоаналитическим исследованиям фашизма тех лет присущи серьезные недостатки, связанные в первую очередь с преувеличением роли психологического фа-

---

[33] Brady R. A. The Spirit and Structure of German Fascism. L., 1937, p. 33.

[34] Ibid., p. 33—34, 324, 326—327.

[35] Miller F. History of World War II. Phil., 1945, p. 60.

тора в истории и, как следствие, ориентировка преимущественно на психологическое объяснение событий. Этих недостатков не смог избежать даже Э. Фромм, придававший, как мы видели, немаловажное значение выявлению конкретно-исторических предпосылок победы нацизма в Германии и поднимавшийся до признания социально-экономического фактора как одного из ее определяющих. «Нацизм является психологической проблемой, но психологические факторы,— подчеркивал ученый,— должны быть поняты как сформированные социально-экономическими факторами»[36]. В то же время он, придерживаясь плюралистической теории факторов, оговаривался, что социально-экономические проблемы нацизма зависят от психологических факторов его истории, приписывая этим последним по меньшей мере равноценное с социально-экономическими значение[37].

Фромм успех Гитлера в националистически настроенных мелкобуржуазных слоях немецкого общества в такой же мере связывал с особенностями их психологии. Фактически он игнорировал вопросы о роли нацистского террора, помощи нацистам со стороны консервативных и реакционных буржуазных партий, организационной деятельности НСДАП по созданию собственной массовой базы. Психология средних слоев буржуазного общества неправомерно обретает в его концепции роль основного фактора формирования массовой базы фашизма, а способность управления ею приравнивается к политическому руководству широкими массами немецкого населения.

Недооценка или прямое игнорирование определяющего влияния социально-экономических условий формирования нацистской психологии в еще большей мере прослеживаются в работах других ученых. Сошлемся на уже упоминавшееся психобиографическое исследование нацистского главаря Э. Эриксоном. Социально-экономические факторы в данном исследовании не получили сколько-нибудь развернутой оценки, несмотря на то, что для Эриксона была очевидной их роль в истории фашизма. Только комбинация психологической

---

[36] Fromm E. Escape from Freedom..., 232.

[37] Ibidem.

и экономической интерпретации роста нацизма, признавал он, объясняет, почему бессознательная символика легенды о Гитлере, изложенной последним в «Майн Кампф», оказалась убедительной для столь многих немцев[38]. Однако в соответствии с фрейдистским учением Эриксон заострил внимание на характеристике психологических особенностей нацизма как проявления извечных юношеских конфликтов, якобы доминировавших в психологии немецкого населения в анализируемый им период истории.

Ориентация на ортодоксальный психоанализ с его ограниченными возможностями, в немалой степени усугубляемая узостью источниковой базы, обусловила пороки объяснения феномена фашизма, даже если оно предпринималось с идейно-прогрессивных позиций. Так, центральное место в объяснении психологии нацизма у Фромма занимает концепция «авторитарного характера». Психоаналитическая по своему происхождению, эта концепция обосновывается анализом индивидуальной психологии нацистского главаря и преподносится как ключ к объяснению массовой психологии нацизма. Свое развернутое изложение она получила в книге «Бегство от свободы». В ней Фромм психологические аспекты концепции «авторитарного характера» пытался подкрепить данными анализа «Майн Кампф» Гитлера, оценив этот опус как наиболее репрезентативный источник для психоанализа фашизма[39].

Даже усилия исследователей привлечь к изучению фашизма традиционные исторические источники обесценивались их преобладающей ориентацией на психоанализ. Так, в психоанализе Гитлера, предпринятом группой ученых под руководством У. Лэнгера, предполагалось использовать практически всю известную к тому времени литературу о фашистском главаре: публикации в периодике, высказывания и воспоминания политических деятелей, справочники, научные труды и др. Но обилие привлеченных исторических источников только рельефно подчеркивает порочность психоаналитической исследовательской процедуры их интерпретации. Так, при написании центральной главы этой работы, призванной

[38] Erikson E. Hitler's Imagery..., p. 480.

[39] Fromm E. Escape from Freedom..., p. 246.

объяснить исходные мотивы поведения Гитлера, У. Лэнгер опирается почти исключительно на... «Майн Кампф»[40]. Ортодоксально-фрейдистский подход не позволил использовать многообразные исторические источники, характеризующие личность «фюрера».

Показателем методологической ограниченности психоаналитических интерпретаций исторических событий в американской историографии была их «клиническая» направленность. Уже в 30-е гг. наметились ростки расцветшей в современной «психоисторической» литературе интерпретации фашизма как психической аномалии немецкой нации. Известна попытка приложить психоаналитический метод к изучению немецкого фашизма, предпринятая перед второй мировой войной с позиций классического фрейдизма Ф. Шуманом[41]. Американский ученый критиковал нацизм, усматривая в нем симптомы психического безумия. Утверждая вслед за Фрейдом, что поведение людей в обществе определяется бессознательными импульсивными побуждениями, Ф. Шуман пытался в деталях проследить проявление «коллективного невроза» немецкого общества в целом и мелкой буржуазии в особенности. «Болезнь основательно постигла мелкую буржуазию. Она страдала от острой паранойи со всеми ее типичными «галлюцинациями преследования». В Гитлере она обрела, наконец, свой голос. В доктрине мирового господства нацистской партии она обрела утешение от всех своих горестей, прощение всех своих грехов, оправдание для своей ненависти, козла отпущения своих неудач и хилиастическое видение всех своих надежд»,— таково заключение Шумана о природе социальной психологии немецкого фашизма[42], несостоятельность которого настолько очевидна, что отпадает необходимость его пространной критики.

Психоаналитические интерпретации немецкого фашизма уже в период их зарождения содержали пред-

[40] Langer W. Op. cit., p. 135—205. Критику психоаналитического истолкования фашизма в книге У. Лэнгера см.: Рахшмир П. Ю. Социологические и психологические интерпретации фашизма в современной буржуазной науке.— В кн.: МИВИН, Томск, 1976, вып. 11, с. 27—28; Яковлев Н. Н. ЦРУ против СССР. М., 1983, с. 87—90.

[41] См.: Shuman F. The Nazi Dictatorship. N. Y., 1935. 494 p

[42] Ibid., p. 109.

ставления и идеи, обусловившие их противоречивый и ограниченный характер. Изначальные пороки психоаналитического подхода препятствовали познанию социально-классовой природы немецкого фашизма и адекватному отражению событий новейшей истории Германии, а тем самым и реализации на этой основе претензий адептов «психоистории» на достижение научной точности в их исследованиях.

Сложившиеся в 40-е гг. принципы психоаналитического исследования немецкого фашизма не остались неизменными в ходе дальнейшего развития американской буржуазной науки. Причем, как будет показано ниже, наибольшей деформации подвергалась его идейная направленность. Однако и в последующие годы в американской психоаналитической историографии вопроса продолжает существовать заметная антифашистская струя. Ее сохранение во многом было связано с именем Фромма, вплоть до последних лет жизни не оставлявшего своих занятий в этой области.

В процессе этих занятий Фромм уточнял и видоизменял свою концепцию немецкого фашизма, не затрагивая, однако, ее идейной направленности. Основным методом его психоаналитического изучения нацизма оставалась психобиография нацистских главарей. Правда, вносятся существенные коррективы в трактовку понятия «авторитарного характера» как ключевой категории в объяснении нацистской психологии. В частности, по-иному теперь характеризуется образ самого Гитлера. В одной из своих последних книг носителем классического образца авторитарного характера, соответствующего природе и идеологии нацизма и связанного с психологией обывателей, Фромм считает Гиммлера. Гитлер же рассматривается как авантюристический тип, не имеющий корней ни в какой сколько-нибудь широкой социальной группе немецкого населения. По утверждению автора, «Гитлер был настоящим мещанином во дворянстве, нуворишем, страстно желавшим показать, что он джентльмен... Он ненавидел низшие классы, потому что вынужден был доказывать, что не принадлежит к ним с венских времен, когда он к ним в действительности принадлежал. Гитлер был человеком без корней не столько потому, что был австрийцем, выдававшим

себя за немца, сколько потому, что не имел корней ни в одном социальном классе»[43].

В измененном варианте психоанализа фашистского главаря Фромм заострил внимание на изучении деструктивных черт психологического облика Гитлера. В новом варианте агрессивность Гитлера Фромм связывал с его реакционностью. Он показал, сопоставляя уровни интенсивности эмоциональной реакции в соответствующих высказываниях Гитлера, что не поражение в первой мировой войне, как считают многие современные «психоисторики», а Ноябрьская революция в Германии породила бешеную злобу ярого националиста. Более того, именно революция была толчком, высвободившим его контрреволюционную энергию. «Революция была атакой на него, на его ценности, на его надежды, на его фантазии величия, в которых он и Германия были едины... В это время Гитлер получил возможность трансформировать свои личные неудачи и унижение в национальное и социальное поражение и унижение, которые, таким образом, помогли ему забыть его личные неудачи» — так оценил Фромм восприятие Гитлером Ноябрьской революции в Германии и указал на него как на поворотный пункт в эмоциональном развитии будущего главаря нацистов, психологически позволивший ему перейти к активной контрреволюционной деятельности под началом армейского офицерства[44]. Фромм подробно охарактеризовал эмоционально-волевые качества Гитлера, способствовавшие восприятию антикоммунизма злобным националистом и человеком без определенных занятий, восторженно приветствовавшим первую мировую войну и остро переживавшим неизбежность потери статуса «защитника» после поражения Германии.

Но психологические качества Гитлера (Фромм, в частности, указал на «открывшийся» у главаря нацистов дар убеждения националистической консервативной аудитории) были лишь предпосылкой его контрреволюционной деятельности. Главную роль в приобщении Гитлера к реакционной политической деятельности

---

[43] Fromm E. The Anatomy of Human Destructiveness. L., 1974, p. 425.

[44] Ibid., p. 394—395.

и формировании его воинствующего контрреволюционного мировоззрения, по убеждению Фромма, сыграл германский милитаризм. «Реакционные армейские офицеры не только поручили ему шпионить за солдатами, но и обратили его к реакционным, милитаристским идеям... Гитлер становится активным действующим лицом в деле продажи товара, в котором была большая потребность у части разочарованных и опустошенных «маленьких людей» и в торговле которым сначала армейские, а затем и другие могущественные группы были жизненно заинтересованы, — националистической, антикоммунистической, милитаристской идеологии. Когда он доказал свою состоятельность в этой работе, значительные секторы среди немецких банкиров и промышленников поддержали его в финансовом отношении настолько, что он оказался способным захватить власть»,— писал ученый [45]. Нельзя не признать близости этих положений точке зрения на становление контрреволюционной личности Гитлера, утвердившейся в советской исторической литературе [46].

Ценность наблюдений Фромма возрастает в связи с тем, что в современной американской буржуазной историографии всячески принижается роль контрреволюционных истоков в деятельности нацистского главаря и его партии. Так, например, Р. Уайт даже не включает в оценку партийных установок руководимой Гитлером НСДАП ее антикоммунизм. Американский профессор с помощью характерного для буржуазной историографии маневра связывает становление нацистского мировоззрения Гитлера с венским периодом, в котором антикоммунизм не играл сколько-нибудь заметной роли, полностью исключает его из программы деятельности нацистов [47]. Поэтому оценка Фроммом места милитаризма в формировании психологии Гитлера, доказательства того, что антикоммунизм главаря нацистов уже на раннем этапе его политической карьеры был двигателем и наиболее существенной чертой морально-психологического облика нацистского преступника, звучат в совре-

---

[45] Fromm E. H. The Anatomy..., p. 427.

[46] См.: Мельников Д., Черная Л. Преступник номер Нацистский режим и его фюрер. М., 1981, с. 27—56.

[47] См.: Hitler and Nazi Germany/Ed. by R. Waite. N. Y., 1965, p. 9.

менной американской историографии очень актуально.

Способность Фромма к реалистической оценке отдельных социально-психологических аспектов истории немецкого фашизма во многом обусловлена его отказом от сведения мотивации поведения личности и масс только к инстинктивно-сексуальной сфере психики, а также от ортодоксально-фрейдистской трактовки детства как возраста, с железной неизбежностью определяющего все дальнейшее поведение человека. Психобиографическому методу Фромма присуща мотивация поведения исторической личности в переломные этапы истории социальными факторами общественной жизни. Запоминается в этой связи оценка, данная им поведению Гитлера на международной арене в кризисной ситуации середины и второй половины 30-х гг. Анализируя его тактику во время ремилитаризации Рейнской зоны, агрессии Италии против Эфиопии, гражданской войны в Испании, Фромм подчеркивает, что хотя ограниченному мышлению Гитлера было недоступно видение широкой политической и экономической перспективы в развитии Европы межвоенного периода, он умел превосходно оценивать тактические ходы своих европейских противников. Основная же причина успехов Гитлера усматривается им в действиях правящих кругов европейских стран. Оценивая линию англо-французского политического поведения в середине и второй половине 30-х гг., Фромм не без основания утверждает, что победы Гитлера обусловлены безволием западных держав и в первую очередь Англии, тем, что он уловил симпатии руководства английских консерваторов к немецкому и итальянскому фашизму и их надежды на то, что политика «невмешательства» приведет к нападению Германии на Советский Союз. Это создало психологическую уверенность нацистского руководителя в возможности реализации своих авантюристических внешнеполитических планов под флагом борьбы с коммунизмом [48].

В измененном варианте психоанализа Гитлера Фромм сохранил оценку немецкого фашизма как социального феномена буржуазной цивилизации. Неуничтожимость фашизма в современном буржуазном обществе была одной из самых беспокоивших ученого проблем в

[48] Fromm E. The Anatomy..., p. 429.

его размышлениях в последние годы жизни. Углубившись в психоанализ Гитлера, Фромм вместе с тем отказался, как и прежде, от персоналистской трактовки немецкого фашизма, предполагающей, что изучение личности Гитлера само по себе якобы способно объяснить природу и причины успеха нацизма. Отмечая, что объективный анализ мировоззрения и действий нацистского главаря диктуется не только чисто научными целями, но важностью социальных уроков истории гитлеризма для современности и будущего, Фромм указывал: «Гитлер не был гением, и таланты его не были уникальны. Уникальной была социально-политическая ситуация, в которой он формировался»[49].

Таким образом, несмотря на серьезные методологические недостатки, психоаналитическая интерпретация немецкого фашизма Фромма в силу ее антифашистской направленности сохраняет известное значение для осмысления социальной психологии нацизма, что свидетельствует об определенных позитивных возможностях исторического исследования фашизма с помощью психоанализа. Однако эти возможности оказались большей частью нереализованными в рамках буржуазной «психоистории». «Психоисторический» подход, унаследовавший идейно-теоретические изъяны традиционной историографии, ориентированной в 30—40-е гг. почти исключительно на ортодоксальный психоанализ, имел к тому же узкую источниковую базу. В конечном счете приходится констатировать его научную несостоятельность.

2. «Психоистория» фашизма после второй мировой войны

Развитие американской «психоистории» фашизма в 50 — начале 70-х гг. проходило под сильным влиянием общих перемен, протекавших в американской историографии и самом буржуазном обществе после второй мировой войны и характеризовавшихся широким наступлением сил реакции. В атмосфере развязанной в годы «холодной войны» разнузданной антисоветской ис-

[49] Ibid., p. 433.

терии идейно-теоретические позиции буржуазных историков во все большей степени определяла открытая или завуалированная борьба с социализмом, что обусловило широкое распространение реакционных теорий, призванных ослабить влияние идей социализма и защитить ценности буржуазного общества [50].

Одной из таких теорий, оказавшей особенно сильное и стойкое влияние на психоаналитическое изучение фашизма в американской историографии, явилась пресловутая доктрина тоталитаризма [51]. Под ее прямым воздействием происходит далеко идущая идейная переориентация этого изучения. На смену его былой антифашистской направленности все решительнее приходят антисоветизм и антикоммунизм. Достигается это путем явно ненаучного, откровенно спекулятивного сближения общественно-политического устройства социалистических и фашистских государств.

Уже в первых послевоенных психоаналитических работах о фашизме явственно обнаруживается их идейная направленность, заключающаяся в дискредитации социализма. Так, в антисоветском угаре Дж. Джильберт, причисляя Советскую Россию к странам с тоталитарными диктатурами, твердил о близости их систем управления и т. д.[52]. Тезис об авторитаризме как характерной черте нацистской психологии сменила концепция тоталитарной психологии, получившая свое обоснование в статье одного из известных американских идеологов консерватизма Е. Шилса «Авторитаризм: «правый» и «левый» [53].

---

[50] См.: Дементьев И. П. Основные направления и школы в американской историографии послевоенного времени.— Вопросы истории, 1976, № 11, с. 67—68.

[51] Общую характеристику этой доктрины и ее идейного смысла см.: Черняк Е. Б. Историография против истории (критика реакционной историографии эпохи крушения капитализма). М., 1962, 368 с.; Марушкин Б. И. История и политика. М., 1969. 394 с.; Он же. Советология: расчеты и просчеты. М., 1976. 160 с.; Lozek G. Richter R. Legende oder Rechtfertiegung? Zur Kritik der Faschismustheorien in der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Berlin-1979. 100 S.

[52] Gilbert G. The Psychology of Dictatorship. N. Y., 1950, p. 12; Idem. Nurenberg Diary. L., 1948, p. X.

[53] Shils E. A. Autoritarianism: „right" and „left".—In: Studies in the Scope and Method of „Antoritarian Personality". Glencoe, 1954, p. 24—49.

В этой статье были подвергнуты критике идейно-политические аспекты концепции «авторитарной личности» Т. Адорно, являвшейся одной из наиболее влиятельных в западной историографии вопроса. Во многом созвучная теории «авторитарного характера» Фромма, она была построена на социологическом и психологическом анализе высказываний американских граждан из числа тех, что могли стать, по мнению Адорно и руководимой им группы исследователей, массовой опорой американского фашизма. Эта концепция, несмотря на свою противоречивость, несла мощный заряд антифашизма. «Ни одно политическое направление не создает такой серьезной угрозы нашим традиционным ценностям и институтам, как фашизм... и мы надеемся, что знание личностных сил, которые благоприятствуют его утверждению, может в конечном счете стать полезным для борьбы с ним»,— писал Адорно, формулируя задачи исследования [54]. Вслед за Фроммом он признавал антикоммунизм одной из черт морально-психологического облика «потенциального» фашиста (считая, однако, главной из них антисемитизм). Адорно справедливо оценивал антикоммунизм в фашистской пропаганде как направление психологической агрессии, отметив, что многие из обследованных им американцев проецируют на коммунизм свою агрессивность. Полная иррациональность и абсурдность высказываний этих американцев о коммунизме демонстрирует огромный психологический резерв фашистской пропаганды в США, предупреждал ученый в 1950 г. [55]

Против этих антифашистских выводов концепции Адорно и ополчился Шилс, потребовав распространения понятия «авторитаризм» на социалистическое общество. Обвиняя своих предшественников в том, что они «просмотрели» проблему «авторитаризма левых сил» и ставя знак равенства между этими силами и фашизмом [56], он тем самым кардинально пересмотрел все идейное содержание концепции «авторитарной личности». Извратив действительный смысл этой концепции,

---

[54] Adorno T. W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D. J., Sanford R. N. The Authoritarian Personality. N. Y., 1950, p. 1.

[55] Ibid., p. 723—724.

[56] Shils E. A. Op. cit., p. 38.

американский автор поставил ее на службу империалистической реакции.

Показателем разрыва американской буржуазной историографии с прежними трактовками фашизма явилась и проведенная в 1953 г. конференция по тоталитаризму, материалы которой были опубликованы под редакцией К. Фридриха. Фридрих обвинил известных американских исследователей фашизма в «ослепленности дихотомией капитализма и социализма», увлеченности социально-экономическими проблемами, а некоторых из них, в том числе и Ф. Ноймана, даже в приверженности марксистской концепции фашизма. Исследователям 30—40-х гг. следовало бы, поучал Фридрих, оценить значение тоталитарной ортодоксии, имеющей якобы внесоциальный и универсальный характер, одним лишь из проявлений которой было нацистское государство[57]. Значение конференции заключалось в том, что она способствовала дальнейшему утверждению доктрины тоталитаризма в различных сферах американского буржуазного обществоведения, в том числе и в «психоистории».

Особенно заметно влияние доктрины тоталитаризма на идейную направленность американской «психоистории» немецкого фашизма в 60—70-х гг. Эти годы характеризуются резким усилением «психоисторических» исследований, составивших, по наблюдениям советских историков, на рубеже 60—70-х гг. основную массу исследовательской литературы в историографии вопроса[58]. Несмотря на то, что в этот период доктрина тоталитаризма в буржуазной историографии переживает кризис, она продолжает ощутимо сказываться на некоторых «психоисторических» исследованиях, являющихся в этом смысле своеобразным провозвестником нового оживления этой теории с середины 70-х гг. В работах сторонников доктрины тоталитаризма психоаналитические теории и методы используются с тем, чтобы затушевать органическую связь между фашизмом и капитализмом, снять с реакционных правящих кругов и монополий ответственность за преступления фашизма, дискредитировать социализм. Прибегая к идеологическим манипу-

[57] Totalitarianism Ed. by Carl J. Friedrich. N. Y., 1954, p. 51.

[58] Бланк А. С., Кашин Р. Г. Указ. соч., с. 122.

ляциям в рамках теории тоталитаризма, некоторые «психоисторики» не прочь возложить ответственность за преступления и самое существование фашизма на тот строй, который стал самой твердой преградой на пути коричневой опасности.

В систематических попытках объяснения нацистской психологии догмами доктрины тоталитаризма часто используется тезис об «авторитарной личности». Так, английский профессор Г. Дикс использует концепцию «авторитарной личности» для объяснения глобальных аспектов истории фашизма. Рассуждения Дикса идут по наезженной колее доктрины тоталитаризма. Правда, для него немецкий фашизм — сугубо реакционное движение. Имея в виду консервативные предрассудки немцев, поддержавших нацистов на выборах начала 30-х гг., «психоисторик» выдвинул заслуживающую внимания идею, пытаясь объяснить причины быстрого роста числа избирателей, голосовавших за них. «В условиях психологической неспособности правого крыла вести кампанию против Веймарской республики легальными методами именно национал-социалисты, — подчеркивает он,— смогли интегрировать и выразить мешанину настроений солидарности, воинствующего германского национализма и презрения к слабым разуверившейся молодежи»[59]. В целом в концепции Дикса немецкий фашизм предстает как движение широких масс. Движение ветеранов войны и голодной молодежи — так он характеризует массовую базу нацизма[60]. Идейный смысл этой концепции обнажает содержащаяся в книге классификация черт «тоталитарной психологии», претендующая на некую универсальность[61]. Опираясь на нее, Дикс постулирует принципиальное единство фашистских и социалистических движений, усматривая различие между ними только в выборе «символов преследования»[62].

Характерно, что Дикс наиболее прямолинейно из современных «психоисториков» заявляет о своих расхождениях с политическими идеями первого поколения

---

[59] Dicks H. V. Licensed Mass Murder: A Sociopsychological Study of some SS Killers. L., 1972, p. 43—44.
[60] Ibid., p. 75.
[61] Ibid., p. 267—268.
[62] Ibid., p. 268.

«психоисториков». Не отрицая близости к концепции Адорно в ряде положений теории «авторитарной личности», Дикс в то же время заявляет: «Одним из наиболее заметных «белых пятен» в теоретических построениях команды Адорно в изучении авторитаризма является именно то, что они отождествили ее (фашистскую личность.— *Авт.*) с «правыми», а демократию — с «левыми»[63]. Дикс поддерживает выдвинутую в середине 50-х гг. Е. Шилсом идею о принадлежности психологии социализма к реакционным разновидностям психологии современной государственности[64]. Идеологическая обусловленность подобной установки, являвшейся порождением духа «холодной войны», несомненна, равно как очевидна ее идейная направленность. Дикс, например, пытается с помощью психоанализа придать видимость научного обоснования утверждению о наличии мнимых «революционных» компонентов у фашизма. Правда, он затронул проблему ответственности консервативных кругов за успехи НСДАП. Однако в их деятельности он усматривает лишь попытку сбить мнимый революционный накал гитлеризма, а в сближении владетельной верхушки Германии с Гитлером — попытку превратить гитлеризм из «революционного» в традиционно-националистический, а следовательно, безвредный для нее[65].

Идейный смысл этих усилий особенно наглядно обнажают писания уже знакомого нам Метвина, направленные на последовательную дискредитацию революционных движений и их вождей. Одним из самых неблаговидных средств в достижении этой цели и служит для него провозглашение Гитлера и Муссолини «революционерами». При этом Метвин широко оперирует фрейдистскими категориями, призванными доказать, что эти фашистские главари якобы обладали «комплексами» революционеров.

Ключевым для всей концепции Метвина является положение о ненависти революционных радикалов к окружающему миру и стремлении или разрушить его, или захватить над ним власть. Трактуя высказывания

---

[63] Ibidem. Об этой «методологической ошибке» Т. Адорно предупреждает своих читателей и Ю. Метвин. См.: Methvin E. Op. cit., p. 566.

[64] Dicks H. V. Licensed Mass Murder..., p. 18, 203, 268.

[65] Ibid., p. 44.

Гитлера о своем отце в «Майн кампф», Метвин бездоказательно считает их свидетельством наличия у него «эдипова комплекса», который и опять-таки без какой-либо аргументации объявляется причиной переноса агрессивности Гитлера, выросшей из борьбы с отцом, на буржуазию[66]. С ловкостью фокусника американский автор прикладывает психоаналитические категории к самым различным историческим событиям, неизменно получая таким образом «исчерпывающие сведения» о них, невзирая на их географические, социальные, исторические различия и разномасштабность.

В современной американской «психоисторической» революциологии. Метвин не одинок в своих попытках с помощью психоанализа обосновать наличие «революционного» характера у фашистских главарей. Так, В. Мэзлиш предпринимает попытку найти комплекс «революционного аскетизма» у Гитлера. Впрочем, антиисторизм подобных сопоставлений заметен даже консервативной периодике. Рецензент «Энкаунтер», например, высмеивает сопоставления Мэзлишем Гитлера и Мао Цзедуна как совершенно неисторичные, справедливо полагая, что проистекают они из-за несостоятельности используемого автором фрейдистского объяснения истории[67].

О распространении в современной «психоистории» немецкого фашизма подобных представлений свидетельствует то, что ее представители применяют понятие «революционность» к контрреволюционной деятельности фашистов в Германии и не связывают себя догмами доктрины тоталитаризма. Активно и последовательно отстаивают версию о мнимых революционных компонентах фашизма наряду с такими известными историками и политологами, как Э. Вебер, Д. Шенбаум, Д. Моссе[68], «психоисторики» Б. Смит, П. Меркель, Ф. Вейнстейн.

---

[66] Methvin E. Op. cit., p. 466.

[67] Mount F. Revolutionaries.—Encounter, 1977, vol. 49, № 6, p. 61—63.

[68] См.: Weber E. Varieties of Fascism. N. Y., 1964. 502 p.; Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution: Class and Status in Nazi Germany 1933—1939. L., 1967. 336 p.; Mosse G. L. The Crisis of German Ideology. L., 1966. 373 p.; Idem. Nazism. A History and Comparative Analysis of National Socialism. New Brunswic; N. Y., 1978. 386 p.

Так, Б. Смит, посвятив часть своего исследования анализу эволюции привитых консервативным воспитанием взглядов Гиммлера по этико-религиозным вопросам, его трактовкам политических ценностей и идеалов, определяет значение революционных событий 1918—1923 гг. в жизни Гиммлера как сильного катализатора общественной активности будущего нацистского иерарха, осуществившего «его превращение из консервативного в радикального революционера»[69]. В книге другого американского «психоисторика», П. Меркля, читатель обнаруживает, что «правый радикализм» в молодежном нацистском экстремизме является для автора, так же как и для П. Смита, синонимом революционности[70]. В работах Ф. Вейнстейна, ратующего за комплексное социально-психологическое изучение немецкого фашизма, последний изображается «гетерогенной революцией» в немецком обществе XX в. Научный уровень подобных представлений характеризуют использование демагогических высказываний Гитлера и опора на них для «доказательства» стратегической близости идеологии нацизма и революционных сил современности[71].

Одной из наиболее традиционных форм исторического объяснения в американской историографии фашизма является его персонификация. Зародившись в 20-е гг., персоналистические интерпретации фашизма перекочевали в современную американскую историографию. Об их влиянии свидетельствует волна описаний жизнедеятельности нацистских иерархов, в особенности Гитлера, в исторической литературе США 60—70-х гг. «Наиболее выдающаяся личность XX в.», «уникальная личность» в мировой истории — такие часто встречающиеся характеристики главного нацистского преступника в биографической литературе сами по себе уже говорят о ее идейной направленности. Персонифицируя историю немецкого фашизма, американские историки представляют ее как результат неконтролируемой, под-

---

[69] Smith B. Heinrich Himmler: a Nazi in the Making. 1900—1926. Stanford, 1971, p. 141, 169 и др.

[70] Markl P. Political Violence under the Swastica: 581 Early Nazis. N. Y., p. 711—712.

[71] Weinstein F. The Dinamics of Nazism: Leadership, Ideology and Holocaust. N. Y., 1980, p. XIII.

час демонической по своей природе деятельности Гитлера, называет его творцом «немецкой трагедии», в которой германские монополии были лишь бессильными статистами.

Среди американских историков, персонифицирующих историю немецкого фашизма, заметное место занимают известные представители «психоистории» и среди последних — Р. Уайт. В своей книге «Психопатический бог Адольф Гитлер», написанной с откровенно идеалистических позиций, Уайт отвергает взгляд на историю как науку и предостерегает историков от претензий на научную точность исторического анализа, приведя изречение Г. М. Тревельяна о том, что «в самой главной части своего занятия история является не научной дедукцией, а работой воображения»[72].

Такая методологическая установка открывает особенно широкий простор для произвольного оперирования психоаналитическими категориями. Недаром даже буржуазный рецензент вынужден признать, что использование психоанализа в книге Уайта порой абсурдно[73]. Уайт опирается на психобиографический метод исследования личности Гитлера, но если исследователи 30—40-х гг. использовали психобиографию с целью объяснить успех идей нацистов и эксплуатируемых их пропагандой эмоциональных представлений и образов среди населения Германии (Эриксон, например, под этим углом зрения рассматривал психологические факторы упрочения военной и государственной машины нацизма), то Уайт идет от обратного. Он персонифицирует историю немецкого фашизма, выискивая в кризисных ситуациях, в изобилии ее насыщавших, сведения о проявлении в них психопатологии Гитлера. Значение психобиографического метода в данном случае неизмеримо обесценивается из-за сужения целей исследования, а выводы общего характера становятся возможны лишь при условии признания нацистского вождя творцом и вершителем судеб истории Германии.

Уайт, прибегая к психоанализу Гитлера, преувеличи-

---

[72] Waite R. G. L. The Psychopatic God Adolf Hitler. N. Y. 1977, p. XVIII.

[73] Fox G. P. Adolf Hitler: the Continuing Debate.— International Affairs, 1979, vol. 55, № 2, p. 258—259.

вает возможности этого метода в объяснении ряда ключевых эпизодов внутри- и внешнеполитической жизни Германии тех лет. Аншлюс Австрии в 1938 г., утверждает он, особенно ярко иллюстрирует связь между личными чувствами Гитлера и международными отношениями того периода. Поведение нацистского главаря во время аншлюса объясняется переносом мнимого «эдипова комплекса» Гитлера в ткань международных отношений[74]. Тем самым агрессивная внешняя политика нацистов оценивается как результат личных фантазий и бессознательных желаний их главаря, отражение «личной борьбы Гитлера против времени и своих фантазий»[75]. Подобная логика приводит Уайта к фактической реабилитации фашизма. Агрессивность Гитлера рассматривается как проявление извечно присущих индивидууму биологических импульсов агрессивного гнева, ведущего к насилию и разрушительности в поступках. Такие эмоции свойственны всем людям, и в Гитлере они были еще не очень остро выражены, заявляет Уайт. Поскольку Гитлер обладал неограниченной властью над современным, в высокой степени механизированным и технически оснащенным государством, только его личная агрессивность обусловила головокружительную смену внешнеполитических кризисов, завершившихся мировой войной[76]. Таким образом, свершилось то, что якобы не могло не свершиться. Психоаналитическое объяснение Уайтом истории с откровенно идеалистических позиций не только затушевывает агрессивную, реакционную сущность германского и международного империализма, породившего фашизм в Германии, но и путем апелляции к агрессивной человеческой природе объективно служит оправданию злодеяний фашизма.

Конечно, психоаналитические исследования истории немецкого фашизма в американской историографии не ограничиваются работами, написанными с откровенных субъективистских позиций. Заметное место в ней занимают публикации «психоисториков» — неообъективистов. Представляется уместным охарактеризовать их на

---

[74] Waite R. G. L. The Psychopathic God..., p. 389—390.

[75] Ibid., p. 389.

[76] Ibid., p. 386—389.

примере творчества профессора истории Р. Бинионa, одного из активных теоретиков и практиков современной «психоистории»[77]. Профессиональная историческая подготовленность Бинионa позволяет особенно ярко осветить состояние и раскрыть социальный смысл «психоистории» немецкого фашизма в историографии США.

Бинион развивает идеи, близкие традиционным персоналистским построениям современных американских биографов Гитлера, например Р. Пейна, с тем различием, что «психоисторик» пытается на словах отмежеваться от такого подхода и претендует на научное обоснование исключительной роли личности нацистского главаря в судьбах Германии.

Стремясь утвердить за собой репутацию эрудированного и точного в выводах историка, Бинион подверг в статье «Пена на гитлеровской волне» резкой критике современные буржуазные авторитеты за фактические и концептуальные ошибки в их работах[78]. Предметом особого недовольства «психоисторика» становится невосприимчивость исследователей к новейшим концептуальным подходам и идеям, под которыми как раз и понимаются категории психоанализа. Именно в этих категориях он усматривает эффективное средство повышения научного уровня исторических исследований вообще, историографии фашизма в частности. Вынужденный признать, что психоанализ пока не стяжал особых лавров на почве изучения истории, он в своих работах проводит мысль о том, что неудачи Фрейда и психоанализа в целом должны стать предметным уроком для историков, не отпугивая их от исследования объектов, требующих новейшей (психоаналитической) методологии[79].

«Психоисторические» работы Бинионa написаны в жанре исторической биографии, в котором он стал известен задолго до увлечения психоанализом, получив

---

[77] Shoenwald R. L. The Psychological Study of History.—In: International Handbook of Historical Studies. Contemporary Research and theory/Ed. by G. G. Iggers, H. T. Parker. Westport, 1979, p. 72.

[78] Binion R. Foam on the Hitler's Wave.—Journal of Modern History, 1974, vol. 46, № 3, p. 322—325.

[79] Binion R. Doing Psychohistory.—Journal of Psychohistory, 1978, vol. 5, № 3, p. 314; Idem. Hitler Among the Germans. N. Y., 1976, p. XI—XIII.

признание профессиональных историков, в том числе одного из непримиримых критиков современной «психоистории» Дж. Барзуна [80]. Особое значение среди них принадлежит его психоаналитическому исследованию личности нацистского главаря. Бинион посвятил свое исследование формированию антикоммунизма и антисемитизма в психике Гитлера. Справедливости ради следует отметить, что автором избрана задача в высокой степени трудная, так как сколько-нибудь достоверных документов, свидетельствующих о восприятии коммунизма и «еврейского вопроса» в ранний период жизни будущего «фюрера», не сохранилось. Однако скудность сведений медицинского характера и данных о детстве, юности и молодости исследуемого индивидуума, на что жалуется «психоисторик» [81], разумеется, ни в коей мере не освобождает автора от научной ответственности, предполагающей создание объективной и проверяемой концепции, объединяющей и интерпретирующей соответствующие научные факты.

В самом общем виде рассуждения Биниона сводятся к тому, что антикоммунизм и антисемитизм нацистского главаря были порождены рядом психотравм, пережитых им в детстве, юношестве и молодости. Первой из них, по убеждению «психоисторика», явилась подсознательная психотравма в младенчестве, переданная, в буквальном смысле этого слова, с молоком матери, в отношении которой к ребенку Бинион находит симптомы патологии. Далее — психотравма, пережитая в связи со смертью матери в 1907 г. в возрасте 18 лет. И наконец, психотравма 1918 г., в результате отравления газами, вызвавшая кратковременную потерю зрения на истерической основе. «Психоисторик» пытается показать взаимосвязь этих событий в нескольких планах, постулируя, в частности, связь между смертью матери, якобы умерщвленной врачом-евреем (1907), отравлением Гитлера газами во Фландрии (1918) и решением последнего отравить газом всех евреев (1942), с одной стороны, и связь между смертью матери (1907), известием о поражении Германии (1918) и переносом ком-

[80] См. приведенную на суперобложке книги ее оценку Барзуном: Binion R. Defeated Leaders. N. Y., 1960.

[81] Binion R. Hitler among the Germans..., p. XI.

плекса вины на Советскую Россию (1918), приведшим к принятию решения о войне с СССР в 1941 г.— с другой.

Внимание Биниона сфокусировано на проблеме функционирования бессознательного механизма психики нацистского главаря. Признавая самым сложным вопросом в интерпретации событий германской истории новейшего времени изучение ее бессознательных аспектов, автор считает необходимым привлечь для его решения новейшую аналитическую методологию, бросить новый взгляд на исторические источники и привлечь ранее слабо использовавшиеся медицинские данные. Примечательно, что именно в отсутствии синтеза психоанализа и истории и обусловленном этим невнимании к бессознательным аспектам жизнедеятельности нацистского лидера Бинион усматривает крупные пробелы известного исследования И. Феста [82].

Для выявления бессознательного механизма, определявшего отношение Гитлера к евреям и большевизму, Бинион обращается к фрейдистской концепции возрожденной детской психотравмы. Эта гипотеза Фрейда в объяснении степени и характера, равно как и самой природы влияния переживаний и травм детского возраста на психику пациента в зрелом возрасте, достаточно спорна. Но коль скоро такое влияние признается, оно должно быть верифицируемым. Другими словами, оно должно проявить себя, отражаясь в исторических источниках. В любом случае оценка психопатологии исследуемого субъекта становится проблемой изучения исторических данных, повествующих об истории его болезни.

Таковых у Биниона почти нет. Поэтому он с начала и до последних страниц своей монографии прибегает к подмене традиционных приемов доказательства бессознательного в мотивах поведения Гитлера рассуждениями, построенными лишь на собственном воображении. «Причина восточного направления завоеваний Гитлера может быть понята как акт перцепции для того, кто смотрит на вещи психоисторически: поставивший себя на место Гитлера задается вопросом, что это спроектированное восточное направление бессознательно означа-

[82] Binion R. Foam on the Hitler's..., p. 523—526.

ло для Гитлера»,— заключает он, обосновывая право на авторскую фантазию в историческом исследовании и невольно характеризуя собственный психобиографический метод. Исторический материал в построениях Бинион играет иллюстративную роль, не определяя механизма «психоисторической» процедуры [83]. Таким образом, провозглашаемый автором синтез новейшей методологии и исторических документальных данных оборачивается на деле отказом от всякого подлинно научного исторического анализа вообще.

Навязчивая тема отравления в выступлениях Гитлера является наиболее серьезным аргументом в оценке эмоциональной направленности поведения фашистского главаря [84]. Однако едва ли могут считаться убедительными рассуждения Биниона, пытающегося связать происхождение этой темы с психоразвитием Гитлера.

Автор пускается в рискованные предположения о патологическом воздействии матери на младенца, привлекая в качестве «прямого» источника только график периодичности рождения детей матери Гитлера. Смысл его рассуждений о «подсознательной» психотравме младенца в основных чертах сводится к следующему. Мать Гитлера восприняла смерть двух первых детей и четвертого по счету ребенка как наказание за незаконный, преждевременный брак (она вступила в брак, не дождавшись смерти второй жены своего супруга. При этом она состояла со своим супругом в родственных отношениях, что осуждалось церковью и традицией). Чувство вины молодой крестьянки обострялось со смертью периодически рождавшихся детей, усугубляясь тем, что бездетность грозила семейным разрывом. Поэтому ее первый выживший ребенок, сын Адольф, обладавший к тому же с рождения и серьезным физическим недостатком, скрываемым ею от окружающих, стал объектом бессознательно передававшейся ребенку психопатологии.

Трудно назвать рассуждения автора научной гипотезой, потому что сведений о матери Гитлера, относящихся к последним десятилетиям прошлого столетия, него нет. Желая сделать более убедительной свою

[83] Binion R. Hitler among the Germans..., p. XI—XII.
[84] Ibid., p. 1—35.

аргументацию, Бинион пытается показать ее психологию как социально обусловленную. При этом он ссылается на стереотипное мышление австрийского крестьянства конца прошлого века, не раскрывая, однако, его сути и истоков, а доказательства существования какой-то зависимости между таким стереотипом и психопатологией Гитлера вообще отсутствуют. Во всяком случае новоявленный поборник научной точности в историческом исследовании никаких документов на этот счет не приводит.

Основная смысловая нагрузка концепции Биниона ложится на психотравмы 1907 и 1918 гг., которые рассматриваются как усугубление патологии младенчества. Их освещение носит такой же гипотетический характер, как и рассуждения о психотравме младенчества. В 1907 г. умирает мать Гитлера в результате, как утверждает Бинион, преступных действий врача-еврея, с чем Бинион связывает зарождение у будущего «фюрера» идеи геноцида[85]. Подхватив версию об истерической природе слепоты Гитлера, выдвинутую У. Лэнгером, он к ноябрю 1918 г. относит активное проявление действия патологического по своей природе бессознательного механизма высвобождения вытесненного чувства вины за смерть матери (галлюцинации отравления). «Новаторство» современного американского «психоисторика» в данном случае состоит в том, что социально-культурную оценку политической и психологической активности Гитлера после 1918 г. он заменяет чисто психологизаторской. Если его предшественники, обращавшиеся к истории фашизма, не усматривали в отношении Гитлера к матери реальной основы для возникновения психотравмы, то Бинион бездоказательно утверждает обратное[86]. Фромм, Эриксон, Лэнгер указывали на

[85] Ibid., p. 21, 34—35. Эта идея нашла сторонников в историографии ФРГ (Штирлин) и США. Так, П. Левенберг, подвергнув сомнению факт сознательного отравления, полагает, что в данном случае со стороны члена семьи имел место перенос вины за смерть пациента на лечащего врача. См.: Loewenberg P. Psychohistorical Perspectives..., p. 241.

[86] В качестве источника, свидетельствующего о переживаниях и чувствах Гитлера, связанных со смертью матери, Бинионом привлечена только публикация воспоминаний его приятеля юношеских лет А. Кубичека, хотя содержащиеся здесь сведения он сам незадолго до выхода в свет монографии о Гитлере называл неясными и даже нелепыми. См.: Binion R. Foam on the Hitler's Wave..., p. 524.

символический характер фигуры матери в эмоциональных проявлениях нацистского главаря, причем Эриксон полагал, что использование семейных образов в выступлениях Гитлера являлось хорошо рассчитанным приемом сближения с аудиторией, так как семейная терминология обладала значительной психологической привлекательностью[87]. Бинион же придает матери Гитлера ключевую роль в психоанализе Гитлера, утверждая, что ее смерть была причиной последующих его аффектов.

Впрочем, дело даже не в том, убедительными или нет являются психоаналитические изыскания Бинионa, а в той идейно-концептуальной функции, какую они выполняют. Подменяя социальный анализ происхождения и сущности немецкого фашизма психоанализом личности его главаря, Бинион тем самым заведомо извращает существо проблемы. Ведь фашизм — явление социальное по своей природе. Оно возникло в определенных социально-исторических условиях, вследствие чего выяснение его генезиса и природы требует в первую очередь осмысления и всестороннего анализа породивших его условий. Разумеется, это не умаляет значения научного изучения жизни и деятельности фашистского главаря, позволяющего пролить дополнительный свет на историю фашистского движения, углубить понимание отдельных его аспектов, но такое изучение должно быть именно научным, мотивированно объясняющим как субъективные, так и объективные обстоятельства, обусловившие их зловещую роль. Между тем все усилия Бинионa как раз и направлены на то, чтобы затушевать эти обстоятельства. Выпячивая малосущественные в историческом плане интимные детали биографии Гитлера, к тому же произвольно истолковывая их, американский «психоисторик» наглядно демонстрирует порочность своего метода. Сводя феномен немецкого фашизма в конечном итоге к психопатологии его главаря[88], он по существу отвергает его империалистическую природу. С германского и международного империализма снимается всякая ответственность за приход нацистов к власти и их последующие злодеяния,

[87] См., например, его характеристику мифа Гитлера об отце: Erikson E. Hitler's Imagery..., p. 447.

[88] Binion R. Hitler Among the Germans..., p. 35.

что и составляет объективный идейный смысл концепции Биниона.

Целиком из фантасмагорических элементов составлена Бинионом заключительная часть его книги о Гитлере, названная автором «Лидер и ведомый народ». Именно в ней заключена реакционная сердцевина его концепции. Демонстрируя откровенное пренебрежение к материалам, собранным его предшественниками, «психоисторик» объясняет массовый характер фашистского движения действием «бессознательного травматического механизма» в психике немцев, перенесших горечь поражения 1918 г. Активной и конструктивной в истории фашизма он объявляет только личность лидера. Опираясь на психоаналитические материалы и пренебрегая историческими данными, характеризующими социальную, экономическую, культурную и духовную атмосферу Германии 1918—1945 гг., Бинион пытается объяснить приход Гитлера к власти «надломом немецкой нации», прочувствовать и спроецировать который на национальное движение лучше всех остальных лидеров удалось нацистскому фюреру, что якобы и обусловило его победу. Так, наряду с психопатологией Гитлера Бинион обращает внимание на другой фактор победы фашизма — психологическое состояние самой немецкой нации, что особенно ярко демонстрирует идейную направленность всей его концепции.

Идейная реакционность этой концепции вполне соответствует ее научной отсталости. Вопреки претензии Биниона на новаторство в науке, его исследовательский метод повторяет азы идеалистических интерпретаций истории, давно подвергающихся критике в самой буржуазной науке. В его концепции с помощью психоаналитического антуража подновляется дискредитировавший себя персоналистский подход к проблемам истории немецкого фашизма. Заявление Биниона о том, что следовало бы оценить роль и влияние континуитета психологических образцов, устоявшихся символов и стереотипов психологии немецкого общества XIX—XX вв. для освещения психологического надлома нации в 1918 г. лишь «осовременивает» субъективно-идеалистический метод и в конечном счете служит упрочению персоналистской традиции в историографии фашизма в США.

Избрав предметом исследования бессознательное

психическое Гитлера, Бинион объявляет его фактором, определявшим отношения между нацистским лидером и широкими массами немецкой нации в 1918—1945 гг. Следуя классической фрейдистской формулировке массовой психологии, американский «психоисторик» объясняет приход нацистов к власти и их господство в течение более чем десятилетия в одной из развитых капиталистических стран удавшейся апелляцией вождя-невротика к массе сограждан[89].

В концепции Биниона тезис о способности психоаналитического метода к адекватной оценке как индивидуальной, так и социальной психологии фашизма не реализуется. Вместе с тем интуитивизм психоаналитического историзма служит «психоисторику» основанием идеалистического решения гносеологических проблем истории. В качестве главного инструмента исторического познания он привлекает собственное подсознание, утверждая за исследователем право подчинять своему воображению всю совокупность документальных данных, историко-научных процедур отбора и оценки фактического материала и методов исследования прошлого. Преувеличение возможностей исследователя, обусловившее произвол в обращении с историческими данными субъективного и объективного характера, является одним из наиболее ярких проявлений исторического идеализма в историческом познании в современной американской «психоистории», свидетельством необоснованности претензии ее приверженцев на научную точность своих исследований.

Попытка сциентизации Биниона разработки проблем немецкого фашизма свидетельствует о важной черте «психоистории» вопроса, заключающейся в претензии научно оценить его бессознательные, иррациональные аспекты. Нельзя, однако, не видеть научной несостоятельности этих претензий, обусловленной коренными идейно-методологическими пороками самого «психоисторического» подхода, утвердившегося в современной американской историографии. Творчество Биниона — явное тому свидетельство.

[89] Объяснение Биниона перекликается с высказываниями Л. Снайдера и Р. Пейна, не применяющими, правда, психоаналитической аргументации.

Социальный смысл «психоисторических» идей Бинионa близок по духу психоаналитическим изысканиям Уайта и заключается, как было показано выше, в отрицании империалистической природы фашизма. Взгляды «психоисториков», независимо от различий в использовании ими психоаналитических теорий и методов, органично вплетаются в современные персоналистские интерпретации в американской историографии немецкого фашизма. Они пытаются с помощью «новейших» методов подкрепить давно дискредитировавший себя взгляд на историческую личность как творца истории и, следовательно, главный объект исторического объяснения. «К удивлению всего мира, смерть Гитлера положила действительный конец нацизму. Без его настоящего лидера он лопнул, как мыльный пузырь», — утверждает Дж. Толанд[90], подводя читателя к мысли о единоличной ответственности Гитлера за фашизм, а вместе с тем убеждая, что фашизм остался в безвозвратном прошлом и никак не связан с самой природой империализма. Восхваляя нацистского главаря, наделяя его громкими эпитетами наиболее выдающейся личности XX в., персоналистские объяснения американскими исследователями истории фашизма искажают его подлинную природу. Затушевывая социально-исторические условия возникновения и развития фашизма, извращая его классовую сущность, современные буржуазные историки сознательно фальсифицируют прошлое в угоду империалистической реакции. Свой вклад в это неблаговидное занятие вносят и «психоисторики», пытаясь своими специфическими средствами подновить обветшалые догмы.

3. Интеграционистские трактовки немецкого фашизма

Современное состояние американской «психоистории» немецкого фашизма характеризуются преобладанием в ней интеграционистского течения. Его ведущие представители, сознавая явную недостаточность изучения нацизма с помощью одних только психоаналитиче-

[90] Toland J. Adolf Hitler. N. Y., 1976, p. 892.

ских категорий, пытаются дополнить их методами историко-социального исследования, добиваясь органического единства психо- и социоанализа. В какой мере эти усилия способны преодолеть научную и идейную порочность фрейдистской интерпретации фашизма и открыть новые пути в его изучении? Следует сразу же подчеркнуть, что интеграционисты, как мы убедились на примере Г. Дикса, отнюдь не отказываются от истолкования истории фашизма с позиций доктрины тоталитаризма. Более того, в целом ряде их произведений эта доктрина получает свое дальнейшее развитие и находит достаточно гибкое применение.

Наиболее характерным представителем интеграционистского течения в современной американской «психоистории» вопроса является П. Левенберг — профессор истории Калифорнийского университета, член редакционной коллегии «психоисторического» журнала «Джорнел оф Психохистори». Его работы особенно интересны для нас тем, что в них наряду с конкретными «психоисторическими» изысканиями содержатся принципиальные теоретические соображения о путях психоаналитического изучения истории немецкого фашизма, что позволяет наиболее рельефно и разносторонне представить претензии интеграционистов и одновременно проследить, насколько эффективно и последовательно они реализуются в их собственной исследовательской практике.

Прогнозируя возможности такого изучения, Левенберг оптимистически оценивает его будущее. Основание для своего оптимизма он видит в бурном росте «психоистории» в 60—70-е гг. и, в особенности в наметившейся интеграции психоаналитических теорий, методов и наблюдений с социальным анализом фашизма. Левенберг формулирует фундаментальный интеграционистский подход к исследованию исторического прошлого, который предполагает широкое обращение психоисториков к социально-историческому анализу, призванному дополнить собственно клинические методы, с которыми они работают[91]. Сразу же, однако, отметим, что в постулируемом методологическом синтезе решающее место отводится

[91] См: Loewenberg P. Psychohistory.—In: The Past before Us..., p. 408.

все тому же психоанализу, что становится особенно явственным, когда Левенберг обращается непосредственно к истории немецкого фашизма.

Весьма показательна в этом плане уже сама исходная посылка американского автора. По его убеждению, история нацизма вызывает научный интерес прежде всего как феномен, демонстрирующий иррациональность современной истории. Соответственно этому он считает психоанализ важнейшим методом ее изучения. Несовершенство существующих теорий фашизма он усматривает в их неспособности оценить роль и значение бессознательных аспектов истории нацизма в силу недооценки ими существования таковых в исторической действительности и неспособности учесть влияние бессознательных аспектов познавательной деятельности самих исследователей [92]. Постулируя необходимость взвешенной оценки эмоциональных и бессознательных мотивов поступков и действий исторической личности, а также социальных групп, «психоисторик» обращается к категориям и понятиям психоанализа как инструменту их точного познания [93].

Не ограничиваясь провозглашением принципов «психоисторического» исследования фашизма, Левенберг стремится к последовательному воплощению их в собственных исследованиях. Для характеристики целей, которые он при этом перед собой ставит, является показательным его обещание доказать существование бессознательных основ в мотивах поведения одного из нацистских лидеров (Гиммлера), а также в истории нацистского молодежного движения в Веймарской Германии, кроме того, очертить их сферы проявления в индивидуальной и массовой психологии нацизма путем синтеза психо- и социоанализа медицинских и исторических источников [94]. Естественно, что формулируемые та-

[92] Loewenberg P. Psychohistorical Perspectives..., p. 229–232.

[93] Loewenberg P. Psychohistorical Perspectives..., p. 229. О научной функции психоанализа в изучении истории см.: Loewenberg P. Why psychoanalysis needs social scientist and the historian.—International Review of Psychoanalysys, 1977, vol. 4, № 3, p. 305, 307.

[94] Loewenberg P. The Unsuccessful Adolescence of Heinrich Himmler.—The American Historical Review, 1971, vol. 76, № 3, p. 612–641; Idem. The Psychohistorical Origins of the Nazi Youth Cohort.—The American Nistorical Review, 1971, vol. 76, № 5, p. 1457—1502.

ким образом цели требуют для их реализации соответствующих средств, совокупность которых и составляет исследовательский метод «психоисторика»-интеграциониста.

Следует признать, что метод Левенберга приносит определенные результаты, бесспорно расширяя источниковую базу исследования. Так, привлекая социологические материалы, переписку и литературные источники, Левенберг поднимает такие существенные аспекты изучения немецкой молодежи, как вопрос о влиянии голода, лишений и болезней на эмоциональное развитие немецкой молодежи первых десятилетий XX в.[95] Заслуживает внимания постановка вопроса о роли художественной литературы как источника для изучения эмоционального состояния этого поколения молодых немцев. «Богатейшим источником для выражения переживаний молодых немцев в течение войны и послевоенных лет является (художественная) литература того времени... Иногда создаваемый художником образ может схватить для историка суть переживаний, эмоциональная сложность которых не может быть передана статистикой или количественными данными»,— пишет Левенберг, приводя литературные свидетельства острых переживаний детей и молодежи тех лет[96].

Однако возникает вопрос, в какой мере собственно психоаналитические категории и методы, используемые «психоисториками»-интеграционистами, способствуют реализации позитивной программы объяснения истории немецкого фашизма. Рассматривая под этим углом зрения работы Левенберга, мы вынуждены признать его несостоятельность в главном — в осмыслении природы фашизма. Прежде всего, вследствие пронизывающего его биологизма, составляющего своеобразную доминанту всего авторского подхода к этой проблематике. Если в работах Э. Фромма и некоторых современных «психоисториков», например последней совместной монографии Д. Крена и Л. Раппопорта, психоанализ подчиняется социально-историческому изучению немецкого фашизма, то Левенберг зачастую игнорирует социальную природу индивидуальной и массовой психологии

[95] Loewenberg P. The Psychohistorical Origins..., p. 1475—1483—1484, 1492—1497, 1499.
[96] Ibid., p. 1492.

нацизма в угоду ее биологизаторской интерпретации

Так, в своем очерке о Гиммлере он преследует чисто описательную цель проследить «эмоциональную связь и внутреннюю последовательность» поступков Гиммлера в юности, опираясь на психоаналитическую интерпретацию юношеского дневника будущего нацистского иерарха как исторический источник. Важным подспорьем послужила монография Б. Смита, в которой приводятся записи из дневника Гиммлера, характеризующие изрядную примитивность мышления и ничтожность его автора как личности [97]. Но если Смит оперирует дневниковыми данными для оценки эмоционального состояния их автора в момент написания этих записей, то Левенберг ищет в них только свидетельства психологических комплексов, перечисление которых уместно разве что в истории болезни и из которых читателю невозможно составить цельный портрет молодого баварца, ставшего впоследствии одним из самых зловещих нацистских преступников.

В каталоге психологических отклонений Гиммлера предлагаемом Левенбергом, психоаналитический диагноз имеет сильную биологическую и в первую очередь сексуальную окраску. Вызывает возражение уже сам способ выведения психологических отклонений. Так, на основании оценки одной лишь строчки дневника, без сколько-нибудь подробного освещения событий личной и общественной жизни его автора, в то время девятнадцатилетнего несостоявшегося офицера рейхсвера, Левенберг утверждает, «что агрессия и враждебность были эротизированы в Гиммлере в духе послевоенного немецкого национализма, который являлся особенно сильным среди молодых ветеранов войны» [98]. В данно

[97] См.: Loewenberg P. The Unsuccessful Adolescence. p. 613.

[98] Ibid, p. 622. Вывод автора шире содержания анализируемым тирады бывшего кадета, запечатленной в его дневнике в нояб 1919 г. и дословно приводимой Левенбергом: «Я не хочу быть сл бым, потерять контроль над собой. Я мог бы сражаться на зойне течение нескольких лет и я хочу воевать за Освобождение и взва на себя любые невзгоды, пока смогу пошевелить хоть частицей ' ла» (Ibidem). Необоснованной является и оценка выбора Гиммлер профессии агронома после окончания войны, мотивы которого не вестны, но Левенбергом объясняются «эротическим смещением ухаживание за животными и любовь к ним». Ibid, p. 623. Ср Smith B. Heinrich Himmler..., p. 69.

лучае очевидно стремление «психоисторика» найти моциональному проявлению национализма будущего ацистского главаря биологическое, а именно сексуаль-ое объяснение на недостаточной и, как представляет-, ошибочной основе. Более аргументированный анализ ого периода жизни Гиммлера мы находим у Смита, мечавшего большую роль общественных идеалов, формированных семейным воспитанием и социальной бстановкой тех лет. Тогда как Смит делает попытку оссоздания картины эволюции эмоциональной жизни удущего нацистского иерарха в детстве и в юности на олее или менее широком социальном фоне и с этих озиций обращается к описанию процесса ломки и пе-осмысления юношеских идеалов и представлений имммлера, Левенберг концентрирует свои усилия только а изображении сугубо внутренних коллизий его био-афии.

Недаром основное внимание он уделяет дневнико-ым записям 1919—1922 гг., обнаруживающим ломку формировавшихся у молодого человека в религиозной иновничьей семье представлений об окружающем мире. пираясь на эти записи, Левенберг формулирует широ-ий ассортимент комплексов обычной юношеской психо-атологии, усматривая их в поведении и характере удущего рейхсфюрера СС. Здесь и идентификация, ходящая, однако, как считает «психоисторик», до на-зчивых состояний, с отцом, а затем с папой римским позже с Гитлером, и расстройство временной перспек-вы, кризис идентичности в сочетании с поведением в мках «одержимо-обязательного» характера, и ряд авнительно более мелких аномалий, таких, например, к комплекс псевдомужской роли, характеризующийся ношением к девушкам с позиций ненормального аске-изма и сексуального контроля над собой, выработка вства превосходства над ними, доходящего до са-зма и разрушительности, отождествление мужской ли с военными занятиями (дуэль и война — частые мы в рассуждениях о роли мужчины у Гиммлера).

Не отвергая необходимость психологической харак-ристики Гиммлера, обладающего несомненными нев-стеническими чертами, следует остановиться на спе-фике их оценки в работе Левенберга. «Используя ошеский дневник в качестве источника, я попытаюсь

показать, как психоаналитическая теория и клиническая практика могут быть использованы для демонстрации внутреннего состояния личности и эмоциональных связей между юношеским и зрелым возрастом Гиммлера» — так формулирует «психоисторик» основную задачу своего исследования [99]. Совершенно определенно можно говорить о том, что в работе Левенберга изображение основных черт характера, интересов и направленности запросов Гиммлера осуществляется с профессиональных позиций врача-психоаналитика. Рассуждая об инстинктивно-сексуальной сфере мотивов поведения Гиммлера и ограничивая их интерпретацией его психоанализ, Левенберг легко избегает трактовки социальных и общественно-политических идеалов и фантазий нацистского преступника, свидетельствующих, как на это указывают записи из его дневника, о близости молодого Гиммлера к махровой контрреволюции в Германии начала 20-х гг., вскрывающих их реакционную классовую природу. Так, оценка участия Гиммлера в «пивном путче» в работе Левенберга приняла форму сознательного уклонения от освещения социального аспекта политической деятельности Гиммлера: этим фактам биографии нацистского преступника он не дает сколько-нибудь подробного объяснения, поскольку они, по его уверению, слишком очевидно демонстрируют «прямую кровожадность юноши» [100].

Более полно Левенберг учитывает социальные факторы в статье о массовом нацистском молодежном движении. Но и в этой статье он подчиняет их анализ психологическому анализу изучаемого объекта. Как и в исследовании индивидуальной психологии, он в анализе массовой психологии нацизма пытается выявить конфликтные формы ее бессознательных аспектов. Левенберг вновь обращается к психопатологии нацизма поэтому в очерке о «психоисторических корнях» поколения молодых немцев 1900—1915 гг. рождения американский историк ищет элементы психологической патологии. Основной темой его исследования массовой психологии нацистской молодежи избрано изучение «...развития характера, особенно в раннем детстве, и

[99] Loewenberg P. Unsuccessful Adolescence..., p. 614.
[100] Ibid, p. 637.

исследование тех общих переживаний детства, связанных с психосексуальным развитием и политической социализацией, которые привели к сходным фиксациям и отклонениям в зрелом возрасте»[101].

Психоанализ нацистского молодежного движения Левенберг дополняет «поколенческим подходом» к его изучению, впервые сформулированным К. Мангеймом и получившим широкое распространение в современном западном обществознании[102]. Утверждая, что изучение специфического исторического события должно быть сплавом исследования возрастной специфики поколения, анализируемой социологической демографией, особенностей психологического развития, раскрываемых психоанализом, описанием детской социализации, Левенберг пытается представить приход германского фашизма к власти следствием специфического психологического развития поколения немецкой молодежи, пережившего войну. «Война, послевоенные испытания детей и молодежи периода первой мировой войны явно обусловили,— считает он,— природу и успех национал-социализма. Новые взрослые, которые стали политически эффективны после 1929 г. и пополнили ряды СА и других полувоенных партийных организаций, таких как Гитлерюгенд и Немецкий союз Моделя, были детьми, которые социализировались в годы первой мировой войны»[103].

Таким образом, хотя было бы несправедливо утверждать, что в своем анализе Левенберг совершенно элиминируется от социальной почвы, на которой вырос немецкий фашизм, все же главные акценты вполне очевидно делаются на био-психологических фактах. Декларируемый им сплав на деле оборачивается подчинением истории психиатрии, с позиций которой американский «психоисторик» и освещает эмоциональное состояние поколения молодых немцев с тем, чтобы проследить влияние первой мировой войны и послевоенных испыта-

---

[101] Loewenberg P. The Psychohistorical Origins..., p. 1458.

[102] Подробнее об этом см.: Решетов П. Н. «Поколенческий подход» в исследованиях молодежи в капиталистических странах.— В кн.: Актуальные вопросы историографии международного молодежного движения. М., 1977, с. 243—250.

[103] Loewenberg P. The Psychohistorical Origins..., p. 1458.

ний на формирование устойчивых психологических признаков, присущих нацистской молодежи.

Оценка травмирующих психику детей и юношества обстоятельств военной и послевоенной жизни Германии, конечно, имеет право на существование при восстановлении истории молодежного движения Германии тех лет. Не менее очевидно, однако, и другое. Выводы Левенберга далеко не адекватны тому фактическому материалу, который содержится в используемых им источниках. Поставив вопрос о травмирующем влиянии первой мировой войны и ее последствий на молодое поколение Германии, «психоисторик» утверждает, что эти события сформировали устойчивый характер нового поколения, отмеченный повышенной агрессивностью, гневом, приобретающим разрушительные формы, садизмом, слабой индивидуальностью, что обеспечило подчинение молодых немцев тоталитарному лидеру. Однако, во-первых, эти утверждения Левенберг пытается аргументировать психоаналитическими свидетельствами более поздних источников, к тому же подчас не немецкого происхождения. Так, настаивая на тезисе о том, что эмоциональное состояние в детстве является решающим для будущего психологического здоровья, эмоционально-нормальной жизни в последующие годы, он ссылается на психологические свидетельства преимущественно американских и английских авторов, использующих собственные национальные материалы. Здесь и влияние войны на формирование ожесточенного, психологически травмированного ребенка, подверженного действию разрушительных фантазий, протекающих в острых формах, по материалам наблюдений английских детей, оторванных от семьи в годы второй мировой войны [104], и характеристики эмоциональной атмосферы в современных неполных и разрушенных семьях [105], и т. п. Конечно же, подобные материалы не могут служить достаточным

[104] Ibid., p. 1490.

[105] Ibid., p. 1481—1483, 1485. Подчеркнутый антиисторизм исследовательского метода Левенберга нашел свое яркое выражение и в том, что психоаналитическое изучение массовой психологии нацизма проводится не только вне конкретно-временных, но и вне конкретно-пространственных рамок. «Психоисторик» не обращается к истории нацистского молодежного движения в региональном плане, не рассматривает даже какой-либо отдельной нацистской молодежной организации.

основанием для характеристики эмоционального состояния нацистской молодежи.

Во-вторых, и это главное, является научно несостоятельной сама попытка предлагаемыми Левенбергом средствами решать такую социально-историческую проблему, как становление фашизма в Германии. Апелляция к категориям социальной психиатрии может, конечно, «расцветить» теми или иными деталями общую картину воссоздаваемого исторического явления, помочь, в частности, лучше понять сопутствующую ему психологическую атмосферу, но объяснить его, преимущественно ориентируясь на эти категории, невозможно. О порочности «психоисторического» метода Левенберга наглядно свидетельствует уже тот неоспоримый факт, что в Германии 20 — начала 30-х гг., как и во всяком классово-антагонистическом обществе, не было и не могло быть единой по своим ценностным установкам молодежи. Одна и та же историческая действительность порождала у различных социальных групп молодых немцев различные стереотипы мышления и поведения, что и привело к тому, что представители молодого поколения Германии в 20 — начале 30-х гг. оказались по разные стороны баррикад. Известно, что в классовых схватках в Германии непосредственно перед приходом нацистов к власти многочисленный отряд немецкой молодежи выступал на стороне социал-демократов, факт, упоминаемый Левенбергом, но оставленный без объяснения [106]. Мы уже не говорим о героически боровшейся против фашизма коммунистической молодежи, объединенной в рядах немецкого комсомола [107].

[106] Ссылаясь на работы американских авторов, Левенберг отметил, что в 1930 г. среди социал-демократов немногим менее половины составляли люди в возрасте до 40 лет (из них почти 8% — до 25 лет) и в 1931 г. 19,3% — в возрасте от 18 до 30 лет (Ibid., p. 1470—1471).

[107] Как указывает В. Фридрих, Коммунистический союз молодежи Германии в 20-е гг. объединял десятки тысяч молодых людей. (Критика буржуазных теорий молодежи. М., 1982, с. 38. См. также: Привалов В. В. Комсомол Германии в борьбе с фашизмом.— В кн.: Единство, рожденное в борьбе. Л., 1976, с. 44—62; Он же. Коммунистический интернационал молодежи. М., 1979, с. 163.) В начале 30-х гг. отмечается также омоложение рядов КПГ. (Geschichte der Deutschen Arberterbewegung. Berlin, 1968, S. 166). Всего на выборах в рейхстаг 31 июля 1932 г. за партию коммунистов проголосовали 5,4 млн. человек и в их числе, очевидно, и значительная часть молодежи. (Ibid., S. 158.)

Внеклассовый характер используемой Левенбергом категории «поколение» не только сделал невозможным классовый анализ обстоятельств, вызвавших победу нацизма в Германии, но обусловил несостоятельность и собственно психологического анализа. Ведь он исключает возможность адекватной исторической характеристики социальной психологии представителей различных социальных слоев в рассматриваемом поколении, уводит от оценки социальной и культурной атмосферы в семьях представителей различных общественных классов, принадлежавших к одному и тому же поколению, роли и значения разнузданной пропаганды и организационной деятельности немецких фашистов в деле отравления сознания молодых немцев.

И наконец, мы не можем не учитывать идейный смысл изысканий Левенберга. По существу, его «психоисторический» метод направлен против положения о генетической связи фашизма и монополистического капитализма. В этом плане обращает на себя внимание настойчивое стремление американского «психоисторика» вообще отрицать буржуазную природу фашизма. Свидетельство тому — утверждение о принадлежности фашизма к «докапиталистическим крестьянским обществам»[108]. Не менее удивительным является содержащийся здесь же призыв Левенберга идти в изучении нацизма по пути поиска различий между «...фашизмом и правыми, нацизмом (выделено нами.— *Авт.*), национализмом и антисемитизмом»[109], что означает на деле подчеркнутый отказ от изучения этого явления в его социально-исторической целостности.

Следует, однако, признать, что в рамках интеграционистского течения в буржуазной «психоистории» имеют место и более реалистические интерпретации немецкого фашизма. Они отличаются выраженным стремлением их авторов дать психоаналитическую характеристику индивидуальной и массовой психологии фашизма на более или менее широком социальном фоне. Показательными в этом отношении являются работы Б. Смита и Г. Дикса.

Б. Смит, сотрудник Гуверовского института войны и

[108] The Journal of Modern History, 1969, vol. 41, № 3, p. 370
[109] Ibidem.

мира, хорошо известен среди «психоисториков» как мастер психобиографии нацистских главарей [110]. В своей книге о Гиммлере Смит использует материалы и документы о нацистском иерархе, хранящиеся в архивах этого института, а также в крупнейших книгохранилищах США. Написанная на документальной основе, она существенно отличается от сочинения Левенберга на аналогичную тему широкой эмпирической базой, последовательным проведением принципа позитивистского детерминизма, нацеливающим на исследование только прямых свидетельств и причинно-следственных связей.

Характеристикой эмоционально-волевой сферы жизнедеятельности молодого Гиммлера, полученной с помощью психоанализа, Смит дополняет историко-биографический анализ жизнедеятельности будущего рейхсфюрера СС. В ней американский «психоисторик» учитывает роль идеалов, сформированных воспитанием в патриархальной чиновничьей семье, консервативным ближайшим окружением Гиммлера в детстве, юности и молодости. Изучение документальных источников позволило автору осветить отдельные факты биографии молодого Гиммлера, о чем свидетельствует уже само построение его исследования не по периодам проявления тех или иных психологических состояний изучаемого субъекта, как это делает Левенберг, а по основным фактам его биографии [111].

Оценка влияния окружающей действительности и формирование социальной роли — важная тема социально-психологического исследования нацистской психологии, проведенного Диксом. Профессор-психиатр, Дикс исследует личные качества немецких нацистов, функционеров гестапо и служб СС, привлекая традиционные методы психологического описания. Он избрал метод практического психиатрического обследования нацистов, который обнаруживает известную плодотворность в описании психологии нацистов, так как основывается на использовании источников, имеющих определенную научную ценность: интервью с осужденными

---

[110] См.: Smith B. F. Adolf Hitler: His Family, Childhood and Youth. Stanford, 1968. 180 p.; Idem. Heinrich Himmler: A Nazi in a Making. 1900—1926. Stanford, 1971. 211 p.

[111] Smith B. Heinrich Himmler..., p. 35—168.

нацистами и их непосредственное наблюдение, материалы опросов военнопленных периода второй мировой войны и др. Широко используя психоаналитические категории, Дикс целью своей монографии объявляет раскрытие факторов, способствовавших превращению субъектов, приобщившихся к активной деятельности в террористических организациях НСДАП, в убийц беззащитных людей [112].

Дикс обращается к распространенной форме «психоисторического» источника — жизнеописанию. Жизнеописания осужденных нацистов, ставших объектом его исследования, позволили ему сделать вывод о том, что в подавляющей массе люди, совершавшие злодеяния на территории Германии и оккупированных стран, были физически здоровыми, без явных черт психопатологии. Заметной чертой их психологического состояния Дикс считает присущее им чувство подчиненности. С помощью психоаналитических категорий он описывает эмоциональные проявления подчиненности изучаемых им бывших сотрудников политической полиции, персонала концлагерей из частей СС, сотрудников СД, партийных функционеров среднего ранга. Заостряя внимание на способности своих пациентов к совершению убийства, Дикс связывает ее со степенью подавления внутрипсихической реакции (почти все пациенты Дикса испытывали, по их словам, отвращение к своему занятию), с одной стороны, и силой внешней мотивации к совершению убийства — с другой. Последняя обретала у нацистов характер решающего фактора, считает он, оценивая тем самым роль социального окружения в формировании их психологии. Важную роль при этом он отводит нацистской пропаганде, подчеркивая, что она способствовала развитию психологической предрасположенности к совершению различных актов жестокости, преступлений [113].

Поскольку Дикс обследовал не творцов политики нацистского геноцида, а ее исполнителей, он заостряет внимание на характеристике механизмов подчинения и через них описывает процесс формирования социального поведения военных преступников. Так, в его наблю-

[112] Dicks H. V. Liscenced Mass Murder..., p. 17—18.

[113] Ibid., p. 247.

дениях содержатся описания форм психологического распада личности вплоть до обретения ею статуса убийцы путем эволюции консервативно мыслящих немцев от безучастного восприятия террористической практики нацизма к стереотипам страха за личное благополучие, затем опустошенности перед необходимостью выбора социальной позиции, и наконец, измене прежним идеалам человеколюбия путем мистического восприятия врагов нацизма, наделения их порочными чертами, обвинениями в слабости, сенильности, аморальности и т. д., что обусловливает механическое высвобождение смертоносной жестокости как защитной реакции на это мистическое восприятие [114].

Таким образом, работы исследователей-интеграционистов содержат попытки взвешенной оценки исторических свидетельств, характеризующих немецкий фашизм, учета (в большей или меньшей степени в подобном описании) социальных условий его функционирования. Однако в какой мере они способны дать его адекватное объяснение как социально-исторического феномена?

В упомянутой выше работе Смита отчетливо прослеживается стремление автора соединить психоаналитическое исследование детства и юности Гиммлера с требованиями классического историко-биографического описания. Например, родословная Гиммлера используется им для воссоздания духовной атмосферы в семье будущего нацистского преступника, а воссозданию этико-религиозных идей и предрассудков семьи южно-германского чиновника среднего ранга дано предпочтение перед манипуляциями с графиками веса младенцев, периодичности рождений в семье, сведениями о характере кормления ребенка и прочими новациями психоаналитиков, используемыми «психоисториками» ортодоксальной фрейдистской ориентации. Мир взрослых оказал решающее влияние на становление и развитие характера ребенка — эту мысль проводит автор в первых двух главах книги, посвященных детству Гиммлера [115]. В этом ключе ведется описание ранней юности будущего нациста. Здесь впервые звучит, постепенно вытесняя все остальное, тема войны.

---

[114] Ibid., p. 43—44, 253—256.

[115] Smith B. Heinrich Himmler..., p. 8—34.

Обращение к психоанализу Гиммлера осуществляется Смитом в связи с оценкой его психики в переходный возраст в третьей главе исследования. В изучении этого периода историко-биографический анализ уступает место психологическому изучению эмоционально-волевой сферы психики Гиммлера для определения мотивации тех поступков, которые получили отражение в его дневнике. Примечательно, что начиная с этой главы Смит опирается главным образом на дневниковые записи и переписку Гиммлера [116].

Смена методики исследования биографии нацистского вождя не случайна. Опора на единичный источник высокой степени субъективности, каким является дневник молодого человека, закономерно приводит исследователя к предпочтению анализа индивидуального в личности над социальным в ней. Поведение автора дневника описывается через призму его мироощущения, поэтому «психоисторик» преимущественное внимание уделяет трактовке двух тем: интимным переживаниям и военным фантазиям Гиммлера.

Многое ли может объяснить в истории фашизма такое историко-биографическое исследование? Не в описании третьестепенных подробностей, но в анализе его существенных аспектов, т. е. именно в том, в чем биография нацистского преступника является важной для историка, заключается действительное значение биографического жанра в историографии вопроса. Примером удачного использования биографического жанра в изучении фашизма может служить цитировавшаяся книга Д. Е. Мельникова и Л. Б. Черной. Проблема роли личности Гитлера в истории фашизма в Германии решается ее авторами через выявление индивидуального и социального в жизнедеятельности нацистского преступника № 1. Опираясь на массу фактов, они показали, что феномен Гитлера и гитлеризма был обусловлен в первую очередь социально-политическими, а не личностными факторами. Социальным силам, которые выдвинули его, был нужен именно такой тип политика-преступника. Главной опорой Гитлера была влиятельная часть германского монополистического капитала, его поддержала германская военщина, стре-

[116] Ibid., p. 35—168.

мившаяся к установлению господства над Европой.

Фашизм вырос в атмосфере антидемократических и националистических предрассудков, присущих консервативным слоям населения Германии. Катализатором его роста была первая мировая война. Значительное влияние на его вызревание оказали нищета и бедствия, постигшие широкие массы в Германии в 20—30-х гг., когда мелкобуржуазные слои населения Германии искали спасение в нацистском «сильном» государстве.

Доминирующий психологизм «психоисторического» исследования, предпринимаемого с интеграционистских позиций, неизбежно уменьшает познавательную ценность историко-биографического метода. Изучение малозначительных подробностей жизнедеятельности нацистских лидеров в принципе не может дать ответ на глобальные проблемы истории фашизма. В своеобразной форме это вынуждены признать сами интеграционисты. Так, Смит констатирует: «...Прямого ответа на вопрос о переходе СС к политике геноцида в детстве и юности Гиммлера мы не найдем»[117]. Тем самым автор по существу расписывается в несостоятельности собственного метода, оказавшегося непригодным для ответа на один из ключевых вопросов истории фашизма.

Субъективизм современных исследований массовой психологии нацизма с позиций интеграционизма, принижение значения принципов социально-психологического исследования, сформулированных родоначальниками психоаналитических интерпретаций фашизма, приводят не только к сужению сферы приложения психологического анализа к изучению истории немецкого фашизма и неспособности к широким социально-историческим обобщениям, но и к грубым просчетам в конкретных исследованиях проблемы. Для примера обратимся к объемистому фолианту профессора политических наук Калифорнийского университета П. Меркля «Политическое насилие под знаком свастики», в котором оценка массовой базы нацизма дается с позиций «психоисторического» интеграционизма. Меркль пытается совместить статистический анализ массовых источников из архива профессора Т. Абеля[118] с психоанали-

---

[117] Ibid., p. 170—171.

[118] Американскому профессору Т. Абелю удалось через ведомст-

зом их содержания. Используемые им источники имеют определенную ценность, но порочной является сама методология их использования. На основе изучения более 500 автобиографий первых нацистов Меркль анализирует политические настроения их авторов с учетом их социального положения, профессиональной занятости и других параметров. Полагая, что подобный анализ позволит объяснить природу и сущность немецкого фашизма, он вычленяет наиболее важные для нацистов темы их автобиографий — поражение в первой мировой войне, его последствия и революция в Германии — и считает эти события главными в объяснении причин происхождения и успехов нацистского движения. Но уже для Фромма представлялся очевидным факт подмены реально тревожащих моментов психологии первых нацистов — ухудшения их экономического положения и падения социального престижа — иллюзорными мотивами «национального поражения»[119].

Большое внимание Меркль уделяет молодежному экстремизму в раннем нацизме, указывая в заключение на актуальность этой темы в связи с обострением молодежной проблемы на Западе и вскрывая в определенной степени идейный смысл своего подхода к проблеме фашизма. В этой связи следует обратить внимание на попытку автора обосновать оценку фашистского движения как движения широких масс в Германии, возбужденного психологическими конфликтами юношеского типа. «Это был политический молодежный бунт, который давал порожденному войной движению неослабевающую поддержку вплоть до его триумфа в 1933 г. Мы предприняли попытку проследить процесс политизации в ранние годы молодых корреспондентов и классифицировать политические позиции молодежи и ее активность. Мы также предложили теорию экстремистского отклонения и идентичности, которая помогает разрешить некоторые парадоксы самосознания молодого экстремиста и его схватки с окружающим миром», — заявляет он, оценивая свой вклад в проблему молодеж-

---

во Геббельса собрать в 1933—1934 гг. значительное количество автобиографий первых нацистов. Часть из них он использовал при написании своей книги о фашизме. См.: Abel T. Why Hitler Came to Power. Engelwood Cliffs, 1965. 320 p.

[119] См.: Fromm E. Escape from Freedom..., p. 240—241.

ного экстремизма, и добавляет, характеризуя причины активизации нацистского молодежного движения: «Политически милитаризованная молодежь с некоторой помощью со стороны раздраженно настроенных военных и полная ее политизация — ключ нашего понимания политического молодежного бунта в Веймарской республике. Любой отчет о раннем нацистском движении не будет полным без объяснения роли молодежи и ее национально-патриотического воспитания в духе идеологии коричневых орд» [120].

«Психоисторик» полагает, что в условиях общенационального кризиса психология молодежи сама по себе является деструктивным фактором. В концептуальных построениях Меркля характеристика этой психологии предстает важным аргументом самопроизвольности возникновения фашизма в условиях послевоенной политизации общественной жизни Германии. Тем самым объективно осуществляется перенос ответственности за фашизм на широкие массы, в особенности на молодежь. Корни первой мировой войны были психологическими, утверждает Меркль [121]. В психологии широких масс в Германии он склонен искать и истоки фашизма. Описывая мотивы поведения первых нацистов, прибегнув к статистическим группировкам по психоаналитическим признакам, американский автор называет связанный с поражением Германии в первой мировой войне и революцией 1918—1919 гг. упадок морально-психологического состояния широких слоев населения Германии «более убедительным источником» объяснения фашизма, чем социально-экономическая его интерпретация. Он утверждает: «Если бы не было первой войны, или она не была бы проиграна, эти мужчины и женщины никогда бы не устремились в контрреволюционные и экстремистские движения, подобные НСДАП», — и считает это частное положение достаточ-

---

[120] Merkl P. Political Violence..., p. 711—712. «Свидетельства в пользу конфликта поколений как одного из значительных факторов мотивации различных фашистских движений в целом кажутся действительно убедительными»,— утверждает Меркль в другой работе. Цит. по: Payne S. G. Fascism: Comparison and Definition. Madison, 1980, p. 184.

[121] Merkle P. H. German Foreign Policies: West and East. Santa Barbara, 1974, p. 73—74.

ным основанием для отказа от социально-экономического анализа феномена фашизма в целом [122].

Прямо не отрицая необходимости социально-исторической интерпретации фашизма, Меркль тем не менее выражает сомнение в возможностях социального анализа в объяснении сути нацистского движения, рассматривая последний лишь как вспомогательное средство исторического объяснения. «Социальная динамика нацистского движения... не способна дать исчерпывающее объяснение его возникновения как политического направления, хотя она может пролить свет на многие детали (выделено нами.—*Авт.*) социальной истории»— таково заключение «психоисторика», объективно нацеленное против марксистского подхода к истории фашизма [123]. Впрочем, как видно из работ Меркля, он с марксистской историографией проблемы в действительности просто незнаком: ссылок на современные марксистские исследования по фашизму его книги не содержат, а среди американских авторов марксистами называются Ф. Нойман и Э. Фромм. Бездоказательно отождествляя их интерпретации фашизма с марксистским подходом к истории проблемы, Меркль однозначно отрицательно оценивает попытки этих авторов сочетать в ее изучении социально-классовый анализ и психоанализ.

Такая методологическая ориентация «психоисторика» не только обусловливает его неспособность дать адекватную оценку фашизму, но и объясняет, почему, несмотря на постулируемые поиски нового интеграционистского подхода, их результаты оказались ниже уровня, достигнутого «психоисторией» фашизма в трудах его родоначальников. Отвергнутыми оказались не только принципы субординации социального и психологического анализа в исследовании фашизма, выдвинутые еще Э. Фроммом, но и антимонополистические, подлинно демократические выводы, содержащиеся в трудах родоначальников «психоистории» фашизма.

Принципы псевдоинтегрального подхода Меркля к исследуемой проблеме, подразумевающие полное подчи-

[122] Merkl P. Political Violence..., p. 711.

[123] Ibid., p. 37, 711; Merkl P. Political Continuity and Change. N. Y., 1965, p. 496.

нение социального анализа психологическому, находят соответствующее преломление в методике его «психоисторического» исследования, в ее ярко выраженном субъективизме. Отказываясь от социально-классового анализа объекта исследования, «психоисторик» ограничивается исключительно некритическим использованием автобиографии нацистов. Он всецело идет вслед за явно тенденциозными сведениями, сообщаемыми исследуемыми им нацистами, сводя тем самым сферу своего анализа к теме «национального поражения» Германии в первой мировой войне.

Другой пример некритического отношения к своим источникам демонстрирует Г. Дикс, обнаруживающий поразительное доверие к жизнеописаниям осужденных нацистов. В частности, он принимает за чистую монету уверения осужденных нацистов, что они испытывали отвращение к своим преступным занятиям и занимались ими, прежде всего убийствами, лишь будучи послушными приказу. Не принимая во внимание обстоятельств, при которых делались эти уверения, являющиеся попытками осужденных преступников преуменьшить свою вину, и даже не пытаясь их перепроверить с помощью других данных, Дикс основывает на этих сомнительных источниках целую концепцию, призванную объяснить природу фашизма.

Подводя итоги современному этапу «психоистории» фашизма, приходится констатировать неспособность последней осуществить полное и всестороннее исследование истории фашизма. Безусловно, с интеграционистским течением в «психоистории» фашизма связаны определенные позитивные сдвиги. Речь идет о попытках многопланового описания объекта изучения, постулируемой необходимости синтеза социального и психологического анализа фашизма, определенном расширении источниковой базы исследования, выдвижении ряда новых существенно важных вопросов истории фашизма. Однако и в новом интегральном варианте «психоисторического» подхода доминирующей оказалась психологизаторская тенденция истолкования истории фашизма. Наличие этой тенденции не только перечеркивает возможность интегрального историко-психологического освещения поднятой проблемы, но и ликвидирует основу подлинно научного истолкования природы фашизма

как социально-исторического явления. Показательно, что вопреки декларируемому междисциплинарному подходу с привлечением новых, «точных» методов исследования, «психоисторики»-интеграционисты зачастую оказываются позади родоначальников «психоистории» фашизма в научном осмыслении этой проблемы. Не в малой степени это обусловливается социальным смыслом поисков адептов нового подхода, суть которого сводится к отрицанию классовой природы немецкого фашизма.

Идейную реакционность современной «психоистории» наглядно демонстрирует стремление ее ведущих авторитетов порвать с реалистическими и подчас демократическими выводами «психоисториков» первого поколения, их стремление отрицать признаваемую в той или иной степени даже в консервативной американской историографии ответственность монополий за фашизм, вклада коммунистов в антифашистскую борьбу [124]. Существующие исключения, такие, например, как попытка Крена и Раппопорта оценить с психологической точки зрения проблемы антифашистского Сопротивления в фашистских лагерях смерти, предпринятая авторами с демократических в целом позиций [125], единичны. Отказ от реалистических положений и выводов родоначальников психоаналитических интерпретаций немецкого фашизма служит утверждению представлений о фашизме, маскирующих классовую сущность этого явления как международного контрреволюционного движения. Стремление снять с монополистического капитала ответственность за преступления и самое существование нацизма, открытая и завуалированная конфронтация с марксизмом — таково идейно-теоретическое кредо современной буржуазной «психоистории» фашизма.

Не удивительно поэтому, что даже те позитивные

---

[124] Так, например, А. Швейцер характеризует нацистскую экономику 1933—1936 гг. главным образом как систему организованного капитализма. (Schweitzer A. Big Business in the Third Reich. Bloomington, 1964, p. 106). См. также: Kolinsky M. Germany from War to War. Birmingam, 1970, p. 38.

[125] Kren G. M., Rappoport L. The Holocaust and the Crisis of Human Behavior. N. Y., London, 1980, ch. IV. Авторами затронут вопрос о волевых качествах советских солдат-военнопленных, отмечена, в частности, их деятельная роль в подготовке восстания в крупном концентрационном лагере, расположенном в Польше, Собиборе (Ibid., p. 116).

возможности, которые открывает психоанализ в трактовке фашизма по большей части не реализуются. Сколько-нибудь ощутимые результаты современные «психоисторики» получают не в объяснении крупных событий и фактов истории немецкого фашизма, а в описании отдельных, по преимуществу незначительных сюжетов, основанном на медицинских наблюдениях. Тем самым обнаруживается несостоятельность претензий адептов «психоистории» на «новое прочтение» истории немецкого фашизма. Предлагаемые ими «точные» методы исследования на практике открывают простор крайнему субъективизму в истолковании природы нацизма и его главарей, к тому же имеющему выраженную реакционную направленность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе бурного развития «психоистории» в США, отразившего надежды на модернизацию с помощью этой дисциплины буржуазной историографии, повышение ее теоретического уровня и практической эффективности, к началу 80-х гг. накоплен обширный материал, позволяющий судить о том, насколько эти надежды, связывавшиеся главным образом с возможностями психоанализа в историческом познании, оправдались.

Прежде всего, приходится констатировать несостоятельность упований на психоаналитическое обновление истории. Познавательные способности психоанализа в историографической практике оказались весьма скромными. Вынужденным признанием этого самими «психоисториками» стало развитие интеграционистского течения. Характерный для него методологический плюрализм, с одной стороны, свидетельствует о крахе претензий психоанализа на положение основного исследовательского метода в изучении явлений общественной жизни, а с другой — выдвигает ряд новых трудноразрешимых проблем.

Главная из них — сочетание психоанализа и собственно исторических методов исследования. Ориентированность подавляющего числа «психоисториков», в том числе и интеграционистов, на антиисторичный психоанализ приводит к механическому соединению психоаналитических и исторических методов исследования. Тем самым становится проблематичной и научность той основы, на которой зиждется сближение истории и психологии в рамках «психоистории». Еще на заре «психоисторического» бума Р. Лифтон предупреждал, что антиисторизм психоанализа является серьезным пре-

пятствием для рекламируемого «психоисториками» соединения истории и психологии. Выход из положения он усматривал в развитии «новой психоистории», переходящей от индивидуальной психопатологии к изучению коллективных феноменов, подчеркивая, однако, необходимость создания теории для наведения мостов между индивидуальным и коллективным. Пока же, признавал ученый, между ними существует пропасть[1].

Вся деятельность интеграционистов и была направлена на преодоление этой пропасти. Обращение к социально-историческим методам исследования должно было устранить «крайности» психоаналитического антиисторизма, помочь найти некую золотую середину, которая бы счастливо соединяла в изучении истории категории психоанализа и ее традиционные методы. Характеризуя результаты, достигнутые на этом пути, подчеркнем, что само по себе расширение методологического инструментария исторической науки за счет включения туда психоаналитических понятий каких-либо принципиальных возражений не вызывает. Исторический психоанализ способен обогатить и детализировать наши знания о прошлом, поднимая такой мотивационный пласт, который невозможно освоить с помощью собственно исторических методов. «Психоистория» принесла с собою известное расширение проблематики и источниковой базы исторических исследований. Наиболее удачные примеры применения психоанализа к изучению исторических явлений, социальных групп и отдельных личностей, демонстрируемые американскими «психоисториками»-интеграционистами, указывают на определенные возможности этого метода давать новые знания, уточняющие и в известной мере расширяющие наше понимание природы и механизма действия исторической причинности и вносящие дополнительные оттенки в общую картину прошлого человеческого общества, созидаемую совокупными усилиями многих поколений историков.

Однако эти же примеры указывают также на границы и условия научной плодотворности применения психоанализа в истории. Он может играть позитивную роль

[1] Lifton R. On Psychohistory. — In: The State of American History/Ed. by L. H. Bass. Chicago, 1970, p. 276—291.

в историческом познании только дополняя, притом в ограниченно узких сферах, исторические методы исследования. Нельзя не согласиться с Г.-У. Велером, который в этой связи прямо подчеркивает, что «ценность психоаналитически ориентированных биографий и исторических социально-психологических исследований коллективных феноменов... зависит от того, в какой мере они учитывают конкретные исторические условия»[2].

В конечном же счете научная эффективность использования психоанализа в истории в решающей степени определяется исходными теоретико-методологическими установками, на которых оно основывается. Между тем приверженцы психоанализа в американской историографии даже из числа интеграционистов непомерно гипертрофируют его познавательные возможности, придавая ему значение ведущего, если не решающего способа изучения истории. Но как раз эти непомерные претензии и обусловливают научную несостоятельность предпринимаемых интеграционистами усилий добиться в своей исследовательской практике органического сочетания психоанализа и социально-исторических методов.

Равным образом оказываются несостоятельными и попытки общетеоретических построений «психоисториков». Основанные на преувеличении познавательных возможностей психоанализа, они вызывают серьезные возражения даже со стороны ученых, в целом сочувственно относящихся к «психоистории». Поэтому не прекращается критика теоретического уровня этой дисциплины в американской буржуазной историографии. Видный американский ученый Л. Стоун, сам не чуждый сфере конкретных «психоисторических» исследований[3], усматривает в общем направлении современного развития «психоистории» прямую угрозу истории как науке.

Стоун признает, что «психоистория» закрепилась в своих правах как особая дисциплина, полагая, что ее

---

[2] Wehler H.-U. Historische Sozialwissenschaft und Geschichtsschreibung. Gottingen, 1980, S. 179.

[3] См.: Stone L. The Family, Sex and Marriage in England 1500—1800. L., 1977, 800 p.

данные должны использоваться всяким историком, предпринимающим серьезное исследование отдельных исторических личностей или социальных групп. Все было бы нормально, продолжает он, если бы «психоисторики» ограничивались простым предположением, что функцией психологии является улучшение понимания биографии индивидуума. Однако, предостерегает ученый, многие «психоисторики» постулируют теорию человеческого поведения, претендующую на объяснение всего исторического процесса. Раскрывая несостоятельность этих претензий, Стоун указывает на пронизывающий их антиисторизм. Теория, основывающаяся на медицинских данных, обладающих универсальной значимостью, независимо от места и времени является, справедливо подчеркивает он, совершенно неприемлемой для историка, так как она игнорирует решающее значение изменяющегося исторического контекста. К тому же, завершает Стоун свою критику «психоистории», продолжает оставаться крайне сомнительной ее источниковая база, а подход ее представителей к своим источникам он не без сарказма сравнивает с кавалерийским натиском [4].

Весь приведенный в нашей книге материал доказывает полную обоснованность этой критики. Но это означает конечную несостоятельность главной претензии адептов исторического психоанализа на особую научность своего метода, способного сообщить изучению истории повышенную точность и надежность. В действительности, как мы могли убедиться, дело обстоит иначе. Расширяя в известной мере познавательные возможности исторической науки при непременном условии функционирования в качестве сугубо вспомогательного метода, психоанализ обнаруживает свою научную несостоятельность, как только начинает претендовать на роль главного способа исторического познания. Тем самым обнаруживают свою несостоятельность и различные виды «психоистории», основывающиеся на его преимущественном использовании.

В итоге произошло не повышение научного уровня буржуазной историографии, а, напротив, серьезное по-

[4] Stone L. The Past and the Present. Boston, London, 1981, p. 25, 40—41.

нижение. По крайней мере в двух существенных моментах «психоистория» делает шаг назад по сравнению с традиционной исторической наукой. Во-первых, она вносит в буржуазную науку ощутимый заряд антиисторизма, который до конца не преодолен и интеграционистами. Во-вторых, далеко отступает от утвердившихся в ней принципов научной критики источников.

Ретроградный характер американской «психоистории» особенно ярко проявляется в ее отношении к марксизму. В настоящее время, когда влияние марксистской методологии в возрастающей степени обнаруживается в самых различных сферах буржуазной историографии, «психоистория» демонстрирует неприятие материалистического понимания истории. Не случайно в самой буржуазной литературе марксизм и «психоистория» рассматриваются иногда как две главные антагонистические модели объяснения истории[5]. Таящая в себе, по признанию даже сочувственно относящегося к ней американского критика, «угрозу психологического редукционизма самого крайнего типа»[6], эта дисциплина последовательно противопоставляет психологическое истолкование истории материалистическому.

Весьма сомнительной поэтому представляется «новизна» психоаналитических интерпретаций истории, на которую претендуют их творцы. По существу, мы имеем здесь дело с дальнейшим развитием традиционного буржуазного психологизма, давным давно обнаружившего свою научную несостоятельность. Предлагаемые «психоисториками» новации, как бы наукообразно они ни звучали, лишь камуфлируют изначальную порочность объяснения, отрывающего исторический процесс от его материальных основ и сводящего к человеческой психике все многообразие пружин исторического действия. Апелляция же к бессознательному как главной или преобладающей сфере мотивации поведения отдельных личностей или целых социальных групп еще более усугубляет пороки психологического объяснения истории.

Здесь мы подходим к вопросу о характере влияния

---

[5] См.: Bernstein H. R. Marxist Historiography and Methodology of Research Programs.—History and Theory. Beiheft, 20. Studies in Marxist Historical Theory, 1981, p. 449.

[6] Stone L. The Past and the Present, p. 41.

«психоистории» на общий уровень современной американской буржуазной историографии. В целом представляется правомерным оценить это влияние как негативное. Определенное расширение технических средств изучения истории несопоставимо по своему значению с влиянием общетеоретических построений «психоисториков», усиливающих негативные черты и тенденции в современном развитии буржуазного исторического мышления.

В первую очередь это относится к проблеме отношения американской буржуазной историографии к марксизму. Влияние марксистских идей здесь всегда было слабым. Даже интенсивное развитие социально-исторических исследований не принесло в этом отношении каких-либо существенных перемен. Показательно, что в самой американской историографии в качестве серьезного недостатка «новой» социальной истории подчеркивается «поразительно малое влияние марксистского направления»[7]. Выступая органической составной частью «новой научной» истории, «психоистория» своим последовательным антимарксизмом еще более усиливает этот недостаток, делает его для буржуазных ученых еще непреодолимее. Но тем самым еще более проблематичными становятся претензии адептов «новой научной» истории на теоретико-методологическую модернизацию буржуазной историографии. Развиваясь в отрыве и прямом противоборстве с самой передовой современной методологией социального познания, она вопреки своему громкому наименованию оказывается ненаучной в главном — в осмыслении существенных явлений и процессов прошлого, равно как и общей исторической связи.

Определенное разочарование в познавательных возможностях «новой научной» истории наблюдается сегодня даже в ее собственных рядах. Своеобразным свидетельством его стало выступление одного из самых крупных современных американских историков, являвшегося президентом Американской исторической ассоциации, Б. Бейлина. В традиционном президентском адресе он подчеркивал, что при всем значении для историка познаний в статистике, экономике, психологии и т. п., он

[7] Iggers G. G. Neue Geschichtswissenschaft: Vom Historismus zur Historischen Sozialwissenschaft. München, 1978, S. 248 — 249.

в конечном итоге должен быть не аналитиком изолированных технических проблем, а «повествователем о мире в движении — мире таком же сложном, непредсказуемом и изменчивом, как и наш собственный» [8]. Так, влиятельный американский ученый, сам отдавший немалую дань попыткам сциентизации буржуазной историографии, вынужден признать крах связанных с ней надежд на создание некоей новой науки, соответствующей эпохе НТР, и вернуться к традиционному в буржуазной науке пониманию задач историка.

Несравненно более эффективной оказалась оборотная сторона сциентизации американской историографии, заключающаяся в ее заметном поправении. Как известно, характерной чертой общественно-политической и духовной жизни американского буржуазного общества 70—начала 80-х гг. является быстрый рост неоконсерватизма, ставшего влиятельнейшим течением буржуазной социологической мысли, оказывающим возрастающее влияние на формирование и осуществление политической практики правящих кругов страны. Отмечая это обстоятельство, советский философ А. Ю. Мельвиль справедливо подчеркивает, что здесь идет речь о «сознательной политической и идеолого-пропагандистской стратегии определенных кругов буржуазии США, об активизации консервативного политического блока» [9].

В эту стратегию хорошо вписывается развитие «новой научной» истории. На примере «психоистории» мы могли убедиться в том, что новые методы, привлекаемые для изучения истории, в своей практической реализации объективно усиливают присущие современному буржуазному историческому мышлению реакционные тенденции. И постулируемые «психоисториками» теоретические положения и, в особенности, их исследовательская практика не оставляют сомнений в идейной направленности

---

[8] Bailyn B. The Challenge of Modern Historiography.— The American Historical Review, 1982, vol. 87, № 1, p. 24. Речь здесь идет о явлении, характерном не только для американской буржуазной исторической науки. Л. Стоун констатирует возрождение на Западе нарративной историографии как следствие падения престижа генерализирующей «научной» истории. См.: Stone L. The Past and the Present, p. 74—76. Ср. Hobsbaum E. The Revival of Narrative: Some Comments.—Past and Presrnt, 1980, № 86, p. 3—8.

[9] Мельвиль А. Ю. Социальная философия современного американского консерватизма. М., 1980, с. 142.

этой дисциплины. Претендующая на социальную полезность, берущаяся за самые актуальные для своего общества проблемы, она трактует их, как правило, в духе современного неоконсерватизма. В ее рамках предпринимаются энергичные усилия, направленные на психотерапию больного общества, в ходе которых решается двуединая задача укрепления духовного потенциала этого общества и дискредитации его идеологических и политических противников, что особенно ярко проявляется в психоаналитических трактовках революционных движений, их вождей и идеологов.

Многозначительной представляется сама эволюция идейной направленности «психоисторических» изысканий в США, которую мы попытались проследить на примере психоаналитических интерпретаций немецкого фашизма. Прогрессирующее возобладание в этих интерпретациях антикоммунистического звучания рельефно отразило общие тенденции развития «психоистории», а с нею вместе и всей современной буржуазной историографии, захлестнутой волной неоконсерватизма.

Едва ли является случайным, что с этой волной по времени совпал расцвет «психоистории». Исторический психоанализ рассматривается как эффективное средство стабилизации буржуазного общества, расширяющее его возможности в борьбе с революционными и радикальными силами современности. Не будет преувеличением сказать, что охранительная функция определяет идейный облик всей этой дисциплины, ее положение в обществе.

Так научная несостоятельность теоретико-методологических основ, на которых базируется «психоистория», органически сочетается с политическим консерватизмом, определяющим в решающей степени ее идейную направленность. Независимо от намерений и взглядов отдельных представителей этой дисциплины она занимает место на правом фланге американской буржуазной историографии, усугубляя присущие этой последней негативные тенденции как в сфере методологии исторического познания, так и в области практического приложения его результатов.

Было бы, конечно, упрощением отрицать всякую научную результативность «психоисторических» изысканий, равно как и их способность оказывать определенное идеологическое воздействие на общественную жизнь.

Однако не менее очевидно и другое — в силу своих идейно-теоретических принципов «психоистория» не может способствовать преодолению кризиса буржуазной исторической науки, напротив, психоанализ с присущим ему антиисторизмом лишь углубляет его. Реанимируя и «научно» обосновывая субъективистские и иррационалистические интерпретации истории, он делает этот кризис еще более безысходным.

Отсюда следует и конечная несостоятельность упований на повышение с помощью психоанализа социальной значимости исторического познания. Какими бы эффективными не являлись те или иные рецепты социальной психотерапии, они никак не могут служить показателем хотя бы частичного преодоления присущих современному буржуазному обществу тенденций антиисторизма, ведь сами эти рецепты отнюдь не вытекают из исторического анализа причин и характера кризисного состояния мира капитализма. Наоборот, базируясь на психоаналитическом истолковании определенных социальных проблем, они объективно отвергают необходимость такого анализа, а следовательно, и социальной значимости самого исторического познания, раскрывающего связь настоящего с прошлым. Таким образом, мы должны констатировать, что развитие «психоистории» решает проблем, стоящих ныне перед буржуазной исторической наукой и обусловливающих ее кризис, а широкий размах «психоисторических» исследований, теоретические претензии приверженцев этой дисциплины и полученные ими практические результаты требуют к себе постоянного критического внимания историков-марксистов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Глава I. **«Психоистория»: предмет и метод**
1 1. В поисках выхода из кризиса: американская историография на путях сциентизации 20
2 2. Фрейдизм и история 40
3 3. Становление «психоистории» как самостоятельной дисциплины 47
4 4. Между психоанализом и историей: претензии и реальность 76
5 5. «Психоистория» в современной идеологической борьбе 95
Глава II. **Социальная революция в зеркале «психоистории»**
1 1. Возникновение «психоисторической» революциологии 115
2 2. «Новые направления» в «психоисторической» революциологии 145
3 3. Американская революция XVIII в. в «психоисторической» интерпретации 175
Глава III. **«Психоисторические» интерпретации немецкого фашизма в историографии США**
1 1. Антифашистские интерпретации немецкого фашизма . 201
2 2. «Психоистория» фашизма после второй мировой войны 224
3 3. Интеграционистские трактовки немецкого фашизма . 242
Заключение 264

Борис Георгиевич Могильницкий
Ирина Юрьевна Николаева
Геннадий Константинович Гульбин

АМЕРИКАНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ «ПСИХОИСТОРИЯ»

Критический очерк

ИБ 1246

Редактор *Т. В. Зелева*
Художественный редактор *О. П. Карпов*
Технический редактор *Г. Н. Гридина*
Корректор *Л. Н. Банникова*

Сдано в набор 15.03.84 г. Подписано к печати 12.05.1985 г. КЗ 02068. Форрмат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 3. Литературная гарнитура. Высокая печать. П. л. 8,5; уч.-изд. л. 14,5; усл. п. л. 14,2. Тираж 500 экз. Заказ 4941. Цена 2 р. 20 к.

Издательство ТГУ. 634029, Томск, ул. Никитина, 4.
Типография изд-ва «Омская правда». Омск, пр. Маркса, 39.